

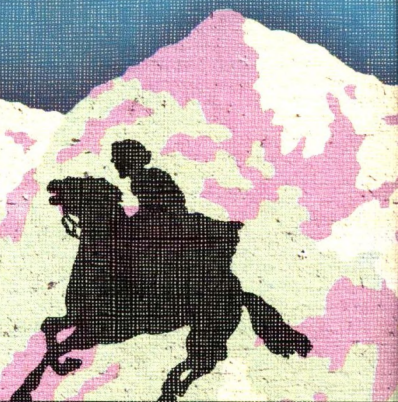
Андрей БИТОВ

ИНТЕРИЯ III

КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК



Историческое



Андрей БИТОВ

История

История

III

ТЕАТР
КНИЖКА
БАГАЖ
УЧРЕЖДЕН 1991 г. С. ПЕТЕРБУРГ.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей **БИТОВ**

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

III

**В ЧЕТЫРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ**
ИМПЕРИЯ

Харьков
ФОЛИО
Москва
ТКО АСТ
1996

ББК 84Р7
Б66

Серия «Настоящее»
основана в 1995 году

Художник-оформитель
В. Н. Щекин

На первой странице суперобложки
использована работа
Е. Лансере

Координатор издательской программы
«Настоящее»
М. Е. Топоринский

Битов А. Г.

Б66 Империя в четырех измерениях. III. Кавказский пленник / Худож.-оформитель В. Н. Щекин. — Харьков: Фолио; Москва: ТКОО АСТ, 1996. — 335 с. — (Настоящее).

ISBN 5-7150-0351-2 (т. 3).

Книгу составляют повести, написанные в форме «путешествий», своего рода путевых заметок.

Б 4702010201—073 Без объявл.
96

ББК 84Р7

ISBN 5-7150-0351-2 (т. 3)

ISBN 5-7150-0348-2

ISBN 5-88196-784-4 (т. 3)

ISBN 5-88196-781-X

© А. Г. Битов. 1996

© В. Н. Щекин. художественное оформление, 1996

УРОКИ АРМЕНИИ

- Предисловие к переводу
с 1969 на 1989 год 9
Урок языка 14
Урок истории 26
Урок географии 44
Кавказский пленник 58
Гехард 87
Страсти градостроителя 96
У старца 118
После уроков 130

НАШ ЧЕЛОВЕК В ХИВЕ

- От автора 137
I. Гость 138
II. Хозяин 145
III. Парады 156
IV. Игра 162
V. Вид сверху 176
Прощальные слова автора 186

ГРУЗИНСКИЙ АЛЬБОМ

- Феномен нормы 189
Воспоминание об Агарцине
(*В ожидании Зедазени*) 194
Последний медведь 199
Город 205
Глухая улица 213
Осень в Заоди 233

Пальма первенства 242
Грузинский альбом 262
Похороны доктора 273
Не видно Джвари 290
Родина, или могила 295
Рассеянный свет 314

Гранту 329
Пейзаж 335

УРОКУ АРМЕНИИ



... Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между горами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичках проезжими офицерами. Суета сует! Граф*** последовал за мною. Он начертил на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены — счастливцу, — а я свое.

Любите самого себя,
Любезный, милый мой читатель.

Пушкин,
«Путешествие в Арзрум»

**ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ
С 1969-ГО НА 1989 ГОД¹**

Двадцать лет назад я сочинил книгу о стране, какой запомнил ее в первый раз. Я выстроил этот образ, как храм.

Этому образу теперь двадцать лет.

А мне было тогда тридцать, советская власть вся готовилась к своему 50-летию, русскому христианству еще не было тыщи, а армянскому полторы тыщи уже было... Все было моложе, не только автор, но и его век. XX век был тоже моложе.

Это сейчас уже были Карабах и Сумгаит, и землетрясение, а тогда Армения ничем таким не отличалась от других республик в глазах непосвященного — только на каждой витрине в Ереване была написана цифра «50», без всякого комментария, в пальмовых веточках — единственное, что было доступно мне по-армянски. Да и потрясений никаких, кроме того, что Никита Сергеевич продал на валюту весь коньячный спирт, казалось, Армения не испытала. Страна потрясла меня как другая, не Россия. Я никогда еще не бывал в другой стране.

Как раз за год до этого я совсем было собрался в другую страну. Страна ожидалась даже больше, чем другая, — Япония. Из всего не посещенного мною мира, и без единого шанса его посещения, я окончательно остановился на двух странах в своем выборе: Япония и Англия. Страны, думал я, с одной стороны, самые цивилизованные, а с другой, наиболее удерживающие традицию. К тому же обе — острова. Это — важно. Но одному мне это и было важно. Никто меня туда не звал, никто не пускал. О Луне и о Марсе я мог мечтать с не меньшим основанием. И вдруг Япония приблизилась ко мне стремительно, будто и впрямь, как пелось в песнях моего счастливого сталинского детства, мечта сбывается, если она — настоящая. Я еду в Японию, по приглашению ихней кино-

¹ Предисловие к французскому и немецкому изданию «Уроков Армении» (1990 г.).

фирмы, писать первый советско-японский киносценарий. И вот я уже с билетом «Находка — Иокагама» в кармане, шуршу японскими иенами. Уже еду... Долго недоумевали японские бизнесмены, встречая на причале переводчика, кинооператора, представителя министерства, но не того, кого они пригласили для работы. Позднее мне сообщили, что у меня был острый приступ печени. У меня не было его, слава Богу, до сего дня.

Так вот, о коньячном спирте... Не знаю, сумею ли я сформулировать этот закон, имеющий, кажется, даже математическое выражение... Что для качества нужно количество. То есть, чтобы производить, скажем, тысячу тонн коньяка, коньячного спирта нужно не столько же, а в десять раз больше. Это же нелогично! Держать без всякой пользы золото, когда его можно потратить. Точно так рассудил и вождь, и я рассуждал бы так же. Но знаменитый армянский коньяк пропал. То есть он не пропал, а стал значительно хуже. То есть, в некотором смысле, он все-таки пропал. Как коньяк. Но я его еще застал, когда приехал с горя вместо Японии в Армению. Как бы в командировку, на самом деле — в гости к другу. Коньяк тогда еще был: весь с настоящими еще, пробковыми пробками; до подорожания, до потери вкуса. Хороший был коньяк. Много.

...Мы сидели с друзьями под виноградом. Он свисал с деревянной решеточки, образуя нам тень, пока вокруг плавилось армянское солнце и попевал в жаровне уголь для шашлыка.

— Видишь, — сказал мне друг, когда к столу, в ожидании шашлыка, были поданы не виданные мною голубцы, крошечные, темно-зеленые, которые следовало поливать простоквашей. Но простокваша была «мацун», а голубцы — «долма», ибо завернуты были не в капустный, а виноградный лист... — Видишь, — сказал он, — ничто так не отдает себя целиком, как виноград. Его можно есть, — он сорвал виноградину, — его можно пить, — он пригубил коньяк, — в тени его можно сидеть, лист его идет на долму, и даже, когда он умрет, его можно сжечь...

Вокруг валялись виноградные дрова — тоненькие и корявые. Они дают самый жаркий жар. Что лучше всего для шашлыка.

— Ничто не используется настолько полностью, как виноград, — сказал мой друг. — Разве что женщина при социализме.

Это была шутка. Компания была исключительно мужская. Коньяк, разговор, шашлык и песня — все поспевало одно за другим, в неторопливой последовательности Юга. Глаз покоился на библейско-медитеранском пейзаже. Спешить было некуда, потому что — не надо.

Я ничего не ждал, и все было подарком.

Один симпатичный человек жарил и подавал шашлык, другой — музыку.

Он выходил застенчиво, восторженно приветствуемый моими армянскими друзьями. Он доставал из большого футляра маленькую дудочку, длиннее свистка и короче флейты. Она вся была унизана золотыми кольцами — оказалось, подарками от поклонников. Это был великий Рачия! Я еще ничего не ждал.

Свирель его называлась «дудук». Дудка это и была.

И вот первый звук.

Это не перед плачем, и не плач. Это — после плача. Это, если помните, как в детстве. Когда от горя наступает согласие с миром, и все ясно. Ясность эта больше слова. Она и есть слово. Непроизнесенное, потому что не надо. Понимание. Счастье. Принадлежность и неотделимость. Отсутствие себя. Равенство с миром. То есть, не знаю, что еще. Вы понимаете.

Не сразу я разглядел за спиной этого маленького и кругленького гения, лучащегося простоватостью и добротой, — другого — огромного, черного, свирепого человека, незаметно доставшего точно такую же дудочку (но без золотых колец) и начавшего ровно дуть в нее, вытягивая одну и ту же ноту на непрерывном дыхании своей непомерной груди.

Необыкновенный эффект живописи рождали они вдвоем! Этот огромный и грозный выдувал свой ровный грунт и фон, с мрачным обожанием поедая взглядом маэстро. А тот ткал и выписывал на этом общем серебряном фоне свою голубую замысловатую нить. «Наступают холода» называлась эта гениальная музыка, вбирая в себя нас, беседку нашу, близь и даль, траву и небо, горы и солнце, и воздух. Воздух был музыкой и музыка воздухом — мы ими дышали и умирали. И будто музыка отменяла собою все, включая себя, переставая быть музыкой и становясь ею же. Я плакал.

По-видимому, я расчувствовался чересчур. Я был влюблен в полноту своего чувства к чужой родине. Она мне принадлежала куда точнее и глубже, чем им. Я стал всем этим, что вокруг. У себя дома мне не давалось такое.

Мой сосед не чувствовал так глубоко. Он сидел равнодушно и отстраненно, ковырял стол.

— Боже, как это хорошо! — воскликнул я, когда маэстро кончил, утирая несвежим платком свой потный лоб и смущенно улыбаясь.

— Почему ты думаешь, что ты один это чувствуешь? — с негостеприимной неприязнью сказал мне сосед.

Это было внезапно и жестоко. Я утер слезы. Мне было обидно тогда.

Сейчас я понимаю его.

Восторг — тоже агрессия. Своего рода танк.

Я уже писал эту книгу.

Танки входили в Чехословакию — я дописывал ее.

Через год редактора прошлись своими гусеницами по ее тексту, пролив слишком много моей чернильной крови. Не знаю, было ли это малодушием, что я пошел на такие потери, или, наоборот, присутствием духа. Книга состоялась двадцать лет назад.

Прошло десять, пятнадцать, девятнадцать лет...

Книга не старела, потому что ничего не менялось, — я старел.

Казалось, ничего не происходит — стряслось.

Сначала тикнуло все наше безвременье, как мина замедленного действия. Потом рвануло, но пока вдали от Армении.

Чернобыль.

Гул приблизился — в Армении АЭС в сейсмической зоне... Но не там произошел взрыв.

Карабах. Этот «вулкан» копил свою силу все семьдесят лет.

Когда началась резня в Сумгаите, когда по Армении прокатилась весть о первых жертвах, какая страшная память впитала в себя первые же капли крови! Если всего те же семьдесят лет назад, на памяти еще живущего поколения, число жертв от турецкого ножа приблизилось к двум миллионам. Кровь армян — сообщающийся сосуд. Кровь одного равна крови всех.

И вот не просохла кровь — обрушилось землетрясение. Кто из жителей Ленинакана знал, что это не конец света?

Рассказывают, что во время землетрясения обезумевший армянин бегал с ножом по рушащемуся городу, ища зарезать причину катастрофы в виде турка.

Если уж начался Страшный Суд, то почему мы первые? — вот чувство современного армянина.

Недавно ни одном симпозиуме интеллектуалов в Амстердаме, обсуждавшем на высоком уровне границы культурной Европы, накануне цепи армянских трагедий, один высокообразованный философ спросил меня, сильно ли отличается армянский алфавит от русского. Он, кажется, вообще был удивлен, что Армения и Грузия вмещаются в пределы Европы (хотя бы и географической). Я возмутился, совершенно забыв, что и сам немногим отличался от него, пока не написал эту книгу.

В одночасье эти «Уроки» превратились в воспоминания. В воспоминания о том, какой Армения была, какой ее можно было увидеть...

До того, как все, что произошло, случилось...

6 июня 1989
Цюрих

УРОК ЯЗЫКА

АЗБУКА Да простит мне Армения, небу ее идет самолет!
Я вышел на поле — горячий и чистый ветер ударил в лицо. Он был очень кстати после вчерашнего. Я оглянулся и счастливо посмотрел вверх — там увидел я самого себя несколько мгновений назад, — там, разворачиваясь, садился самолет, а небо было самого аэрофлотовского цвета, как тужурка у стюардессы, а самолетик — как крылышки в ее петличке... Я шел к зданию вокзала: ЕРЕВАН.

бръццъ

Ага, значит, вот эта штука — Е, вот эта — Р, а эта опять Е... Так и запечатлелся во мне первый кадр: ветер и выгоревшая трава, которая не то чтобы стелилась по ветру (она была слишком короткой для этого), но была навсегда им причесана. Ветер подталкивал меня к Еревану. Это, значит, В, а это вот А, а это уже Н. Красиво.

Потом я ждал свой чемодан, привычно размышляя о том, стоит ли так быстро летать, чтобы столько же ждать свой багаж. Будто он еще летит, а только я уже прибыл.

Вокзал, по моему убеждению, не место для естественного человека, но этот был не совсем похож на мои прежние вокзалы. Тут было по-южному гортанней и шумней, но одновременно почему-то и спокойней. Конечно же, толкучка, даже более темпераментная, но как-то вроде и не толкается никто... Не было тут той затравленности пассажира, где каждый сам по себе — боится за чемодан, боится опоздать, боится быть обиженным и обойденным, — и оттого появляется в нем автобусная, вокзальная твердоватость и туговатость, и сам он становится похож формой и твердостью на свой фанерный чемодан с царапающими и цепляющими углами, и лицо — как замок. Такой заденет плечом — синяк будет.

Тут толкотня была другая — базарная, мягкая, — где перешагивают чемоданы, как арбузы и дыни. И в ожидании нет трагедии: можно взвеситься на аэрофлотовских весах, красивых, как часы... Взвешивают детей, взвешивают бабушек, взвешива-

ются сами. Никто их не гонит и не кричит на них, как ни странно. Я приехал с желанием, чтобы мне здесь нравилось, и мне нравилось.

Весил же я все столько же. Тридцать лет от роду. Весы показывали 7 сентября 1967 года. Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник...

ԱՐԱՅԻՆՏԻ ԱՐԳԵՈՐԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՒՄԵՐԵՐ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..

Права-обязанности пассажира Аэрофлота, —

вот что было написано этими удивительными буквами. Это утверждал справа уступивший первое место, подчиненный, как и положено переводу, русский текст. Но раз такие родные «не курить, не распивать, выхода нет» были переводом с армянского, не означало ли это, что армяне — вот кто ввел их в наше российское обращение? Не может быть. Значит, тут имел место редкий случай перевода справа налево или воссоздания оригинала по подстрочнику.

Поразительно все-таки прочна природа уважения к печатному слову — ничем его не подорвать. Стоит столкнуться с чужим языком — и благоговение перед таинством грамоты, как у подписывающегося крестом. Трудно тогда поверить, что записать можно что угодно, так же как и сказать. Трудно поверить в безразличие таких мудрых и совершенных букв к словам, ими составленным. «Буквы... Ну подумаешь, буквы! — увещевал себя я. — Разве что красивые. Русские, что ли, некрасивые? А ими что угодно пиши — это же меня не смущает... — И только тогда подумал: — Ладно, пусть. Пусть с русского на армянский, хоть и справа налево... Но разве это русский — то, что справа?.. С какого же это злого языка на русский-то переведено?»

Если уж очень многого ждать от встречи, то можно забыть сказать «здравствуйте». Никогда бы не предположил, что после палочек и ноликов первого класса буквы могут стать еще раз предметом волнений и даже страстей... Однако если не первый, то второй вопрос, который мне был задан на армянской земле, был: «Ну, как тебе нравится наш алфавит? Правда, очень? Скажи, только честно, какой тебе больше нравится, твой или наш?»

Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает... У «великого, могучего, правдивого и свободного» (Тургенев) не убудет от такого заявления.

Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался. Разве что мне казалось неверным набирать классиков по новой орфографии — они-то ведь не по ней писали. Мне не хватает фиты в имени Федор, например, и-десятеричного в слове «идиот» и кое-где твердых знаков, в конце некоторых слов. (Так же и рождались классики, не по новому стилю, а по старому: привыкали к числу и месяцу своего рождения... и число это что-нибудь для них значило.) Не переименовываем же мы в их произведениях города и улицы в соответствии с названиями нынешними, не переводим цены в новый масштаб цен... Такие мелкие вопросы досуже возникали во мне. А так я не обращал внимания на наш алфавит, не замечал его, более вслушиваясь в слово, чем всматриваясь в него.

Задумался я об этом, лишь присмотревшись к армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому изображению. Тут все цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка — армянская речь») так соответствует ковности армянских букв, что слово — начертанное — звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остается та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве. Этими буквами можно подковывать живых коней... Или буквы эти стоило бы вытесывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твердость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием.) И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или ее своду, как есть эта линия и в очертаниях ее гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько всеобщее для Армении это удивительное сочетание твердости и мягкости, жесткости и плавности, мужественности и женственности — и в пейзаже и в воздухе, и в строениях и в людях, и в алфавите и в речи. В армянской букве — величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зеленой запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бу-

тыли, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха... и линия его затылка... И все это в точности соответствует звуку, который она изображает.

Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами.

Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины — был создан однажды и навсегда, — он совершенен. Тот человек был подобен Богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал первую фразу:

ՅԻՆՅԵՆ ԶԻՄԱՍՆԱՆԻՄ ԵՎ ԶԻՐԱՍ, ՄԱՍԻՆ ԶՐԻՍՆ ԶԻՆՃԱՐԱՅ:

На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано:

Познай мудрость, проникни в слова гениев.

Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.

Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.

Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы — каменное доказательство его правоты.

Человек, мало-мальски наделенный чутьем и слухом к слову, никогда не усомнится в существовании творца... Когда была опубликована статья русского ученого-филолога, ставящая под сомнение реальное существование Маштоца, кто ее заметил, кто ее прочел, кроме горстки специалистов? Вся Армения. И до меня, приехавшего год спустя, все еще доходили отголоски национальной бури. Чтобы взрослые люди и так волновались из-за каких-то букв...

Я испытал удивление и чувство неловкости. В течение одного дня я знал об истории армянского алфавита больше, чем об истории русского. Мне пришлось приблизить к себе никогда не волновавший меня вопрос...

Слово — самое точное орудие, какое было когда-либо у человека, но филология еще не достигла точности угаданного

слова. Ей пристала скромность. Она при слове, а не слово при ней. Сомнение в существовании Маштоца оскорбительно для армянина. И я прекрасно понимаю его. И уж во всяком случае такой алфавит не мог быть плодом трудов коллектива ученых-языковедов. Это уж точно.

Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч лет. В нем древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная буква не расходится у них с печатным знаком, и даже в книгах, в типографском шрифте существует наклон руки писца. Рукопись переходит в книгу, почти не претерпевая графических метаморфоз. И это тоже замечательно.

Прогресс, врывающийся в словарь, в правописание, унификация правил, упрощение начертаний — дело, полезное для всеобщей грамотности, но не для культуры. Охрана языка от хозяйственных поползновений так же необходима, как и охрана природы и исторических памятников. Стоит вспомнить кириллицу — насколько она ближе по своей графике русскому пейзажу, русской архитектуре, русскому характеру...

Пресловутый анекдот об учителе гимназии, покончившем с собой из-за отмены ятей, в Армении не пользовался бы успехом. Он бы не был смешон. Такой человек в Армении мог бы быть национальным героем.

Больше всего меня веселит, что реформа правописания сэкономила много бумаги, что на одни отмененные твердые знаки в концах слов в «Войне и мире» набегает целый печатный лист, а в общегосударственном масштабе... Но эта экономия не перекроет макулатурного потока.

БУКВАРЬ Ереван — моя азбука, мой букварь, мой каменный словарик-разговорник. Слева — по-армянски, справа — по-русски. Только слова в беспорядке. Рядом с А — автоматом — Ш — шашлычная. А Б — базар — совсем на другой улице, через несколько страниц.

Я шуршу страницами кварталов, улиц и площадей в поисках Р — редакции, Д — друга, Ж — жилья и П — просто так. Это мой русско-армянский словарь.

Но если бы я знал армянский и мог пользоваться Ереваном как армяно-русским словарем, порядка, конечно, было бы не больше. Это меня утешает.

Но я нахожу своего друга, и у меня появляется учитель. Ему попадаетея малоспособный ученик, с памятью восторженной и дырявой. Но у учителя появляются помощники. Я попадаю в сладкий плен — у друга есть мать жены, жена брата, друг брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и опутан этой цепью, и каждый мой новый час прибавляет новый виток. И мне уже не бывать одному никогда...

— Андрей, сурч — это что такое?

Я еще ни разу не угадал и теперь молчу, улыбаюсь смущенно.

— Андрей, сурч — это хорошо или плохо?

И все ласково смеются над моим замешательством.

— Андрей, хочешь сурч?

— Хочу.

— Молодец. Пятерка.

И мне несут кофе. И так хорошо у нас не варят кофе...

— Андрей, дзу — это что такое?

— Андрей, дзу — это хорошо или плохо?

— Андрей, какое слово, по-твоему, лучше: дзу или яйцо?

И я ем дзу. Таких яичниц я не ел никогда в жизни. О, нищая глазунья.

Хоровац, бибар, гини... Я поедаю наглядные пособия.

И все это хорошо. Только есть так много — плохо...

Учат и сами учатся.

— Я пришла, — говорит мой друг, — как правильно: пришла или пришел?.. Я пришел к сестру... Как правильно: к сестра?..

И когда они устают ломать свою голову и язык переводом таких простых и понятных слов, таких прекрасных, на чужой, мой, язык, устают путаться в падежах и родах, они вдруг соскальзывают счастливо на родную речь и начинают отдыхать в ней между собою; я тем временем опять ем, все еще ем и еще раз ем, ем за всех: за маму друга и за папу его жены, за друга его брата и за брата его друга, разве что за друга своего не ем (он-то может оказать мне такую услугу)... Зато, пока я ем, они могут хоть поговорить спокойно.

И когда они наконец погружаются в покалывающие, как горная река, воды своей речи, я вдруг испытываю ту же легкость, что и они, с меня спадает эта невнятная неловкость, и мне радостно слышать чужую речь. И не только по причинам, приведенным выше. Впервые в жизни я поймал себя на том, что, не понимая языка, я слышу то, чего никогда не слышу

в русской понятной мне речи, а именно: как люди говорят... Как они замолкают и как ждут своей очереди, как вставляют слово и как отказываются от намерения вставить его, как кто-нибудь говорит что-то смешное и — поразительно! — как люди не сразу смеются, как они смеются потом и как сказавший смешное выдерживает некую паузу для чужого смеха, как ждут ответа на вопрос и как ищут ответ, в какой момент потупляются и в какой взглядывают в глаза, в какой момент говорят о тебе, ничего не понимающем...

И еще, когда они говорят со мной, то есть говорят по-русски, они никогда не смеются. Стоит им перейти на армянский — сразу смех. Словно смеются над тобой, непонимающим. Так вполне может показаться, пока не поймешь, что смеяться возможно лишь на родном языке. Мне не с кем было посмеяться в Армении...

Если им бывало уж очень смешно, отсмеявшись, они спохватывались. Улыбка смеха сменялась улыбкой вежливости — подчиненная жизнь лица, — ко мне поворачивались. Та, невольная, улыбка сходилась еще не сразу, память о смехе тихо таяла в глазах, и в них отражался я, мое наличие. Их лица приобретали чрезвычайно умное и углубленное выражение, как в разговоре с иностранцами на плохом языке, когда, чем глупее разговор, тем значительнее интонация, а киваний и поддакиваний не сдержат никакими силами... После таких разговоров ноют мускулы лица и шеи от непривычной, неестественной работы.

Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви... На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека — два языка не покажешь.

Чуть ли не так, что, чем тоньше и талантливей поэтическое и живое знание родного языка, тем безнадежней знание чужого, и разрыв невосполним. Как остроумен мой друг, по-русски мрачный, почти унылый человек... Каждая его фраза по-армянски встречается таким радостным, неподвластным смехом... «Ах, как жаль, что ты не понимаешь его армянский!» Как жаль... Вот еще и кроме армянского существует его армянский! Но ведь и кроме их русского существует в нашем русском и мой русский...

Мне не с кем было посмеяться в Армении. И я был счастлив, когда обо мне забывали. И был счастлив журчанием

и похрустыванием армянской речи, потому что у меня было полное доверие к говорящим. Антипатия к чужой речи в твоём присутствии — прежде всего боязнь, что говорят о тебе, и говорят плохо. Откуда эта боязнь — другой вопрос. Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу. Среди дипломатов, допустим. Мы же доверяли друг другу. Более того, мои друзья были настолько тактичны, что при мне договаривались насчет меня именно на своем, непонятном мне языке, чтобы я не подозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, передвижения, сопровождения и маршрутов. Опять забываю, что им было легче так договариваться...

Я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жесткого, сухого, прокаленного и удивительно мягкого, «нежного» — как сказал бы мой друг! Как жесткая, прожженная земля и сочный плод, созревающий на ней... Хич — россыпь мелких камней, джур — вода, журчит в этих камнях, шог — жара над этим камнем и водой, чандж — муха, звенит в этой жаре. Хич, джур, шог, чандж — и вдруг среди всего этого лолик — помидор.

Хич, карь — конечно, это не наш камень, это и х камень. Что ка-мень? — лежит на дороге... Джур — это и х вода, она холодная и журчит под этими камнями, и ее мало... Что им наша во-да?... Так много воды в этом слове, и сверху и снизу... Чандж — разве это наша нарисованная муха?... Дехи — персик... Тут же есть кожа персика, в этом слове, его пушок, ворсинки!.. А что такое пер-сик? От перса... Просто иностранный фрукт.

— Андрей, что лучше: 'кав или глина? Арагил или аист? Журавль или крунк?

И действительно, что лучше? Подумать только, журавль! — и не подозревал, что это так красиво. Или — крунк... До чего хорошо!

Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским...

— Что лучше: цов или море?

И вдруг не чувствую «море», в нем нет волнения, зеркало, и вдруг сочувствую слову «цов» — вижу в нем волну набегающую... но волна, оказывается, вовсе не цов, волна — алик, нежно лижет берег. Но если бы цов было только море!

А цов — это и море, и тишина, цов — это тоска в красивых глазах и просто красота, цов — это народ толпою и просто «много»...

СОЗВУЧИЯ майр — мать
 сирд — сердце
 серм — семя
 мис — мясо
 гини — вино
 —

Но камар — это вовсе не комар, камар — это арка.

А арка — это вовсе не арка, арка — это царь.

А цар — это вовсе не царь, цар — это дерево.

пар — танец, пляска

гол — тепло

цех — грязь

.... —

Но парение есть в пляске, голое и тепло — так близко... Дерево, конечно же, царственно, и все это натяжка, а вот что цех это грязь — точнее не скажешь.

— У вас есть слово «атаман», — говорит мне друг, — а у нас «атам» — это зуб, клык. Поэтому, когда я в детстве книжки читал, все думал, что атаман — это человек с клыками...

— А я думал, что он на оттоманке лежит, — говорю я.

— У вас есть слово «хмель», — объясняет мне друг рано утром на первом уроке, — а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому у нас прижилось ваше слово «похмелье».

— Андрей, аствац — что такое? — строго спрашивает друг.

— Андрей, аствац — это хорошо или плохо?

— Аствац — это хорошо, — говорю, — аствац — это отец.

— А ведь верно! — удивляется мой друг. — Кенац!¹

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Аё — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «аё». Чэ, чэ, чэ. Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один

¹ Аствац — бог. Кенац — приветствие, аналогичное «Твое здоровье!» (арм.)

все спрашивает, насаждает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой все спрашивает, а первый отвечает свое «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — Как «чэ»? — воскликнул я. — А как же тогда «да»? — «Аё». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь... Но так я ни разу и не услышал «аё», а все «чэ».

Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.

И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист.) Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит...

— И ты будешь про нас писать? — сказал он.

После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут...

— Это армянский арбуза, — говорит.

Увидит ослика...

— Это армянская ишак, — говорит.

— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?

Наконец он устал.

— Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна.

Помолчал и добавил:

— Я вот сколько живу тут и пишу, а все не написал, какая она.

— Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьезно не напишешь, а несерьезно об Армении я уже писать не могу... И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от нее не завишу.

— Ну зачем же возвращать?! — возмутился брат друга. — Почему же это ты не напишешь?.. Поживи еще. Напишешь... — сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?

И вот кончилось мое путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот все-таки сел за машинку.

И что же я вывел в первой фразе?

«Армения — солнечная, гостеприимная страна».

И что же я вдруг услышал?

— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!

— Да, но это же так! — я покраснел.

— Чэ, Андрей, чэ!

Я поднатужился:

«Армения — горячая, многострадальная земля».

— Чэ.

— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.

— Знал бы, сам написал.

— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая... Разве сразу найдешь такое слово? Именно горячая. Тут все горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей...

— Чэ, Андрей.

— Ну скажи лучше, попробуй!

— Попробую... Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!

— Зачем же пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?

- А очерк по-армянски знаешь как?
- Нет...
- Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?
- ???
- Намек.

Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно: уш. Уш — это не уши. Но близко. Уш — **НАМЕК** это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный что было бы логично. Апуш — это идиот.

УРОК ИСТОРИИ

ЛЕО Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещенных своих знакомых (дедушки нет в живых...), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:

— Вот здесь нашли тело Распутина.

— А вот здесь останавливался Наполеон.

Или:

— Вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско...

В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.

Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за свое вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому бы это было безразлично.

— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая... Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно...

— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молкане.

— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом...

И так без конца. Это мне говорили шоферы и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.

И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел ее и в тех домах, где, в общем, книг не держат, — тот или другой из трех синих томов ЛЕО.

Лео — историк, написавший трехтомную историю Армении.

Как мне объяснили специалисты, Лео — замечательный историк. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьев.

Я спрашиваю русских:

— Вы читали Карамзина?

— Ну, а вот недавно переиздали Соловьева, читали?

Вряд ли я найду том Соловьева у шофера или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.

Я, например, не читал.

А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.

И, слепой, писал с утра до вечера.

И написал.

И умер.

Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.

А он и не заметил.

Такая легенда.

Господи, что он написал?!

Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то **МАТЕНАДАРАН** — самый замечательный пример этого «замечательного». К тому же построено здание только что, и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши.

Начать с того, что назначение строения самое почтенное. Это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописей этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно. Тоже понятно.

Матенадаран построен для этой цели. Безупречно отвечая своему назначению практически и технически, он еще и воздвигнут как памятник многовековой и великой культуре.

И так все отлично выполнено, что ни к чему не придерешься. Во всем видны благородные намерения строителей, и к тому же намерения эти вполне выражены. И место выбрано — издалека виден Матенадаран, ничто не заслоняет его,

и в стороны ему просторно, и за ним уже ничего не толчется — дальше горы. И он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь вниз в одну, главную, приближаясь к которой ты обязан неизбежно ощутить высокий строй, а когда ставишь ногу на первую ступень, уже испытываешь трепет, а по мере подъема, когда на тебя нависает отвес Матенадарана и все выше и вертикальней нависает над тобой, трепет этот как бы переходит в холодок в спине. И когда, приближаясь, ты все уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой все растет и растет здание, это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры и твою затерянность в ней. Но — вкус во всем. Такой светлый, серый камень, что и строго и не мрачно. И такие линии, и прямые и мягкие, что сразу же ясна и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с ее обнаженным назначением и эстетизированной простотой... Бездна вкуса. То есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге, вполне могла бы стоять ужасная ваза — а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет.

Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвел... А может, и подвел их именно вкус? «Эта церковь построена со вкусом» — попробуй выговори такую фразу — абсурд. Или «изба со вкусом» — тоже не звучит. Между тем и церковь и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению и чем точнее отвечают, тем прекрасней. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим, лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы...

Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено: мусор, свалка, не все еще доделано... Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современно и глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом, и то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных ниспадающих одеждах (как приятно передать в камне эту крупную вертикальную складку во весь рост!), и крупные,

без лишней толкотни в чертах, лица с достойным и несуетливым вдохновением. Их несколько, таких людей. Но один еще в лесах, один начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве (из-за шинели до пят) и Тимирязеву (из-за оксфордской тоги), только гораздо, гораздо современнее. Эти великие люди (по-видимому, именно величие так сравнило и уподобило их), которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании — такая цельность замысла, — будут стоять — ага! — на тех столь прекрасно свободных от ваз площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту земную твердь, с которой они так связаны... Так по-разному, так одинаково высывались они теперь из этой тверди, как в свое время из нее же произрастали. Такие, со взглядом в будущее, в наши дни.

Да и все строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нем.

Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки (как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости!) и обрывается в холле. Там уже новый строй — бесшумности и шепотливости, где-то там, впереди, склоненные вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств.

Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были черные, с глубокими тенями, и там, из тени, тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворенные, лежали книги.

Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена. Словно нехотя подвел он нас к одному из пюпитров...

Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца.

На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки.

Еще в двух шагах крутились звездные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а Земля так удобно покоилась на чем-то вроде трех китов.

Сам тому удивляясь, в тысячный раз поневоле ожил экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной. Будто вся смерть ушла в новенькие стены Матенадарана.

Матенадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги...

— А что, они все прочтены, изучены, описаны?

— Нет, что вы! Ничтожная часть. Они еще не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует еще десять лет.

Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от руки чужую книгу, то какой дурак возьмется за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимаешь, что переписчик, возможно, едва управлялся с нею за день.

Этих книг — десятки тысяч.

Сколько же у людей было времени в те времена! И сколько они успевали!..

Успевали они ровно столько же. А может, и больше.

Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора, но как безусловно, что каждое из них создано одним, когда-то жившим человеком!

Лечебник, травник, звездник, требник...

Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни... И травка и болезнь называются теперь иначе и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть-то в том, что болезнь — та же и так же принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить.

Как много люди знали всегда! Как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому не известным...

Как много люди знали и как много они забыли!

Сколько они узнали, столько они забыли.

И сколько они узнали и забыли зря!

**РАЗВАЛИНЫ
(ЗВАРНЮТЦ)** Словно бы зрение болезненно моему другу...
Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаем. Что-то сопротивляется

в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он все это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства. Но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бесчисленное число раз: они не исчерпаются, и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно и не полюбить их мне — нельзя. Но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу.

И он отправляется в очередную экскурсию...

И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он не совсем смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства. И мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он все-таки встречается со мной взглядом, то говорит, опять в сторону:

— Я хочу, Андрей, понимаешь?.. я хочу, чтобы ты устал-устал, чтобы все это солнце-солнце, эти камни... и ты вдруг почувствовал позвончиком... понимаешь, позвончиком?.. как ты устал...

— Понимаю, — поспешил кивнуть я, — хребтом...

Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он так же глубоко проникался своей прислоненностью к великому, как вахтер проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, все объясняющей боли в позвончике. О это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уже почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про «позвончик».

Но вот и мысль меня наконец посетила — на этих развалинах. Или на других... Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом еще раз и потом еще, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда

рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь — в третий раз. Потому что глыбы — два на два, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да еще в сердцевину глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и поосновательней лежала. Строили навсегда. Но потом каким-то туркам, или арабам, или еще кому-то понадобился свинец для пуль — вот тогда только и расковыряли наконец... И то, смотрите, величие какое!

Простая мысль... Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля долбит камень... И каждый день уносит... Еще что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолетности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это все не так и не то!

Это только кажется, что мощно время... Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время — потом когда-нибудь и без них, — и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени... «Время разрушать и время строить». Даже в Библии «разрушать» — сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени.

И в таком виде развалины стоят уже вечно.

**СВЯЗЬ
ВРЕМЕН**

Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и нежизнью. Я все надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.

Даже внутри одной жизни отношения со временем (физическим) так сложны. А если к этому прибавить отношения с временем историческим? А если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее, за твои временные границы? Если взять твои отношения уже не с ис-

торическим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?

Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?

Для простоты употребления времена связывают историей...

«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?» и т. д. — такие мысли однажды посетили меня...

...В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.

Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католос. Будет петь преемница Гоар... И вообще — посмотреть.

Толпы людей на автобусных остановках — все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз все видели и слышали, а едут — это еще убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна.

Толпа интеллигентов — не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчиненным законам толпы, а все вместе все равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своем личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряженно и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент все-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивой девушки с таким прямым и золотеньким крестиком на шее, полупогруженным в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на нее сколько угодно — деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.

Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.

Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все знали брата моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении — так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаешь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.

Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.

Мы прошли в парк, и перед нами выросло древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так все подновлялось и заменялось, что уже все и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая — понятно. «Что это?» — «Это бьют голубей, головой об стенку». — «Для чего?» — «Приносят в жертву». — «Кому?» — «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений — тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались... Толпа из автобуса, но — в храме; служба идет, ритуал — все чинно, красиво: что за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поет, замечательно поет, голос — дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего — музыка.

Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвертом глазют. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чем дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо — филармония. Налево — театр. Сзади — любопытство. И лишь

впереди, на коленях, тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперед — уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течет своим чередом, а таинство ее никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах — развитие неясно. И я... Почему я так все это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.

Тут хоть ребенок заплакал искренне — маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребенок плачет — даже души в телах задвигались: по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» — наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!

И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и вороночки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад — свет, воздух! — божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос прошел другим путем, где не ждали. Прошел между могильных плит, таких же, как он, католикосов (где-то и ему тут будет плита), — и никого там народу не было. Один я. Прошел он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала...

Очнулся я на полянке, рядом — брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно — ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь... Ешь, пей, славь Господа! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повели, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут... А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят... А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит... Главное — отдать свое и, что отдашь, того самому не есть... Сiju это я, в одной руке вино, в другой — шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь — и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да

в счастье бывает, когда Господь слышит... А уж на эту поляну он непременно бросит взор — это будет для него воскресный отдых.

А нас уже и на свадьбу пригласили, и еще к одному знакомому брата друга в гости, и еще к одному знакомому знакомого, и еще к одному незнакомому. Улыбнулся Господь поневоле, уголком рта...

Ну и что же? Что за водоворот времен закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше ее один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям — десять тысяч; сноб вошел в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католикосу шестьдесят, а мне тридцать — Боже! — а певиче — двадцать пять, а кто-то еще и не родился, и неба еще не видал!

Из каких разных времен пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времен в секунде настоящего времени.

История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени и что есть общее для всех времен. У вечного нет истории. История есть лишь для преходящего. История есть у биологии, но ее нет у жизни. Она есть у государства, но ее нет у народа. Она есть у религии, но ее нет у Бога.

книга Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.

— О, — сказал друг, — если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это!

— Как это?

— Тебе придется ее проявить еще раз.

— А если я разлюбил?

— То ты предал.

— Почему же?

— А зачем же ты любил до этого?

О чем это мы говорим? А говорим мы вот о чем...

— Если я армянин, — говорит он, — то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету. Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.

— Почему это я стал армянофилом?

— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь еще раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь еще раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.

— М-да, — сказал я, — это мне не нравится.

— И мне это не нравится, — сказал друг, — именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.

Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.

И мне придется сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чем я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это мое заявление станет скоро понятным...

...Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из нее любую страницу...¹

«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены в мечети.

Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагцеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.

Город Сгерд подвергся избиению; лавки и дома разграб...»

...Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведаль всех яств и прислушивался: после самолета у меня все еще были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.

Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекресток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон; тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня

¹ Геноцид армян в Османской империи: (Сборник документов и материалов). Ереван: Издательство Академии наук Армянской ССР. 1966.

незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.

Вперёди, как бы раздвигая улицу и очищая ее от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий кадиллак, в нем стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шел грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колена, — четверо черных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперед, как бы даже не моргая... И далее следовало такое количество «Волг», что я сбился со счета.

Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти черные раскаленные костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустевал вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскаленном, но уже остывающем мире тяжело было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.

Подавленный, я вернулся в свое кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чем была речь...

«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) ... 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агцор, 102) ...»

Что же это? Листаю вспять...

*«Верховному патриарху нашему Мкртичу,
святейшему католикосу всех армян*

*Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах
и прискорбным сердцем...»*

Кто это написал? Листаю, ищу подпись...

«... вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжалитесь над оставшейся в живых горстью народа, и если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его.

Вартапет Акопян».

Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»...

«Линия поведения, предписываемая на этот счет книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:

«О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжелый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если заграница прямо обвинит Германию в соучастии, придется обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, все время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе».

Откуда это? Переворачиваю страницу... «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?

Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекресток...

Тут мне изменяет прием, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу... Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю ее.

Все это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что ее можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, все белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.

Я пишу эти строки в Ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.

Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу в руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из нее наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и не верно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посередине...

«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Эрзрума, — всего 11 человек... Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге,

рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».

Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.

Переворачиваю на сто страниц назад.

«Мадам Доти-Види пишет:

«Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жены подвергаются насилию у них же на глазах»... Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. «Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам».

Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.

Совершаются и чудовищные шутки, злоеющие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски или распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает еще о другого вида поступках:

«Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака».

Пытки бывают то грубые, то искусно утонченные. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы долгие продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.

Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках».

Я раскрывал эту книгу в четырех местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста

человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырех местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не прием, что это действительно так. В этой книге осталось еще пятьсот страниц, мною не прочитанных.

У меня кончились черные чернила, когда я раскрыл ее в четвертый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасовки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.

Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.

Все есть в этом мире, и для всего есть место.

Все помещается.

Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану ее читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привел сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны... И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней...

И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:

«1. Избиение армян при султани Абдул-Гамиде (1876-1908).

2. Массовая резня армян младотурками (1909-1918)».

Вот и все оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго... Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.

А потом и предисловие...

«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гамиды погибло около трехсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще по всей Турецкой империи

проживало более трех миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч».¹

А мой друг говорит не «резня», а «рѐзня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга... а «рѐзня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту...

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

— А это ты уже, конечно, видел, — сказала учительница истории (сестра жены друга), беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. — Как не видел?!

Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам: одна половина закрывает ее колени, а другая — мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову набок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь.

Я смотрел на крашенные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий.

Карта — немая для меня, армянские имена на армянском языке. Синее — это море. А Армения — то желтая, то зеленая, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня — лес веков и имен. И моя собственная история кажется мне редколесьем, потому что там, где у нас древность — XVII век, у них — VII, а где у нас — VII, у них — III до н. э. А III у нас уже нет.

Вот она — зеленая, круглая — простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот — ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь в общем круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде все шире, шире исторические круги.

Вошел мой друг, увидел.

— А, — сказал он, — атлас...

Сел на диван, положил на колени, раскрыл... И пропал. Буквально — углубился. Он уходил в свою историю по колени,

¹ После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

по пояс, по грудь с каждым поворотом — ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далекие свои, из глубины, глаза, словно голову высоко вверх, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня:

— Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность.

— Что, что? — крикнул я в глубину его колодца, голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна.

Мой друг снова склонился и что-то искал на дне: Видно, колечко обронил...

Наконец он вылез на поверхность современности, перед ним была последняя карта сегодняшней Армении.

— Вот так хорошо. Такая круглая-круглая республика...

Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся.

Армяне — воинственный народ. Несколько тысяч лет они завоевывали, и несколько тысяч лет — их завоевывали. Война за собственную историю — их последняя война. И об этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде, и о поражении Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе.

...Вошел брат друга. Его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями: он отвозил жену в роддом. Молча прошел он к дивану, поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нем.

Он смотрел в трубу своей истории. Он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилось колечко Севана, а может, его будущий сын.

УРОК ГЕОГРАФИИ

МАКЕТ И я следую образу, как методу. Невооруженным глазом я ничего не вижу — надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокль я вижу большие вещи, например арбуз — и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга — и ничего, кроме друга. Или... «Армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер...» Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль — от меня улетает арбуз, как ядро, и исчезает за горизонтом. И вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг.¹

ГОРОД С него началась для меня Армения. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью, и, если бы у Аэрофлота вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно... Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивой, я не имел. Страна для меня по произволу Аэрофлота началась не с границы, а с середины.

Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобой привнесенную.

¹ Этот макет справедлив еще и потому, что соответствует наиболее расхожим представлениям о стране. Город? Ереван. Озеро? Севан. Гора? Арарат. Это мы знаем назубок, остальное, выражаясь языком школы, знаем «нетвердо». Меня, например, поразили следующие «географические открытия»:

- а) Армения граничит с Грузией и Турцией;
- б) более 90 процентов населения республики — армяне. Это самая «национальная» из республик;
- в) на территории республики живет менее половины всех армян: почти две трети раскиданы по всем странам мира;
- г) Арарат, изображенный в гербе республики, находится в Турции.

Надо было ехать поездом. Очень существенно, думаю я, всегда и во всем иметь начало и тогда уже идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать... Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было бы читать с самого начала, я не прочел.

Эту книгу мне раскрыли посередине, и я ничего не понимал.

И как книга, о которой уже слишком много и давно все говорят, а ты еще ее не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение, — уж больно все и уж больно много о ней говорят! — а потом и возмущение: говорят и говорят, а ты так и не прочел, — так и город этот... «Да не хочу я ее читать!» — восклицаешь ты в конце концов. Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось.

Отняли от меня и книгу и Париж. Отняли от меня время их открытия. Я еще, быть может, любви не знаю, а мне говорят: люби! Не хочу! Хочу еще раз собрать подъемный кран из детского «Конструктора». Это я знаю, понимаю и умею.

Можно это объяснять и так, что человеку хочется быть самому и вовсе не хочется подчиняться большинству. Мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, это все общепитовские холодные макароны. Но я не хочу объяснять это так.

Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрел в этот город по пустым дорогам, запыленный и осунувшийся, а влетел в него, гладкий и сытый, из Москвы.

Я въезжал в город по проспекту Ленина... Вот, слева, видите? Это трест «Арагат» — армянский коньяк, знаете? А впереди тумба, видите? Постамент, то есть бывший постамент, то есть...

Ну, как тут что увидишь?

Ну, розовый Ереван, розовый. Из туфа. Да, красивее строят, искуснее. Но почему это именно Армения, я еще не понимал.

Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык — тут уже ничего не скажешь, — другой здесь язык, армянский... А что букварь, так это только сказано красиво.

Этого города я не чувствую, в этом городе я не властен, меня все время ведут куда-то бесчувственного.

— Ну что, пойдём? — говорит друг.

— А куда?

— Пойдём, увидишь.

Мы идем, и я не вижу.

— Сюда зайдем, — говорит друг.

Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается наконец, не один. Знакомит. Выходим втроем.

— Сейчас мы зайдем еще в одно место... — И не то это просьба, не то приказ.

Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам все время надо идти куда-то, зачем-то, зачем — не знаю, но верю другу: надо.

Так нас становится — четыре, пять, шесть...

— Ну, — сказал друг, — мальчики в сборе... Пошли.

И очень деловито мы пошли, шестеро мужиков.

Еще одно учреждение. Почти такое же, как предыдущее. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми! Коридор, потом еще коридор, внезапные три ступеньки вниз, занавесочка, ее мы отдергиваем...

И вдруг мы в пивном зале.

— Так мы и знали, что ты тут сидишь! — восклицают мои друзья, и нас становится семеро.

Так вот чем мы были так заняты! В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревая, — пива много.

Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие мое натужно, я во всем хочу увидеть Армению — и не вижу.

— Ну, как тебе нравится в Армении? — и на меня смотрят мягко и требовательно.

— Очень нравится, — конечно, говорю я. И на меня смотрят, как на конченого человека.

Я наливаю тогда пива, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопаются необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных, кругловатых многогранников, и это красиво за зеленым стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озарило.

— Смотрите, — сказал я, — видите! Вот так же удивительны все плоскости в Армении. Словно бы выпуклые...

Круглые многогранники... — Точность моего наблюдения должна была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения.

На меня посмотрели, не понимая. Взглянули на моего друга, как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший все-таки парень и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне — не о чем. И тогда я наконец понимаю, что они уже давно говорят о своем и это не имеет ко мне никакого отношения.

Я оказался в одиночке, как в бутылке. Стенки у нее были прозрачные, зеленоватые. Такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые. Они ломаются, сливаясь. Граненые пузыри...

Друзья спохватываются.

— Ну, как вам нравится?.. — спрашивают ласково.

— Очень нравится...

Что я могу еще сказать?

— Неплохой денек, а? — сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Севан и явно этим довольный.

— Зам-мечательный...

А что я могу еще сказать?

По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него... Удрав же, опять оказался в клетке, причем чужой. И своя была все-таки лучше.

Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе.

Я обрел простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл ее на первой.

Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломит мое предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но насильно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо. Это мне неподвластно. Я не свят. Но если вдруг: «Боже! — восклицаешь ты. — Так все понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так, не так тебя любили, как следовало любить! Вот в чем дело, — осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения. — Вот как надо

все это любить!» Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его.

Нам неважно прошлое любимой, если мы действительно любим (именно потому, что все прошлые любили не так — и их любили не так? — их и не существует для тебя). Может, потом, когда любовь начнет уходить из тебя — земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого и ревность к нему. А если это тебе неважно, ты любишь.

Так хотелось бы.

Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключен. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к этому повод. Сначала о просторе.

простор Простор — категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но еще не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства.

И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране и час и другой, а ей все конца и краю нет.

Оказывается, есть горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, — это простор и родина. А то, что за его пределами, — не очень-то и существует.

Два полярных впечатления владеют мной.

В России что-нибудь да заслонит взор. Елка, забор, столб — во что-нибудь да упрется взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным кажется: тяжело сознавать такое немыслимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы.

Я ехал однажды по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жует, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жует по колено. Проснулся на вторые сутки — болото, корова. И это был уже не простор — кошмар.

И другое — арка Чаренца в Армении.

Отрог подступил к дороге, подвинул ее плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа появилось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула — справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило вдаль, и маленькая горка досадно снова все заслонила. Впрочем, она бы еще не все заслонила, что-то еще могло синеть за ней краешком, если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглядело довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой все. Мы вышли.

Я недоуменно взглянул на друзей: зачем стали? Чем замечательно это слоноватое строение?

— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперед.

Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счетом ничего замечательного при всем желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.

Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.

Это был первый чертеж творения. Линий было немного — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Все остальное, кажется мне, Бог творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — Господне барокко.

«Это — мир», — мог бы сказать я, если бы мог.

Пыльно-зеленые волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полета. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдаль, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синие, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то темное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я вдруг почувство-

вал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — мог бы вспомнить я, если бы мог. Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить эти близкие маленькие холмы и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. («Что такое мастер? — сказал мне однажды друг. — Творение должно быть выше его рук. Он возьмет в руки глину — и она выпорхнет из рук его...»)

...И вдруг эта близость пропадала, — и мир подо мной становился столь бесконечен, глубок и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось ощущение полета, парения над его бескрайними просторами. «Горний ангелов полет...»

— Видишь Масис! Масис видишь! — Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть еще? Друг протягивал руку к краю земли. — Вон, видишь? Чуть темнеет? Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна... А справа уже большая. — Друзья наперебой чертили в воздухе контур. — Видишь? Он то пропадает, то опять виден.

Я напрягался и то ли видел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть.

— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое. (Достаточно ли восторга на моем скифском лице?) И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Большую вижу! (Или от напряжения потемнело в глазах?)

— Правда, видишь?

Я все еще не видел Арарата.

— Ну, пора, — сказали мне.

Смущаясь, прошел я назад под арку. Мои друзья шли легко.

— Ах, если бы мы захватили с собой вино!

— То что же?

— То мы бы выпили тут, Господи!

Я оглянулся в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...»

Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за

кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину.

Страна не мала для человека, если он хоть раз почувствует ее простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине.

Из центра Еревана, где все строения, ка-
жется, поставлены уже навсегда, все притерто и
прижито, ладно, прочно и окончательно, мы попадаем в розовое
одинаковое младенчество новых районов, отсюда в пропылен-
ный индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают
крылья. Слева от дороги — левое крыло, справа — правое.
В пейзаже Армении царствует линия, горизонт ее крылат. При-
подымеется левое крыло — опустится правое. Левое золотится
на солнце, правое синее в тени. Цвет меняется сразу, часто и
бесконечен в оттенках, но пестроты никакой нет — в каждом
своем существовании он целен, всеобщ.

ОЗЕРО

Исчезнут последние строения, появятся виноградники, прикованные к бетонным столбам (до чего же мало дерева в Армении!), а потом и виноградники вдруг пропадут. Только крылья дороги, только линия и цвет, только всплывают черные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной. А когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось всегда. То же чувствует шофер, что чувствую я и что чувствует мой друг. И так же выразить это нечем. И поскольку выразить нечем, чувство прибегает к цитированию.

— Все-таки как это хорошо почувствовал Сарьян... — говорит мой друг. — Никто по-новому не может. Все — как он.

И я думаю вдруг, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура — так она точна. Быть в плену у этой абсолютной точности линий и цвета, должно быть, не под силу художнику, а копия — невозможна. Что ж, земля эта была уже создана один раз, и второго творца быть не может.

Мы поднимаемся в горы, они вырастают на горизонте, невысокие и плавные; эти женственные линии сводят с ума. Никогда бы не подумал, горожанин, что влечение к земле так похоже на желание. Без преувеличения, я страстно хочу слиться с нею, даже взять ее силой. Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его здесь. И если во мне живет захватчик, то вот он...

Напряжение горной дороги вдруг ослабло, теснота распалась, горы отступили, мы въехали в долину, и на горизонте впервые обозначилась прямая линия.

Такая дорога могла привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство могло привести меня только на Севан.

О эти знаменитые места! Я их опасуюсь. Как бы скептически ни настраивал я себя, в дороге непременно нарастает ожидание некоего восторга, откровения и счастья, потом все не совпадает, разочарует и распадется. Разве в воспоминаниях снова оживет и раскрасится... Сколько видел я разных маленьких Мекк, пустых, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных! Слава убийственна не только для людей.

Севан приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восторга. Озеро. Красивое озеро. Даже очень красивое. Но я больше слушал какую-то тоску и тревогу — невнятная и опасная возня поднималась во мне.

Свет... Слишком много света.

Сейчас я ловлю себя на том, что, когда говорил «линия и цвет», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань Сарьяну, чем натуре. Может быть, моя привычка и склонность к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. Во всяком случае, ничего своего в ощущении цвета в Армении у меня не было. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, например, с красками наших поддельных черноморских субтропиков...

Должен же я был сказать: линия и свет.

Свет в Армении, быть может, основное мое зрительное впечатление, главное физическое переживание. Сказать, что он слишком яркий и его слишком много, — ничего не сказать. Это свет особого качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, Средней Азии, снежных горах — вот там было много света, яркий свет, ослепительный, даже громкий свет, — но никогда я его не переживал так, как в Армении. Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения: уже через два часа после сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особая усталость передавалась именно через глаза всему телу. Даже темные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили: мне хотелось испытывать эту непонятно

сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет, до единого луча, прошел сквозь меня за эти две недели, до последнего дня и часа.

И если Армения — самое светлое место в моей жизни, то Севан — самое светлое в Армении.

Что-то противоестественное было в том, что я стоял на берегу Севана.¹ Что-то опасное было в самом Севане, его воде, воздухе и свете. Опасное именно для меня. Я это сразу почувствовал, хотя и не сразу осознал словами.

Ничего очевидно грозного в нем не было. Была прекрасная погода. Солнце и синь небес. Волна — небольшая, вполне уютная. Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты — пляжная цивилизация. У пирса стояли белоснежные катера-такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими словно для создания настроения посаженными туда людьми. На грифельной метеодоске было написано: «Температура воздуха 19, температура воды 17».

И все-таки не надо мне было лезть в эту теплую воду. Именно неосознанное чувство опасности, моей тут ненужности и напрасности толкало меня в воду. А что же? Для чего же здесь тенты и топчаны? Вон и люди купаются. Такие же пляжные, как всюду. В том-то и дело, что тенты и топчаны — ни к чему.

Вода обожгла по каким-то своим свойствам, не зависящим от температуры. Но ощущение было таким же болезненно-приятным, как и мучение светом. Очень похожи были эти два ощущения. Это была уже не вода, а некое второе состояние неба.

Вылезал же я из воды человеком новым. Не обновившимся, не освежившимся — новым, другим. То ли одно дело смотреть с берега на воду, а другое — из воды на берег... Озноб усилился (тут я понял, что он был и сначала). Мой друг смотрел на меня мягко-посторонним взглядом некупавшегося человека. Круто вверх уходил склон, венчался монастырем, и синее небо как раз там начинало свой купол, опрокинутый над Севаном. А то чувство, что так неопределенно мелькало во мне — неуютство, ненужность, опасность, — оказалось стыдом.

¹ Противоестественно хотя бы это выражение «стоял на берегу». Не на берегу, а на дне Севана я стоял! О катастрофическом падении уровня воды в Севане писалось много. Бескорыстные многочисленных энтузиастов, создающих проекты спасения и восстановления Севана, достойно восхищения. Но проблема эта пока далека от разрешения. Об этом нельзя писать вскользь. Но тогда мне пришлось бы писать только об этом... Вся та суша, по которой я гулял, на которой проложены дороги и построены санатории, которая уже производит впечатление, что она была всегда, вся эта суша — дно Севана. И полуостров, на котором мы находились, на самом деле был островом. Еще недавно.

Я не совершил ничего святотатственного. Мой друг завидовал мне, что я искупался, а он нет: не знаю уж, что ему помешало... Я же одевался как-то смущенно и поспешно, неловко прыгал, путаясь в брюках и теряя равновесие.

Анализу это не поддавалось, стыдно было ни перед кем и ни за что, но стыд был стыдом.

Уже защитно-равнодушный, стоял я несколько в стороне, пока вся компания оживленно спорила, выбирая катер; тут был тот же счастливо-базарный ритуал, который много раз на моих глазах предшествовал любому, даже самому простому, мероприятию: ехать на такси или в автобусе, идти в ресторан или домой, купить слив или арбуз и т. д. Мы сели в один катер, потом вылезали и снова спорили. Жар и холод непонятно соединялись в севанском воздухе, и эта чересполосица озноба была как прикосновение любимых рук — я стоял, отдаваясь этой опасной ласке, и уже как-то издали доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились в далекую перспективу.

И вот я трогаю своей посторонней пяткой постороннее нетвердое тело катера, и то небольшое смущенное презрение к нему, которое я испытываю и показываю, по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к тарахтению мотора и радужным нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать.

Великолепный водитель? шофер? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок, натягивает тугий свитер на свои бронзовые чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает свое место у руля? штурвала? баранки? Он становится своими скульптурными босыми ступнями на специальную подушечку и, нажав какую-то слишком простую кнопочку, которая разрушила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера.

Тут мы как бы останавливаемся и как бы не сами несёмся, а озеро начинает стремительно поворачиваться вокруг нас.

Отлетает за спину пляж с его маленьким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и, когда отнимаем руки...

Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали наше беленькое легкомыслие, как гусиное перо, а стая улетела... Улетела она за те зеленые, желтые

горы, что дугой поворачивались вокруг нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега, замкнул залив в кольцо. Мы очутились в синей тарелке с белым, как выжженная кость, ободком — границей воды и суши. Невысокие толстые горы на солнце выглядели уютно и надежно, а в тени противоположного берега супились и морщились.

Человека тут уже быть не могло и не было. Любоваться Севаном невозможно. Можно только подглядывать. И восторг был сродни резкому колючему холоду брызг. Вода выталкивала нас, как мусор.

Я оглянулся на спутников — и понял, что у меня такое же лицо. В эти лица, расстегнутые и зеленые от счастья, голые, как граница между загорелой и никогда не загоравшей кожей, смотреть было тоже нельзя — и вообще пора было поворачивать назад. Подгляддели, и хватит.

И когда я ступил на твердую землю, ощущение чужестранца, пришельца, незваного гостя, позорной праздности уже вполне сформулировалось во мне.

Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно странно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и такого молчаливого монастыря над ним смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине.

И этот невысказанный свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе!.. И как же я понял того абстрактного русского мужика, заброшенного сюда роковой рукой профсоюза (где-то поблизости, невысказанный, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, находился дом отдыха), — мужик отделился в этот момент от столика, черный, как муха, до боли родной, и, шатаясь по этой костяной полосе, на этом светлом, светлом, светлом свете, запел настойчиво и истошно, стараясь перекричать этот свет: «А но-о-о-о-о-о-о-очка темная была!..»

И пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Севана и успокоить свой взор на таком понятном ларьке...

Ничего, ничего не хотелось больше видеть! Высокий звон натягивался и рвался в ушах, горячий холод гулял по спине, и в носу стрекотал кузнечик. И где-то во лбу тикало. И, уже направляясь к машине, стараясь не оглянуться на Севан, мы вдруг с тоскою и обреченностью свернули вправо и полезли вверх, к самому высокому и непосильному мгновению.

И там, наверху, все исчезло. Провалилось время. Скрылся перешеек — и полуостров стал островом. Ларьки и тенты сверху были, как тот же мусор, выкинутый на берег, — работа моря.

Монастырь стоял уже вторую тысячу лет, как стоял он тут всегда. Желтая, довольно высокая трава навсегда обозначила ветер, который дул тут вторую тысячу лет, который дул тут всегда.

Побледневшее и будто опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Севан под собою. Севан же темнел, пока светлело небо, и был там внизу, как распятая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожи выворачивались трубочкой по краям.

Это было такое дикое, опасное, напряженное, натянутое как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое могло бы еще принять паломника, чтобы обдуть с него пыль дорог, но праздного пришельца сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же непосещенным, как тысячу лет назад, как всегда. Ослепительное, как зубная боль. Место для родины... Ни для чего больше оно не подходило. Закладывает уши, слезятся глаза.

«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре», так же было холодно и сине, так же полегла желтая трава и в ту ночь, когда трижды отрекся Петр, прежде чем пропел петух, и когда чеховский студент подошел к тому костру на огороде...

Но никогда не висел амбарный замок на дверях монастыря; не был похоронен под обелиском со звездочкой меж двух старинных могил с кудрявыми крестами капитан Севанского пароходства; не становился монастырский остров полуостровом; не пролегало по перешейку шоссе до самого берега этого острова (теперь — до подножия горы, где дом отдыха); не стояла голубая комсомолка с веслом; не утекал Севан, как песок в песочных часах, обозначая узкое, как шейка тех же часов, наше время, оставляя мертвую костяную полосу между собой и горами...

Так светло бывает только при зубной боли.

Закладывает уши, слезятся глаза.

«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»

Великая поэзия всегда конкретна. А образов никаких нет.

гора

Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме.

Просто первое, что я должен был увидеть.

Но его там не было.

И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел.

Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгушалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, — море.

Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских Черемушках — дом стоял над городом, и ничто не заслоняло взор. Из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было.

Мне полагалось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.

И так до последнего дня.

Я улетал первым рейсом и поднялся с рассветом.

И тогда я увидел его.

И большую вершину, и маленькую.

Это оказалось очень неожиданно. Он не был так уж органичен для того места, где так внезапно вырос на прощание. Он казался пришельцем.

Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат».

...Довольно мрачная, насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора — именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана.

И потом — гора смотрела. Я на нее, она на меня. И я чувствовал себя неловко.

Это, наверно, случайное, однократное мое впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала.

Словно горе этой пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу.¹

¹ Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан. И если говорить о «невписанности» армянских храмов в ландшафт, то она, как и Арарат, имеет вулканическую природу.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

ТЕЗИС

Я задаю себе вопрос: откуда берутся идеалы? Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество? Безусловно — но тут-то и обнаруживается, что это не все. Не все объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!

Страсть. Ревность. Любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть; вот уж когда у нас не останется ума примерить трезвый опыт; вот когда страдание возникнет ниоткуда, нипочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела... Где же мы видели эту идеальную любовь? Когда узнали?..

Искусство? Книги? Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут, мысленно, начинаю я перелистывать книги юности и вдруг, нынешним-то, протрезвевшим и охладевшим, взором обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезвевшими в свое время людьми, как я — в свое. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой...

Можно расти сиротой, семья, среда могут оказаться трагически не подходящими идеальному развитию детства и юности, и однако именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прекрасного, ничем не подтвержденных в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности, для равновесия, по законам диалектики?

Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким, опущенным в учебнике, способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, чтобы светить людям, которым это было не нужно, которые шурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет.

Тут тоже, на мой взгляд, все не вяжется одно с другим.

Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан и если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицезрению? Идеалы ведь не существуют в жизни. Потому они и идеалы.

Может, они врожденны? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их выявления?

Природа идеала исключительно неясна мне как материалисту...

Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто. Потому что все, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует.

Торжествуют же идеи — не идеалы.

Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мною, — ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чем же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?

Приходится признать существование в нас, и нигде больше, идеального мира, населенного идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (потому что родиться физически мы могли где угодно) и лишь с разной степенью полноты и силы выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несопадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое — болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?

Откуда?

И где взял я, как родился во мне образ некоей горней страны, страны реальных идеалов? Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где все было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и женщина — женщиной. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть, где бы всем понятиям вернулся их

исконный смысл... Страна была рядом, и только меня в ней не было... При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался и смотрел не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть. Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? Брал? человека? за руку? — я смотрел ему в глаза... Господи! Кто это? Кого я беру за руку?

Мне пора было вернуться.

...Страна с одним городом, озером и горою, населенная моим другом! Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать тебя. Камень был камнем, свет — светом... Я нашел слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был мужчиной, и беседовал, как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и все еще в суете, мне непременно, необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость, я сказал: «Вот страна понятый...»

И не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране и к этой радости косвенное доказательство того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает моей суете?

БОГАТСТВО Это была небольшая черная слива; вернее, темно-синяя, чернильного цвета слива; небольшая она была не потому, что недозрелая и мелкая, а потому, что принадлежала к такому достаточно широко распространенному и известному сорту небольших по размеру слив, несколько более удлиненных, чем крупные сливы, с островатыми концами, несколько менее сочных, даже суховатых, и более сладких.

Это был один из крупнейших крытых ереванских рынков, архитектуру которого, как и многое в ереванском современном градостроительстве, следует признать передовой и удачной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался очень органичным, а назначение и решение предельно соответствовали друг другу, сливались. После уличного света и жары — прохладная и какая-то очень светлая тень и чистота, и своеобразная

тишина. И нет той кипящей и резкой жизни открытого южного базара с его солнцем, гомоном, толкотней и осами.

Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! Если птичий базар был назван так в сравнении с человеческим, то прежде всего не по многочисленности того и другого, а по тому ни с чем другим, как друг с другом, не сравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что уже образующих гармонию. И если птичье собрание было не с чем сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысячи голосов, не различимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали вниз, и этот обращенный шум был так нежен, что не сразу достигал моего сознания, как шум моря и шум далекого птичьего базара (шум открытого базара близок: будто ты ступил на берег, непрощенный гость, и вспугнул тысячи пернатых хозяев сразу). И высокий свод, поддерживаемый изящными и легкими стрельчатыми арками, и рассеянный, непонятно откуда идущий свет, и этот мягкий нежный гул невольно наводили на мысль о храме.

Эта небольшая слива лежала на вершине аккуратно сложенной пирамиды из точно таких же слив. Пожилая женщина опрятного и достойного вида построила эту пирамиду и теперь стояла величественно и скромно. Рядом, лишняя, топталась ее некрасивая дочь с каким-то скучным трепетом на лице. Еще рядом находилась суетная торговка травой, но тут уже проходила явная граница между сливами и травой.

Покупателей не было.

Достойная женщина в этот момент как раз быстро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишенным величия движением поместила нашу героиню на самый верх, после чего несколько безотчетным и очень бережным движением придерживала всю эту конструкцию сбоку и отпустила — пирамида застыла не дыша, подчиненная чудесным законам трения...

Мы шли с другом по рынку, и изобилие юга в который раз поражало мое северное сердце. Чудо существования фрукта вызывало легкое головокружение. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на базаре. Отсутствие солнечного света, прежде всего подавляющего на базаре, словно возвращало фруктам их собственный свет (именно свет, а не цвет). Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощенное солнце, сами маленькие солнца. И поскольку мое участие в торговле было поневоле пассивным и о чем торговался мой друг со своими

соплеменниками и принцип его выбора были мне не ясны, я полностью предавался восхищению и созерцанию. Я стал классифицировать фрукты по принципу солнечности: помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблока, но всех солнечнее, как ни странно, абрикос, — так рассуждал я... Отсутствие табличек с ценами полностью устраняло возможность моего участия в торге, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некий первородный и живой принцип торговли, где сделка еще и какой-то союз, отношение и родство. Мне тут все казались родственниками.

— Как красиво, — вяло сказал я, обводя глазами это великолепие.

— Плохой рынок, — сказал друг. — Вот недели через две!..

Тут-то мы и поравнялись с этой сливой, и мой друг начал ее покупать. То ли достойная женщина никак не ожидала покупателя, но наше появление оказалось как бы внезапным для нее, и за свое дело торговли, после секундного замешательства и словно в компенсацию его, она принялась слишком порывисто, хотя и не роняя несколько своего достоинства. От резкого ее движения верхняя слива покачнулась и, чуть помедлив, покатила. И женщина, и ее дочь чуть подались вслед за ней безотчетным движением, но ловить ее было уже поздно и, помимо того, что был риск, лова одну сливу, своротить всю пирамиду, как-то и непристойно. Так они обе застыли, остановив чуть заметное и непроявленное свое движение, и следили за падением сливы. Я тоже несколько замер, меня всегда гипнотизирует неожиданное падение. Слива скатилась с пирамиды, прихватив за собой еще одну. Они спрыгнули с мраморного прилавка на плиточный пол и резво покатались, обгоняя друг друга.

Мы проводили их глазами до полной остановки, и достойная женщина уже взвешивала сливы моему другу.

Две сливы лежали неподалеку одна от другой на грязноватом полу, и над ними ходили люди. Женщина успешно и споро справлялась со своим делом, но тайком, помимо своей воли взглядывала на те две сиротливые сливы. Их заметил мальчишка, мы посмотрели на него с надеждой, но время базарных беспризорников, подбирающих с полу, давно прошло... Люди стали жить богаче. Какой-то человек чуть не наступил на сливу, но в последнюю секунду, неуклюже вздернув ногой, обошел стороной. Мы вздохнули.

Две маленькие сливы дешевого сорта. Как мне объяснить, что во всех этих переживаниях нет ни нищенства, ни жадности!

Просто жалко, что они пропали, что их раздавят, что их никто не съест.

Эта жалость к сливе была благородна. Это было уважение к сливе. Цена земли и цена труда в каждой его капле.

В этом тоже культура.

Культура даром не дается. Если коренные ленинградцы до сих пор неспособны выбросить зачерствевшую корку на помойку, то это означает вовсе не близость к земле и уважение к труду землепашца — этого, быть может, уже нет в их крови, — но если вычесть сегодняшнюю сытость из этой вот не выброшенной, а непременно пристроенной куда-то корки, то в разности получится блокада. И этот глубокий и далекий голод дает людям, давно забывшим землю, элемент крестьянской культуры. И не только это уважение к хлебу есть культура, но и к такой культуре необходимо относиться с уважением, как к хлебу.

Пища — это пища. Не только жизненная функция, но и понятие. Этим открытием я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, еще не порабошенная общепитом.

Я закрываю глаза и вижу этот стол... Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные друг от друга. Вот кулачок деревенского сыра с отпечатавшейся на нем сеточкой марли. Вот лук — длинные немятые стрелы в капельках воды. Вот зелень — зелень зеленая, зелень синяя, зелень красная, целый воз, целый стог. Это не еда — это кристаллы еды, это не соединения — элементы. Вот уж что Бог послал...

И стопка лаваша. Как древняя-древняя рукопись. Лаваш — отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода — так я понимаю — кристалл хлеба. Вечный хлеб. Вот развернуто влажное полотенце — и вздыхают вечно свежие страницы лаваша.

Это чистое-чистое утро. Садится мой друг. Сажусь я. Мы отрываем угол лаваша, кладем туда стрелы лука, стебли травы и сыр, свертываем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не спеша жуем. Мы не торопимся, мы не жадничаем, мы и не гурманствуем — мы едим. Мы уважаем хлеб, и уважаем друг друга, и уважаем себя.

— Лаваш — это хлеб, — говорит мой друг, отрывая новый лоскут. — Лаваш — это тарелка, — говорит он, укладывая на лаваш зелень. — Лаваш — это салфетка, — говорит он, вытирая лавашем рот... И съедает салфетку.

Я не видел в Армении грязных тарелок, недоеденных, расковырянных блюд. В Армении едят достойно. И дело не

в ножах и вилках, не в салфетках. Можно, оказывается, есть и руками... Вытирать тарелку хлебом, потому что было вкусно, всегда вкусно. И не только поэтому.

Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделен и неграмотный человек, я бы определил ее как способность к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре — следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворен этой формулировкой, мне бы показалось, что она неполна, я бы еще добавил — способность не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа... Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга... Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка... Такому положено ничего не иметь — голодать, только голодный он еще сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, он рыгает и презирает все то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал. Алкал и налакался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность... Поводит мутным взором, что бы еще оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал свое голодное стремление к свободе, нажравшись. И теперь его свобода — следующая ступень за сытостью — хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на все то, к чему так позорно оказался не готов, — к обладанию.

С избытком справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять.

— Нравится тебе лаваш? — спрашивает друг.

Как бы мне ему выразить — как он мне нравится! Я говорю:

— Я бы ввел наивысшую премию для поэтов: если он напишет строку истинно прекрасную, то ее напечатают на страницах лаваша...

— Правда, правда, — радуется друг. — Ты тоже, значит, заметил, что лаваш — как древний свиток...

— Какое бы место из своей книги, — говорю я, большой поклонник этой его книги, — ты бы выбрал для того, чтобы напечатать на лаваше?

И мой друг, способный написать о людях, которыми руководят только ветер, солнце и облака, который может написать, как человеку жарко, только жарко — и вам жарко; как одна буйволица в одной деревне, где уже не осталось буйволов, рано утром уходит от своей старой хозяйки и бредет по горам Армении из села в село, где тоже нет буйволов, исполненная непонятной и прекрасной тоски, она идет по этой прекрасной стране, где нет буйволов, и все это только через нее, только через запахи, простые картины и звуки, и как она буйвола не находит и возвращается... И мой друг, способный написать такое, говорит с искренней сокрушенностью и серьезностью:

— Нет, такого, чтобы — на лаваше, я, пожалуй, еще не написал.

О эта страна, где меня спросят:

— Андрей-джан, что ты хочешь, персик или помидор?

И если я отвечу правильно, на меня посмотрят с любовью и благодарностью, как на посвященного.

В конце концов, плод любви — дети. Об этом и напоминать-то как-то неудобно. Скажем для тех, кто, погружаясь в процесс, теряет цель из виду. Напомним себе. Конечно, все любят своих детей. Отдать предпочтение какой-нибудь нации рискованно. Все мы любим своих детей, но по большей части раз уж они получились. Родовое заглушено.

СЕМЬЯ
И МАСКА

Тут следует разобраться в простых словах. «Пора жениться» и «пора обзавестись семьей». Что впереди, «курица или яйцо»? — это не так уж бессмысленно. Скажем так: все мои друзья женились по любви. То есть была первая любовь и прошла, была еще одна, две, десять, сто женщин. Казалось: вот люблю. Оказывается: нет, вроде не люблю. Наконец исподволь, может, даже с удивлением, обнаруживалась любовь к одной из них, к последней, желание видеть ее все чаще, все время, всегда, невозможность потерять ее, представить с другим, желание удержат навсегда — женились.

Высшая мера, потолок. Значит, целью все-таки была женщина, любимая, желанная, но одна. Двое — с удивлением обнаруживалось — семья. Дети — туман, отрезвляющий и пугающий. Появление их чаще связано с неким неравновесием, атмосфера конфликтна и драматична. Обилие бездетных молодых пар, где неравновесие, неуверенность, непрочность — источник страсти, длина брака... И если ребенок все-таки появ-

ляется, то осмысленность, природность семьи опять воспринимается с некоторым удивлением.

Я готов предпочесть мужицкое — «довольно по свету шляться», «пора иметь свой угол», «пора обзавестись семьей». Мужик испытывает тоску по назначению, уговаривая себя расчетом. Выгоды между тем в браке нет, есть смысл.

Все, конечно, любят своих детей. В основном потому, что м о й. Слепое чувство. Мой; а не соседа.

Как любят детей в Армении? Если бы не было в принципе нелепым членить чувство, то, во-первых, вообще очень любят детей, во-вторых, потому что м о й, в-третьих, потому что Матевосян, Петросян, Ионнесян из рода Матевосянов, Петросянов, Ионнесянов, в-четвертых, потому что армянин, еще один армянин. Тут-то и смыкается кольцо — во-первых и в-четвертых; исполнение долга, биологического, национально-го и личного.

Надо, чтобы тысячелетиями тебя вырезали кривым ножом, чтобы ты понял: вот твой сын, он будет жить на твоей земле и говорить на твоём языке, он будет сохранять землю, язык, веру, родину и род.

Это не просто твой сын, не только твой сын.

Любовь к детям, как почти все в Армении, достойна. Сильна, но не аффектирована, нежна, но проста. Воспитание детей имеет, как мне показалось, одно общее отличие от того, что я привык наблюдать у себя дома. Отличие, по-видимому, принципиальное: наше влияние и власть над детьми расположены с возрастом по убывающей, у них — по возрастающей.

Чувство меры в проявлении любви — основа воспитания. Как чувствительны дети к этой вере, к этой ровности! Устойчивость, верность, постоянство, спокойствие прежде всего вызывают доверие в душах маленьких консерваторов. Экспансивность в ласках, наверно, почти равна окрику и удару. Просто при ребенке надо постоянно держать себя в руках — это не противоречит нежности. Это постоянное волевое усилие, оно трудно, но, наверно, входит в привычку.

Конечно, с каждым человеком все в его жизни когда-то происходит впервые, когда он не вооружен тем или иным опытом. Тем более первый ребенок — тут многое можно понять. Но, во-первых, вооружение опытом вещь вообще очень спорная, и, живя, нам всю жизнь поступать впервые, и я не очень-то верю в применимость прежнего опыта, тем более личного, к последующему, настоящему мгновению. А во-вторых, рождение ребенка, даже первого, дело столь естественное, природное, что

травма сюда прокралась именно от цивилизации, от разрыва с собственной природой, некоторой биологической атрофированности.

К таким мыслям я приходил, наблюдая и сравнивая...

Например, меня поразила какая-то невыносимая, абсолютная свобода младенца, такой мне не приходилось наблюдать раньше... Я вошел впервые в квартиру моего друга — семья была на даче. — стал озираться: как он живет, мой друг? Вот стиральная машина, я таких не видел — пощупал. Брякнула отломанная крышка. «Это Давидик», — с удовлетворением сказал мой друг. «Как? — удивился я. — Ему же два года!» — «Нет, двух еще нет», — сказал друг. Я торкнул пальцем в пишущую машинку. Она тускло звякнула, как консервная банка, — она не действовала. «Это тоже Давидик?» — пошутил я. «Давидик, — чуть ли не гордо сказал друг. — Извини, у меня только такая чашка, — сказал он, наливая кофе, — было двенадцать, осталась одна». — «Давидик?» — «Давидик». Я представлял себе виновника разгрома, этого юного Пантагрюэля, и гордился гордостью моего друга. «Хорошее имя, — сказал я, — подходящее. Он сокрушит Голиафа...» Каково же было мое удивление, когда я познакомился с Давидиком! Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, у него болели ушки, такой зайчик-ангел, слабенький и болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах! — радостно всплеснула мама. — Ай, Давидик! Ай да Давидик!»

Так и улыбаются у меня до сих пор перед глазами мама Давидика, папа Давидика, сам Давидик над осколками, округлив глаза, разведя ручки... И я улыбаюсь как-то завистливо и счастливо, и свет моего детства, тот неповторимый свет, который освещал тогда другие комнаты, освещает мне эту сцену.

«Вах! — говорит мама. — Он уже второй сервиз перебил!» И это звучит так — ничего, купим третий. Должен сказать, они были не настолько богаты.

Старшенький же, тоже небольшой в общем ребенок, мог бы показаться пасынком, настолько с ним были строги. Строгость как бы возрастала прямо пропорционально пробуждению сознания. И к тому возрасту, когда, по моим наблюдениям, в наших семьях дети окончательно выходят из повиновения, а родители все более попадают в зависимость, здесь, казалось, строгость отношения достигала уже таких пределов, что отпала даже необходимость проявлять ее, а возможно, просто

неприлично было бы, если бы при госте была заметна хоть малейшая черточка отношений... И дети превращались в тех невидимок и неслышимок, когда лишь в глубине за приотворенной дверью, если ветерок отодвинет занавеску, можно заметить тень подростка, а разглядеть его поближе удалось бы, лишь если отцу во время нашей неторопливой беседы захотелось бы вдруг похвастаться, какие сын-дочь растут у него. И то тут же — легкое подталкивание отцовской руки, напутственная неширокая улыбка, и подросток уже исчез навсегда.

Во всяком случае, того, что в наших семьях называется «разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосредственность», или «сколько в них энергии, жизни», ничего такого я не слышал. Или, чтобы справиться с чувством неловкости от быстрых обобщений, просто семейная жизнь, в том числе и дети (за исключением младенцев), никогда не вылезала на видимую поверхность, когда вы посещали дом и хозяин занимал вас беседой. Я уходил из дома, столь же не посвященный в семейные отношения, как и приходил. И тут, по-видимому, нечему особенно удивляться, разве лишь тому, что порядок вещей с каких-то пор и по каким-то причинам является для тебя удивительным.

И старший по возрасту становится старшим по положению — что же тут непонятного? — ведь обязанности расширяются много быстрее прав...

И как бы я ни изощрялся в привычной наблюдательности, я узнавал о частной жизни не больше, чем фотограф, приглашенный сделать семейный портрет, — только стальные черты лиц да фирму мебельного гарнитура... Да и почему бы мне, постороннему, за час составлять представление о том, что складывалось годами? На каждого хватает его семейной жизни, не правда ли? Здесь я мог не загружать себе голову посторонними знаниями психологических рисунков, катаральных переживаний и половых вкусов гостеприимной семьи. И на этой счастливой и приветствуемой мною невозможности проникнуть глубже я с удовольствием ограничу свои наблюдения над семейной жизнью Армении. Ибо никаких эпитетов к семье, судя по тому, что мне удалось видеть, кроме «ладная, дружная, крепкая», я, по-видимому, не найду. А в нашем языке они давно стали штампами.

Постепенно я уставал от отсутствия распушенности — нигде было расслабиться. И мне становилось скучно. Здесь в семейных синематографах показывали лишь нудные лакиро-

вочные картины, не идущие ни в какое сравнение с нашими неореалистическими достижениями.

Я, естественно, старался вести себя прилично. Раз уж ты не способен в одночасье залопотать на новом языке, то, по крайней мере, приходится следить за тем, чтобы не совершить невзначай того, что не принято в этой стране. То есть поневоле ты все меньше располагаешь возможностью быть собою и становишься представителем, все более подчиняясь тупой логике представительства. Ибо если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут показаться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплеменников, обезличиваются твои замашки и привычки и вдруг начинают представлять как коллективные и народные. Тут и усредняется пришелец, сам, по собственному почину... О туристе я все чаще думаю в среднем роде. И все с большим трепетом думаю о возможности маршировать по Парижу с широкой расплывчатостью среднего пола на лице...

Прилично вести себя нетрудно, потому что неприлично вести себя опасно... Если бы даже это было моей неотъемлемой чертой, я бы, наверно, быстро сообразил, что не стоит в Ереване знакомиться с женщинами на улице и вряд ли мне удастся проникнуть по водосточной трубе на ночной балкон... От всего этого, скажем так, было нетрудно отказаться. Тем более что (и за этот свой конкретный опыт я поручусь) мне ни разу не удалось встретиться (не призывным, не игривым — просто обыкновенным, случайным) взглядом ни с одной незнакомой армянской женщиной или девушкой. Мне было уделено не больше, а меньше внимания, чем любому столбу или забору. Я бы считал такую задачу в отношении себя противоестественной и нарочитой, если бы это «невстречание» с моим взглядом не давалось им столь же легко, как дыхание. В том-то и дело, что это не стоило им никакого труда: они не замечали того, как они меня не замечают. Меня, правда, занимало, как они видят окружающий мир и так ли уж не видят меня? Нет ли тут какой-либо особенности в восприятии спектра?.. Но вдруг подумал: а что, собственно? Что за манера такая — глазеть на кого попало? Какая цель?..

Странное все-таки это рассуждение: принято и не принято... Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у «них» все не как

у людей, начинаешь понимать, что же принято в твоей семье, среде, стране... А потом приходит простая мысль: а вдруг то, что у тебя «принято», то, что ты полагаешь единственно естественным и правильным порядком вещей, — и не так уж естественно и правильно и, может, в лучшем случае, до крайней степени условно?

Ну ладно, на третий день я разучился пялиться на женщин, и это можно пережить. В конце концов, у меня даже освободилось время замечать иные предметы и подумать о них. Между прочим, довольно много времени.

Тут мне хочется привести один примечательный разговор.

Однажды во дворе дома моего друга, где гулял Давидик, меня представили соседке, как бы интеллигентной мамаше в очках. На руках у нее сидел толстый младенец и неловко пожирал мацони, поливая мамину грудь. На маме был джерсовый костюм, и такая широта в отношении к импорту поразила меня, хотя я уже был знаком с Давидиком... «Лишь бы ел...» — спокойно сказала мамаша, проследив мой взгляд и правильно поняв его. Она равнодушно посмотрела на свою грудь, покрытую простоквашей, и стала расспрашивать меня о впечатлениях. После рядовых — как вам понравился Ереван и как вам нравится в Армении (очень и очень) — она задала мне внезапный и единственный в своем роде вопрос, так и брякнула:

— А как вам нравятся армянские женщины?

Я растерялся. Я сказал, что встречаются удивительно красивые лица. Я сказал, что в общем не очень-то присматривался.

Она удивилась.

Я пояснил, что быстро постиг невозможность какого-либо контакта и перестал смотреть.

Она как бы опять удивилась и не поняла.

— А вы бы женились на армянской женщине?

Теперь еще раз удивился я.

Мы плохо понимали друг друга. Она сказала:

— Разве вам не хотелось бы, чтобы вы уехали на три года и наверняка знали, что жена не изменит?

— Ну, видите ли... — промямлил я.

Долго не шел у меня из головы этот разговор, не порождая в то же время каких-либо отчетливых мыслей. И лишь сейчас, и то неотчетливо, думаю о том, что мне хотелось бы не столько даже гарантированной верности моей жены, сколько собственной потребности в этой вот непреложности понятий: жена — семья — верность...

Конечно, разочарование стережет наши надежды. Однако скептицизм, которым мы попробуем в этом случае вооружиться, одна из самых непрочных вещей на свете, как, впрочем, и всякое вооружение. По сути, скептик — это существо, обращенное к каждому без разбора с мольбой, чтобы его разубедили в его горьком опыте. Ахиллес, демонстрирующий свою пятку. Пожалуй, нет существа, более готового заглотить наживу надежды, чем скептик. И так глубоко заглотить... Потом, конечно, есть возможность утверждать, что меньше всего на свете мы могли этого от себя ожидать или что «так мы и знали». Это одно и то же.

АЭЛИТА
ИЗ АПАРАНА

Впервые я увидел ее... но я понятия не имел, что увидел именно ее.

Мы стояли с другом посреди деревеньки (конечно, это была древняя столица Армении), на площади, рядом с дремлющим чистильщиком обуви, и, точно так же, как в Ереване, томилась и ждали кого-то, а я не знал кого. Посреди улицы застыл зной, и на дно его осел слой толстой ленивой пыли. Никого. Мы стояли в особенно черных от жары ботинках, только что к тому же начищенных (и это дело сделано!), стояли, не переступая ради их блеска, чтобы не утопить их тут же в лужах пыли, и я прискорбно думал о природе гостеприимства. «Что за рабство такое — нарушать все течение своей жизни, бросать семью и работу ради того, чтобы гость изнемог от вина, мяса и невозможности побыть одному? И все это, чтобы потом быть обязанным исполнить тяжкую работу гостя в ответном визите... И так запутаться в этой непреложной последовательности, чтобы не знать, ублажаешь ли гостя или мстишь ему, оказываешь ли уважение хозяину или досаждаешь?..»

— Аэлита! — позвал друг.

Смешная девушка направлялась к нам: коротенькая, крепкая и красная, как помидор; с тщателью уложенной башней на голове; в мини-платье из черной с золотом тафты и босиком. Коленки ее, тоже толстенькие и красные, гримасничали при каждом шаге. Аэлита было ее имя, вполне по-армянски. Меня, конечно, с ней не знакомили, что я, не вдаваясь, уже принимал как должное. Она на меня не смотрела и не видела, чему я тоже не удивлялся: может ли хорошая, молодая, чистая, здоровая девушка, определяемая одним словом — «невеста», обращать на меня внимание? Невеста и должна быть скромной... Она слушала, что ей говорил мой друг, и только пальцем шевелила в пыли...

Они говорили — я не знал о чем и продолжал свой ход мыслей, ибо только в нем был волен... Что за неотклонимость этих трасс угощений и зрелищ! На такие траты у нас в России решаются лишь в исключительных случаях рождений, свадеб и смертей... Однако попробуй отклониться от этого щедрого маршрута! Он проложен для гостя, а не для тебя — вот и будь гостем, а не собой. Словно бы в этих каналах гостеприимства тобой-то как раз и не занимались — от тебя откупались. Малейшая мысль именно о тебе, а не о госте, была уже затруднительна, озадачивала, утомляла и ставила в тупик. То есть в ритуалах гостеприимства не было участия. Они стоили сил и средств как работа и время жизни, но не имели стоимости любви.

Так мелко думал я, разрешая неразрешимую задачу: нам опять предстоял пир, к которому велась серьезная и трудоемкая подготовка, а мне хотелось через улицу перейти в аптеку, но мой друг ни за что меня туда не пускал: одного, говорил, не могу пустить, — но и со мной туда тоже не шел. «Слушай, зачем тебе в аптеку?.. — морщился он. — Не надо тебе в аптеку...» Так вот: почему было легче пир устроить, чем в аптеку со мной зайти? — и было мне окончательно непонятно.

Аэлита нарисовала три босых крестика и ушла.

Что мне не уставали объяснять по десять раз, а что никогда не объясняли... Простых-то вещей как раз и не объясняли. Например, мне пришлось очень удивиться, застав, по возвращении в Ереван, ту же Аэлиту в квартире моего друга, играющей с его детьми. Она же ничуть не удивилась моему приходу и по-прежнему не заметила меня. Ну почему бы, казалось, мне тогда было не объяснить, что она родственница, племянница, троюродная сестра? Нет, это было ни к чему. Вот эта твердость и определенность, с которой за меня решали, что мне может быть интересно, а что не может, — и есть языковой барьер: ни за что, кроме предложенного, я не мог зацепиться сам. Я был своего рода калека-глухонемой: со мной объяснялись и меня понимали лишь самые близкие люди. Друг.

Но друга в этот вечер не было дома: у него было дело, которое он не мог отложить. Я уже научился не знать и ждать: я терпеливо просиживал диван, наблюдая Аэлиту. Как быстрее ее полюбили дети! Они ползали по ней, исполненные нежности и восторга. Она была невозмутима и двигалась внутри этих объятий плавно и свободно, как купальщица. Жаль, что я не

мог понять, что она им так тихо и бесстрастно рассказывала, — но глаза детей время от времени круглели и рты расстегивались. Она извела всю шоколадную фольгу в доме на короны: все трое сидели теперь в коронах, — и бесконечно рисовала красавиц вроде бы для детей, но и для себя, испытывая на них фасоны и моды. Красавицы, тоже все в коронах, были, не в пример ей, все очень длинные и узкие, с распущенными пышными волосами, кривыми, как турецкие ятаганы, ресницами, огромными среди ресниц глазами и крохотными, точечкой-сердечком, губками. Так они стояли в длинных до полу платьях, воплощая макси-предчувствия Аэлиты. Хуже всего получались у них руки: красавицы, совершенно не по-светски, не умели обращаться с ними, не знали, куда их деть: растопыривали их, как пингвины. Аэлита меняла им рукава, плечики, вырезы на груди... Дети с восторгом переводили взгляды с рисунка на нее, с нее — на рисунок: до чего похожа их красавица-королева!.. Да, Аэлита не собиралась всю свою жизнь проводить в няньках! — вот что она рисовала. Я сидел и ждал друга и час и другой — род мебели; дети не видели меня из-за Аэлиты, которой были поглощены. Аэлита не видела меня по природе своей, жена друга старалась реже попадаться мне на глаза, может быть, потому, что совершенно не знала, чем меня занять. Так я сидел и вдруг обнаружил, что, как и дети, у же привык к Аэлите, привык, как мебель к хозяину.

Тут появляется сестра жены друга Жаклин — и ситуация разрешается: бремя моего времени равномерно ложится на плечи этих милых женщин. И так сразу становится весело и непринужденно, что я впервые понимаю, что до сих пор ставил жену друга в положение неловкое. И это опять то простое, чего мне никто не объясняет и чего я сам понять не могу — другая страна: сама ли пришла Жаклин, к радости и облегчению сестры, или та специально ее вызвала?.. Так я и спотыкаюсь лишь на самых плоских местах — где надо проявить п о н и м а н и е, там-то я вроде понимаю сразу.

Нам становится легко, мы решаем идти все втроем в кино. Жена друга так рада: теперь у нее наконец есть Аэлита, теперь она наконец хоть сходит в кино! Но без сестры она не могла бы пойти со мной и сестру одну со мной не отпустила бы. Так, махнем рукой и не пойдем, слава Богу. Мы идем в самый новый, роскошный суперкинотеатр. Тем более замечательно, что идем мы на «Фантомаса», потому что южный темперамент зрителей... смотреть на того, кто смотрит, — еще одно удовольствие.

Все разрешилось — и опять не все. Взгляд жены друга становится печален и кроток: совсем уж неведомое мне соображение приходит ей в голову — и она нет, не идет, вспомнила одну вещь... Зато новая радость озаряет ее: с нами пойдет Аэлита! Она же впервые в Ереване, сидит взаперти уже третий день — пусть посмотрит.

Все так сложно! Мне кажется, мы так и не пойдем никуда...

Но Аэлита появляется невозмутимо и мгновенно, уже готовая: в том же золотом платье, только уже не босиком.

Это был действительно выдающийся кинотеатр, построенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом: казалось, он висел над землей, как приземляющаяся летающая тарелка. До начала сеанса было много времени, мы сидели в бесплотном кафе, состоявшем из дырок, теней и каких-то трепещущих подвесок. Болтала Жаклин, Аэлита молчала. Меня так поразило, что, впервые в жизни попав из деревни в большой город, она не была ни возбуждена, ни любопытна, как должна была бы быть любая наша юная провинциалка на ее месте, что три дня просто просидела не вылезая из дому и, не вытаски мы ее, так бы и сидела... меня так это удивило — я все приглядывался к ней. Что это, тупость или ум особый? Мне уже начинало мерещиться, что ум. Оказалось к тому же, что приехала она не только в няньки, но и в институт поступать. Я пытался вовлечь ее в разговор — напрасно. Тогда Жаклин перевела ей мой вопрос. Аэлита внимательно выслушала и ответила, но не мне, а Жаклин: она собиралась поступать на археологический, вот что. Я похвалил профессию и двинулся вглубь... Так мы и беседовали: я задавал вопрос, Жаклин переводила, Аэлита отвечала Жаклин, та переводила уже мне. Аэлита смотрела прямо перед собой ровными, спокойными глазами, не обращая ни на что внимания. Такая ее бесстрастность показалась мне уже чрезмерной: и я-то впервые сидел в подобном кинотеатре и все крутил головою, а в ее деревне — один двухэтажный дом... — не грех и полюбопытствовать... Несколько юношей картинно, «иностранно», пили за стойкой кофе и разглядывали нас.

— Что это они?

— Русский парень пришел в кафе с двумя армянскими девушками, — смеялась Жаклин, — еще бы им не смотреть! — Так или иначе, она была довольна этим вниманием.

Значит, с одной было нельзя, а с двумя — много... — подумал я. Кино!

Раздался звонок, и, под скрежет отодвигаемых стульев и шорох вставаний, я наконец поймал подобие взгляда, коснувшегося одного из изучавших нас парней: какая-то живая темнота словно бы сверкнула на дне ее глаз, — и я заподозрил, что, может быть, она в и д и т, значит, и раньше все время — видела, что неподвижность ее — напряженна и восприимчива, и кто знает, сколько она видит и как... Может быть, много и сильно, а может, и ничего.

Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели жирные южные звезды, как в планетарии; мне казалось, мы взлетели и если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, еще не столь роскошно застроенную Землю и, расчувствовавшись, прочтешь вниз длинные стихи об оставленной на Земле любви...

Ничего сверхъестественного в реакции армянской публики я не обнаружил.

Фантомас побезобразничал, и фильм кончился.

Мы вышли из кинотеатра, и национальная режиссура снова осложнила мною чье-то существование, в котором я не поместился... Жаклин с кем-то поздоровалась и чрезвычайно смутилась. Она отвела его в сторону и долго объяснялась. Он выслушал ее и молча ушел. Она вернулась к нам, слегка утратив присущую ей жизнерадостность; чуть помялась; не умея что-либо скрыть по прямоте души, неуклюже посмотрела на часы, притворно охнула, что забыла позвонить маме... и теперь... что мы тут просто доберемся, очень просто... И, махнув рукой, скрылась.

Так я остался с Аэлитой вдвоем.

Я намеренно изложил здесь более или менее последовательно и подробно всю систему уравнений, все действия сложения и вычитания, в результате которых такое оказалось возможным. Может показаться, что я говорю о незначительном, мелочь и вдаюсь в частности, однако вся эта система недопониманий является существенной частью атмосферы пребывания в Армении, и уверяю, что случай этот — невероятный, невозможный, практически не встречающийся в жизни города Еревана... Чтобы русский парень оказался в полночь в центре Еревана с семнадцатилетней армянской девушкой, ни слова не знающей по-русски!..

На улицах не было вообще ни одной девушки, даже с армянским парнем.

Небо за время сеанса затянуло, и звезды погасли; фонари же горели изредка. Что-то навалилось на землю мягкое, теплое

и вкрадчивое, вроде тумана, но не туман. Запахло редким запахом какого-то стручка. Непонятный, наркотический ажиотаж расцветал на углах улиц, как ночной бутон: бесшумно мелькали стройные армянские юноши в белых рубашках, вспархивали из-за деревьев, как большие ночные птицы. Куда-то все несло: останавливалась машина, какой-нибудь юноша внезапно отделялся от стены или ствола и тихо переговаривался с шофером, склонившись... машина, резко газанув, уезжала и потом подъезжала снова. Ритуальное прикуривание от зажигалки.

Городской транспорт внезапно, в одну секунду, пока я отыскал ту остановку, что выкликнула на бегу Жаклин, перестал ходить. Я понял, что даже приблизительно не представляю себе, в какой стороне наш дом и далеко ли. Я спросил Аэлилу, знает ли она дорогу. Она уверенно замотала головой отрицательно. Любопытно было бы представить, что творилось в ее голове... Она тихо шла на полшага позади меня и несколько ближе, чем, по моим представлениям, могла себе позволить. Я осторожно поглядывал на нее, пытаюсь обнаружить в ней признаки хоть какого-нибудь волнения, — их не было.

Мы вышли на новую улицу, и это была не та улица, на которую я собирался выйти. Казалось, мы брели в другом городе, другой стране, еще более других, чем Ереван и Армения... Мы проплывали мимо витрин, как рыбки за стенкой аквариума.

...Витрины в Ереване смотрят как-то удивительно наружу. То ли осталось что-то от наивности и прямодушия ремесленников, вешавших образец своих изделий над входом в мастерскую: сапог так сапог, ковер так ковер, — но когда идешь по ночному Еревану и светятся изнутри магазины и мастерские, наполненные предметами, без человека обретающими абстрактное, отрешенное значение, то кажется: товар вышел из витрин и замер на пустой мостовой — вдруг стоит посреди дороги кровать с никелированными шишечками или швейная машина, не крутится, не жужжит... Будто ночью в Ереване выставились поп-артисты.

Так мы шли меж этих странных предметов, по этой пустой выставке, все нерешительней, и, наконец, остановились. Аэлила послушно замерла рядом. На освещенном углу, где ночной магазин вот так смотрелся наружу и обнаженные его предметы, как существа иного мира, совершали свою вылазку в город, появилась группа юношей и застыла, как манекены из той же витрины, молча разглядывая нас.

Спросить дорогу я не рискнул. Может быть, я и испугался. Но если и испугался — то не за себя. Я вдруг понял, что если без приключений доставлю Аэлиту к другу, то буду сегодня совсем счастлив. Спокойно и верно ждала она, что же я предприму. Тут было посветлее, и я разглядел ее лицо: пожалуй, все-таки она волновалась немножко. Лицо ее как-то посерьезнело, утоншилось и даже похорошело, и глаза будто стали больше и блестели чуть сильнее, хоть взгляд по-прежнему ничего не выражал.

— Ну, — сказал я, смело улыбаясь, — кажется, мы пошли не в ту сторону...

Она кивнула.

Я повернулся поуверенней, и мы пошли в обратную...

Она теперь шла настолько близко ко мне, что можно было лишь умудриться не касаться меня плечом, краем платья. Я странно переполнялся ее присутствием, параллельным существованием и дыханием — юно и немо, забыто... Только потом, вспоминая, приходили мне те мысли, которые могут придти мужчине в подобном случае, — тогда же, уверяю, я был чист от малейшего, даже абстрактного, помысла. Все-таки невозмутимость ее была чрезмерной и, может быть, задевала меня... Как тень, повторяла она каждый мой шаг, что-то было в этом выючное, жвачное. Что это? Покорность судьбе? Покорность мне? Доверчивость или доверие? Что бы это ни было, дикий страх или сонное бесстрашие, она шла со мной рядом, как в поводу, и никакого сомнения в моем успехе у нее не возникало. Хотя видела же она прекрасно, что я не знаю дороги и не решаюсь спрашивать прохожих?... Но если какое-нибудь переживание и таилось за ее невозмутимостью, выражалось ею, то я льщу себя надеждой, что это было не то, что мы заблудились и нам что-нибудь грозит, а то, что мы, вдвоем, вот уже час бродим по большому ночному городу. Ведь точно, что все это происходило с нею впервые в жизни! И как бы далек я ни был от ее мира вчера и завтра — но в эту-то минуту...

— Ты совсем не знаешь по-русски?

— П-плохо. — Лицо ее исказилось чем-то вроде улыбки.

— Ты не боишься?

Она старательно замотала головой.

Но я-то вдруг ужасно разволновался. Я стал наскакивать на машины. Я умудрился остановить даже автобус, но ему было не по пути... И когда после каждой попытки я возвращался к Аэлите, то заставлял ее ровно в той точке, где покинул, ждущей тихо и терпеливо. И если бы я отчаялся и побрел куда глаза

глядят, миновал окраины и вышел в поле, зашагал бы в гору, пересек пустыню, вышел к морю и оглянулся — Аэлита бы оказалась у моего плеча: мог бы и не оглядываться. Так бы мы и состарились в этом походе, незаметно обрастая детьми и внуками... Такое было у меня чувство, когда, упустив очередное такси, я обнаружил, что она на меня смотрит. Это был действительно «марсианский» взгляд, как с обложки фантастического журнала: взгляд другого существа. Оно смотрело из себя — другая логика, другой мир... Помню, мне стало мучительно неловко от моих ужимок и прыжков, но я мог краснеть спокойно в этой темноте.

Наконец мы попали в какой-то «подкидыш» и поместились на одном сиденье. Никогда не сидел я, настолько не прикасаясь к соседу! Автобус вскоре набился, на меня давили — и я окаменел, как кариатида, сохраняя «зазор» между собою и Аэлитой. Чтобы никто (ни она) ничего не подумал такого!.. Светло поясницу и шею, но даже невольно, «под давлением», я не прикоснулся к ней. Волнение за ее жизнь прошло, а за судьбу — осталось. Я был явно не в себе. Сейчас вижу ту дурачки-ясную улыбку жениха, что блуждала по моему лицу, — тогда не видел.

«А что? — думал я. — Переехать в Армению, жениться на Аэлите, надеть ей детей, потом уехать навсегда и знать, что она никогда мне не изменит?..»

И вот мы приехали, сошли, подошли к нашему дому — а она, все так же доверившись, шла рядом, куда бы я ни пошел... Это было все-таки странно. Ведь мы уже не заблудились, нам теперь ничего не грозило, мне некуда было больше ее провожать, нам некуда было больше идти: мы пришли. Я приостановился и повернулся к ней — она смотрела перед собой, взгляд касался моего плеча и уходил в темноту двора. Так она замерла и опять ждала меня: мы же стояли у нашего подъезда! Она молчала — чего молчала? стояла — чего стояла? Может, сказать что-нибудь хотела?

«Может, после того, что я ее проводил, я должен жениться на ней?» — насмешливо похолодел я.

— Мы же — пришли, — сказал я вслух.

И тут же — это было феноменально! — расстояние между нами стало два метра. И не то чтобы она отпрыгнула в испуге, просто как-то сразу оказалось: два метра — новое качество...

И мы поднялись по лестнице, держа новую дистанцию. «Может, она не узнала свой дом?» — думал я.

— Наконец-то! — Каринэ, жена друга, уже так волновалась, куда мы делись, звонила Жаклин, они так волновались...

«Интересно, — подумал я, — что же их так волновало?»

Я сдал Аэлиту Каринэ в целостности и сохранности, из рук в руки.

А друг мой задержался, так и не приходил.

Дети спали, я хлебал суп, Каринэ ждала мужа. Где-то на втором плане из комнаты в комнату ходила Аэлита с подушками. Была она безучастна и царственно невозмутима — ничего не произошло, ничего и не было.

«Нет, не должен...» — вздохнул я с облегчением и разочарованием.

И еще был случай. Совсем незаметный.

Настолько «случай в себе», что его практически и не было. Никаких внешних событий в нем не наблюдалось, и зритель ничего не видел, но события внутренние были столь страстны и властны, что забыть их я не могу и горячо помню.

ПЕСЕНКА

Я уже говорил, что маленьким детям в Армении предоставляется значительная свобода, которой уже нет у подростка, а тем более у юноши. Но хоть в детстве ею дают насладиться и запастись на всю жизнь... Это относится и к девочкам. Им тоже многое позволено из того, что не позволено девушкам. Они могут поднимать глаза, они имеют право смотреть.

Вот единственный женский взгляд, подаренный мне в Армении.

Девочке было лет десять—одиннадцать. Это была очень красивая девочка, и смотреть на нее было радостно. (Так я определил границу, когда становлюсь «невидимым», — лет с четырнадцати. В десять лет любопытство еще дозволено.)

Еще один дом, друга друга друга... Мы сидели на веранде, потихоньку пили и беседовали... Девочка вбежала, не ожидая увидеть чужого, и замерла с разбегу. О. какой взгляд! Отец похвастался красавицей, она еще раз обожгла меня взглядом, покраснела и убежала. Я был смущен тем, что был смущен... Но, право, продолжая беседовать, не переставал я чувствовать ее присутствие... Спиной, ознобом, кожей... Я с трудом заставлял себя не вертеть шеей и не шарить глазами. Она пробегала где-то в глубине двора... Вдруг показывалась из неожиданной двери... Отец ухмыльнулся в усы.

Так прошло с полчаса. Я разволновался от ее мельканий необыкновенно. Наконец она пропала надолго. Я почти забыл

о ней, и неловкость прошла. Как вдруг — не сбоку, не из глубины, не тайком — она вышла прямо к нам и, подойдя вплотную, в упор посмотрела на меня. Я не выдержал ее взгляда. Щеки ее пылали, головка была смело поднята, взгляд открыт, и такая светлая решимость была во всей ее фигурке, что мне стало окончательно не по себе. Как бы испытал меня, она отвернулась и что-то горячо сказала отцу. Отец ответил коротко, ласково, но решительно. Девочка вспыхнула и произнесла целую речь. Я впервые ощутил все свои границы сразу — я стал отличаться чуть ли не цветом кожи, чуть ли не негром почувствовал я себя на секунду — и все не мог поднять глаза... Девочка не просила — требовала. Речь ее была так пряма, горяча и горда, что отец сдался, хотя и с очевидным неудовольствием.

— Она хочет спеть... — сказал он.

Я изобразил на своем лице жалкую официальную радость, и на секунду в глазах девочки появилось презрение... Но тут она встряхнула (ничего не могу поделаться) кудрями, лицо ее осветилось, и она запела. У нее был прелестный голос, древняя песенка была очень красива, но теперь я мог смотреть на девочку не отрываясь, как бы не на нее — на певицу, восхищаясь как бы не ею — пением... Она умела петь, это была не детсадовская самодеятельность, она владела голосом и мелодией настолько свободно, что могла не владеть собой. Я не мог понять слов, но как мог я не понять взгляда! Вот уж кокеткой она не была...

Господи, что она во мне нашла?! Быть может, никогда в жизни не чувствовал я себя так жалко. Я видел как-то изнутри, до чего же я некрасив, стар, толст, нечист... Я сидел обрюзгшим мешком, и каждое мое движение казалось мне отвратительным. Мое лицо забыло, как не задумываясь сложиться в удивление, улыбку, восторг... Я пытался припомнить и выполнить за него эту работу. И это у меня не получалось.

Чувство мое было безнадежно, без надежды. И на что я мог надеяться?

Но каким бы жалким я себя ни чувствовал, в этом было счастье, возможность другой жизни...

И счастье это кончилось вместе с песней.

Голос ее дрогнул и замер. Все захлопали, нежно и медленно складывая ладони. На меня обратился ее страстный взгляд. И тут я струсил (хотя что бы я мог поделаться?): я заозирался — все хлопали... От смущения я вдруг неловко сложил свои чужие, краденые ладони... Боже, как изменился ее взгляд! Сколько презрения, стыда и жаркой ненависти объявилось в нем... Отец был прав: не стоило петь для меня.

Она уронила лицо, закрыла руками и что-то воскликнула несколько раз, досадное, обидное, от чего я пропал навсегда — притопывала в такт своему гневу. И убежала.

Больше ни разу, ни в глубине, ни из боковой двери, нигде не мелькнула ее быстрая тень.

Я хотел, безумно хотел спросить, что же она воскликнула, закрыв лицо руками, но, слава Богу, не решился.

Хозяин сказал тост. Я подымаю бокал. Я чувствую себя странно... Я заперт в этих стенах, я пленник и никогда не выйду отсюда... Утешаюсь тем, что вопрос той милой мамыши не кажется мне уже столь бессмысленным.

Я завираюсь. Я ловлю себя на том... Я все время ловлю себя за руку, однако продолжаю писать, как непойманный. Я во-
рую у самого себя невозможность каждой следующей страницы, с тем чтобы написать ее. И тут же ловлю себя на слове. Ловлю и отпускаю, кошки-мышки... Пиша, как не солгать? Обнаружив ложь, как не отшвырнуть перо? (Вот опять... Откуда же перо взялось? Когда машинка...)

ПОПУГАЙЧИКИ
(АНТИТЕЗИС)

Однако я забиваюсь в узкую щель...

Эта глава вся состоит из ряда путаных и непереваренных впечатлений, непереваренных в буквальном смысле, потому что не может человек переварить столько мяса и травы — даже зубы постоянно ныли от усталости... А пищеварение, от кого-то я слышал, тесно связано с головой. Это к вопросу о «богатстве», недавно затронутому.

К тому же и грипп, привезенный с Севана. Кому не приходилось простужаться на юге, тому этого не объяснишь. Жара, озноб; острый как бритва свет и скрежет чужой речи... Что может быть унизительней, чем неудержимо чихать на залитом солнцем, заваленном солнечными плодами, иноязыком и горячем базаре? Где моя национальная гордость, наконец?..

Она как насквозь мокрый носовой платок в кармане.

Всего этого более чем достаточно, чтобы ощутить себя несчастным.

Ничто, наверно, так не будит чувства родины, как обыкновенный насморк на чужбине. «Ностальгия аллергика» — непристойный, чувственный, пышно распускающийся бутон...

Мы приглашены на арбуз. Об этом, кажется, была речь еще позавчера, так что это мероприятие. Для проверки ряда размышлений и догадок мне бы очень хотелось знать, имело ли

бы место это мероприятие, если бы не мой приезд в Армению? То есть собрались ли бы все эти люди есть арбуз и без меня или они собрались все вместе за арбузом исключительно ради меня, точнее благодаря мне? Со мною, из-за меня, ради меня или благодаря мне? Но этого я, по-видимому, никогда не узнаю... Целый день мы катались по Еревану из конца в конец, прибавляясь по одному, чтобы осесть всем вместе у нашего общего, еще одного, друга вот на этой верандочке, выходящей во дворик-садик. А в садике перед самой верандочкой стоит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими странными разноцветными птичками, выведенными людьми по каким-то их сокровенным представлениям о безоблачном счастье и радости...

И вот мы сидим. Мы сидим тут уже целую вечность — мы сидим тут всегда. Нарды, арбуз, попугайчики!.. Не знаю, в какой последовательности о вас поведать и какую извлечь из последовательности мысль.

Мой друг играет с хозяином в нарды, а их друзья смотрят, как они играют. Это им никогда не надоест... Я не могу сказать, что никому нет до меня дела, но, если бы и было, никто не знает, что со мной делать. От попытки понять игру в нарды я отказался, вернее, отчаялся понять, и меня остается только кормить арбузом. Как всегда — кормить... Что со мной еще делать?

Арбузами до потолка завалена соседняя комната, и у меня такое впечатление, что мы призваны все их съесть прежде, чем уйти, потому что игру в нарды нечем остановить, как отсутствием арбузов. А их еще много. Арбуз — это не плод, как все считают, и не ягода, как его объяснили в школе, арбуз — это мера времени, приблизительно полчаса. В соседней комнате гора высотой с неделю... Как бой часов с репетицией — кто-нибудь роется в этой горе и долго выбирает два арбуза, один час, потом выносит их и заряжает ими холодильник взамен съеденных.

Значит, мы играем в нарды и едим арбуз. Рассказано это по очереди, но происходит одновременно. Арбузы выбираются, остужаются, нарезаются и съедаются. То есть съедаются уже давно остывшие арбузы, так что последовательность иная: арбузы нарезаются, съедаются и остужаются. Опять не так. Расставьте сами.

В одной руке у меня доля арбуза, в другую интеллигентно сплевываю косточки, и тогда я чихаю... Я кладу лопатку на перильца так, чтобы он не перевернулся, и он переворачивается, а зерна сую в карман, чтобы достать платок... О, этот платок

с налипшими арбузными зернышками! Мне хочется плоско-плоско лечь на полу и чтобы по мне пустили петушка поклевать мою прорастающую травку...

Все-таки очень многого не знал я еще в этой жизни!

Например, такого количества попугайчиков. Вряд ли это характеризует страну Армению. Но что я могу с ними поделаться? Их было пятьдесят, не меньше. И все они галдели, и разноцветный их шум рябил в глазах, бесподобный по яркости, громкости, наглости и великой отрешенности от всего прочего мира, до которого им не было никакого дела. И все они целовались с какой-то непристойной торопливостью и деловитостью. Их разноцветные любовные треугольники и многоугольники, не обремененные моралью и не отягченные Фрейдом, создавались и распадались с такой же мгновенностью и легкостью, как в калейдоскопе: любовь их была воздушна и геометрична. Они были деятельны в любви, какая-то направленность была в их вращении: по-видимому, каждому перецеловаться со всеми, чтобы всем перецеловаться с каждым и поскорее начать все сначала, по следующему кругу. По времени, измеренному моей злостью, один их круг совпадал с одной партией в нарды. И пока расставлялись шашки для следующей игры, хозяин уходил к холодильнику, доставал остывший арбуз, вскрывал его с поразительным изяществом и проворством и раздавал зрителям ровные и красные доли, симметричные, как витринные муляжи... «Как галдят!..» — ласково улыбаясь и принимая арбуз, кивнул я в сторону попугайчиков. Я сказал это просто так, из вежливости, чтобы он не думал, что мне чего-нибудь не хватает... Но — не следует быть дипломатом! Хозяин понял меня по-своему. «А... — сказал он сокрушенно и виновато, словно извиняясь за неприличное их поведение. — Очень глупые птицы!» С этими словами он взял здоровую палку и треснул по перильцам рядом с клеткой. Удар получился звонкий, как выстрел. Хозяин улыбнулся мне сконфуженно — мол, все с этим безобразием — и отошел к нардам. «Вот и о попугайчиках не поговоришь...»

Это было, конечно, эффектно: одним движением обрезать столько натянутых в разные стороны разноцветных ниточек их голосов и столько же прозрачных ленточек их движений! Это казалось невозможным — так мгновенно, одновременно и поголовно замереть и замолчать. Попугайчики остановились во времени, не только в пространстве — так казалось. Шок, летаргия, соляной столб, сомнамбула, седьмая печать... не знаю, с чем сравнить чистоту и абсолютность их остановки. Впрочем,

и я ведь настолько не ожидал этого удара, что замер, как попугайчик.

Господи! Мир! Чем мы лучше? Не так ли и мы замрем, когда очередной ангел снимет с книги очередную печать! Не висит ли наш, покрашенный в синее, желтое и зеленое глобус где-нибудь на ниточке в твоём саду? Может, Земля — арбуз с какого-нибудь твоего райского древа? Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгадделись... Лучше не вспоминай. Люблю тебя, Господи, и надеюсь, что это взаимно, как поется в песенке...

Попугайчики все еще не опомнились. Они замерли так искренне, что, наверно, забыли, что они живые, и решили, что умерли... Милые глупые птицы! Как же им не подумать, что они совсем исчезли, если самих себя они не видят, а в движении и любви перестали себя обнаруживать? (Даже не моргают... Какое большое, размытое пятно видят они вместо нас перед собой?) Пятьдесят маленьких чучелков — только сейчас их и можно разглядеть. У них не наблюдается внутренних противоречий, но наблюдаются внешние: стройные тельца — и непонятная щекастость и толстомордость; солидность и благопристойность, даже чиновность, чичиковщина какая-то в лице — и такое легкомыслие!.. Как с такой благочинной внешностью столь открыто предаются они любви? Даже непонятно. Словно это их служба. Любовь в мундирчиках...

Но вот ожил первый — Адам, — покрутил головой: ничего, а главное — можно! позволено жить. Затем другой... И вся клетка начала медленно просыпаться с той же постепенностью, как делаются в нарды первые стандартные ходы, прежде чем определится отличие и начнется партия. А через несколько секунд Адам уже возродил новое человечество: крик, любовь, измены — содом! А партия подходит к концу, хозяин достает новый арбуз, потом берет в руки палку, заодно пользуется случаем улыбнуться гостю, то есть мне, и... Ах, не могу!

Я решительно не понимаю, кто с кем проводит время: я — с ними? они — со мной?

Нарды, арбуз, попугайчики. Час, другой, третий... Расстановка шашек, первые ходы, игра. Разрезать арбуз, раздать доли, съесть арбуз. Рождение попугайчиков, жизнь попугайчиков, смерть попугайчиков. Четвертый, пятый, шестой. Арбуз, улыбка, удар. Мысль о нардах, мысль об арбузе, мысль о попугайчиках. Время, где ты?

Я заперт, я в клетке. Каждый день меня переводят из камеры в камеру. Питание хорошее, не бьют. Сколько времени

сизу, не знаю. По-видимому, скоро придет приговор. Не знаю, увижу ли тебя, родная...

Я в клетке — на меня все смотрят. Нет, это они все смотрят на меня из клетки! А я-то как раз снаружи! Всех обманул...

Меня посадили в яму времени. Девочка с пением уже сбегает с гор, несет мне свой кувшин... Кавказский пленник. Узник находит однажды в кармане затерявшееся арбузное зернышко... Сажает. Ждет ростка. Росток — это те же часы: он распустит листья и затикает вверх, вверх.

Безвременье мое проросло наконец. И что бы я понял, что увидел, если бы не сумел тогда, в одной клетке с попугайчиками, постичь, что, кроме моего, существует и н о е, их время? Если бы тогда я не сумел отказаться от своего времени, не махнул бы на него рукой, не было бы у меня в р е м е н и в Армении, а были бы часы, сутки, килограммы, километры непрожитого, пропущенного, действительно потерянного времени, взвешенного на браслетках, будильниках и курантах.

Только потеряв свой будильник, мог я прожить в настоящем времени несколько дней на чужой земле, а если непрерывно прожить в настоящем времени хотя бы несколько дней, то вспоминать их можно годы. Настоящее время относится к тикающему, по-видимому, так же, как время в космосе при скорости, близкой к скорости света (что-то из Эйнштейна), к земному. Настоящее время мчится с субсветовой скоростью, оставляя глубоко под собою прошлое и будущее, навсегда привязанные, стыкованные, притянутые друг к другу до полной остановки.

Я хотел посвятить эту главку оговоркам. На полях моей рукописи, по краям моих славословий скопились стаи птичек, галок, нотабене. Они были черноваты и вытеснены из текста. Мне вдруг показалось, что они не помещаются, потому что я начал лгать. Потому что на самом деле все отнюдь не было так прекрасно, как я пишу. Мне казалось, что, совмещив восторги с неудовольствием, я добыюшь правды повествования.

Куцая, козья мысль! Слава Богу, другая правда, из свиты истины, вынесла меня в настоящее время, подсказала мне то, что я не знал, и утвердила себя помимо моей неуклюжей воли.

И мне не надо тяжело потеть над реализмом черных страниц.

Оговорки оговаривают прежде всего того, кто их делает.

Да, у меня насморк, несварение, ностальгия, и я в плену собственных впечатлений. Самостоятельной правды нет ни

в восторге, ни в неудовольствии. Так же не добьешься ее, играя в диалектику и примитивно прикладывая их друг к другу.

Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что, дописав ее до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а в этой вот своей книге я путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению. Страна гуингммов... И сам я новый Гулливер, лилипут, великан и сопливый йеху одновременно...

Я испугался, что забираю все более высокий и уверенный тон лишь для того, чтобы убедить хотя бы себя в том, что продолжаю следовать действительным событиям, когда я им уже не следую. Опыт подсказывал мне, что приблизительность речи может скрасться за модуляциями голоса, незнание — за интонированием, неуверенность — за апломбом... Что убедительным тоном говорят именно лжецы. О, как трудно быть объективным своими нищими силами!

Да нужно ли?

Эта книга — все-таки акт любви... Со всей неумелостью любви, со всей неточностью любви же... Кто сказал, что любовь точна?

Так пусть же все и остается, как написано.

Любовь не лжет. Лжет желание любви.

Любовь не взвешивает своих признаний на весах объективности, у нее нет ни колебаний, ни выбора между «да» и «нет», а есть граница между ними, как между верой и безверием. Это нелюбви принадлежат тяжкие усилия быть честной, справедливой и объективной, у любви нет этих затруднений. Итак:

«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично словословить».

ГЕХАРД

«Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твердо и всегда говорили все. Единодушные это было утомительно, как сговор. Что Гехард? Где Гехард? Пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. Увидишь.

Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог.

...Армянский простор, помахав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. (Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе.)

Лев стоял на красиво-высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло как бы все стремительней по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода в воронке. И, сложив крылья, вдруг с тихой легкостью очутились в ущелье.

И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения... Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора, из простора. Как храм, оно имело вход (у врат стоял лев), и лишь за вратами открывалось помещение, как вздох и смущенная тишина речи.

Зрение здесь звучало.

Из простых щек теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться еще и не сознавали, и потому страшно еще не было.

Пока мы дышали восторгом — и нами дышал восторг. Восторг пока еще легкомысленный, без часа расплаты — туристский...

Слева, как хор, поднимались скалы. Низкого, тенистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлея и утончаясь,

несколькими ступенями: вступали все новые, все более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков; вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины: с духовым серебром ручья, зеленью, кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных — валунов и глыб, — земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле — орудия труда и предмет того же труда. Все это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок, вокруг копошились точки исполнителей: паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени.

Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Ее крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штотпки на стенах, ее свежецинковые крыша и шпиль еще подчеркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто, кроме окружающей природы, у нее этого титула не мог отнять.

Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, прикнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель, не творец же...

Небо было крышей этого храма. Еще недавно, пред вратами, оно бледно голубело, вяло накрывая простор, а тут, очерченное хором скал, приобрело необыкновенную, глубокую и близкую, синеву.

— Господи! — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыку, и за спиной, как крылья, были ощутимы вскинутые руки ее дирижера и творца — вечное, единственное, первое исполнение. — Господи! — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом. — Выбрали же место!

ВОСХОЖДЕНИЕ Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего, гонимого христианства (армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке). Это место, столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого

просто и быть не может (но раз оно есть, то уже и не может не быть), было сначала создано специально для этой цели, потом ждало, безлюдное, своего часа, а потом было угадано первыми верующими...

Но место это, как оказалось, еще не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без ударения на этом слове, это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть тем Гехардом.

...Мы взбираемся вверх к древним пещерам-храмам, на первую ступень скалы, нижнюю нотную линейку. Входим. Время проваливается. Тесные, мелкие пещеры с закопченными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, немажущаяся копоть кровли — и свежесвыцарапанные имена, символы новой туристской эры, и современные цветные лоскутки (молитвы об излечении ближних), и современный воск растаявших свечей — сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нишах каменных углах.¹ Храм был создан самой природой, а пещеры — его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово — низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придешь...

Вылезает на свет, застенчиво шурясь. Рассматриваем, глаdim выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест! Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линий другого. Меняются пропорции, мягкость и округлость исчезают, тают, кресты становятся прямой и строже. Но первый крест — это цветок о восьми лепестках. Лепестки сближаются попарно — крест с расщепленными концами. И то ли крест произошел от цветка, то ли художник уподобил символ природе и жизни,

¹ Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за верность — земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «Гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие, Гехард — оплот веры. Словом «Гехард» можно объяснить многое.

раздвигая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, — неизвестно, и спросить не у кого.

Спускаемся, проходим позднейшие, такие внешние ворота высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом цинковым, как ведро. Я рассматриваю ее равнодушно и праздно, и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадем внутрь...

Но нет, мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены вросшей в скалу церкви.

— Пройдем сначала так, — мягко и настойчиво говорят мне.

— Что там?

— Сейчас увидишь.

О, эта достойная манера не предварять впечатление восторженными рассказами! Ни разу я толком не знал, куда и зачем меня ведут, и радости встреч не разменивались на предварение и представление. Пещерные молельни первых христиан тоже, оказалось, еще не были тем Гехардом.

Высокое, но короткое чувство, возникшее там, не совпало с суетной городской бодростью, прочно жившей в нас. Мы громко говорили, не глядя друг на друга. Впрочем, раздвоенность наша не была нами осознана, и мы лишь безотчетно стремились принизить высоту на миг вспыхнувшего ощущения. Наш взор развлекался деталями: росписью туриста на немыслимой высоте, продавцом фотографий генерала Андраника, кушей дощечкой «Не сорить», пасекой, такой вдруг прекрасной и естественной на земле монастыря... Два работника копошились около ульев... Чувство наше снижалось, нам становилось все легче, и, освободившись от смущения, мы стали как дети. Мы свернули с тропинки и закарабкались вверх по скале с неуместной спортивностью. Где-то мы потеряли себя, и наше одышливое, грузноватое мальчишество было несколько стыдно, по видимому, каждому из нас. Но по отдельности, не вместе.

И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же заставляет туриста выцарапывать свое имя, сорить, петь песни и фотографироваться в самых неподходящих местах — так сказать, осквернять памятники истории и природы... Высоко ведь, невыносимо высоко, до звона, стоит этот памятник по отношению к его невежественной душе! И в этой душе, такой неловкой, необученной, невнятной, рождается отзвук, и этот отзвук непонятен ему. Что, как не полное смятение чувств, может выкинуть его на столь смертельную (физически) высоту (физическую) — не только ведь девушка, стоящая внизу (не забирается же он на столбы или на стены домов в городе)? Думается, зрение истин-

ного величия и красоты глазу неподготовленному столь же раздражительно, как резкий свет или звук, и все реакции отсюда — по Павлову...

Почему громили варвары?

Кто же мы были, как не испорченные дети, в зрелом и совершенном обществе храмов и скал?..

Ну уж мы-то, писатели, могли полагать себя более подготовленными к совершенному зрению?.. Но нет. Так давно мы стараемся говорить правду миру и не говорим правды себе и друг другу. И теперь не только оттого не говорим, что скрываем, но и потому, что уже не знаем. Имен мы не писали (мы их уже выдвигали напечатанными, разве поэтому), но у нас то же самое принимало другие формы. Этот наш прозаизм, я бы даже сказал новеллизм, судорожно отыскивал детали самые заземленные и низменные.

Так, карабкаясь, увидели мы на балконе второго этажа жилого дома, расположенного напротив храма, старика священника... Он сидел за столом и смотрел в книгу. Какая-то девушка, на втором плане, подавала на стол, появлялась и исчезала. Старик сидел совершенно неподвижный и смотрел в книгу (именно смотрел, не читал: казалось, и взгляд его, издали невидимый, был неподвижен). Был он разительно красив — с орлиным профилем, высоким чистым лбом, седыми кудрями, тощий, младокожий, бледный... Ах, как бедны слова по отношению к красоте канонической, совершенной, древней! Он не был артистичен или иллюстративно красив, этот старик, — он был так же высоко, идеально, абсолютно красив, как Гехард. И неподвижен, как здешний тысячелетний камень. Он сел обедать и раскрыл книгу, но он сидел тут всегда, вечно — так казалось, на него глядя, — и даже стол перед ним с едой и питьем никак не мог заземлить его облика... Я и мой друг, мы одновременно и одинаково увидели этого старика и поняли это, поймав взгляд друг друга. «Какое лицо!» — пошло сказал я. «Да... — сказал мой друг, умный человек. — Вот я думаю, будь я так же красив, веди святую жизнь, доживи до таких волос... Может ли у меня быть такое лицо? Невозможно. Никогда». И опять это было для нас слишком высоко, чтобы уж все, даже люди тут были так прекрасны!.. И приятель друга, шедший за нами, поэт, говорят, интересный, сказал, унижаясь, с нехорошей улыбкой: «А самое смешное, если он вот с таким лицом рассматривает сейчас порнографические картинки...» — «Ужас! — сказал я со смехом. — Самое ужасное, что это вполне может быть...» Ах, пусть он читает все что угодно, но, именно раз мы можем так подумать про него, у нас никогда не будет такого лица!

И тут мы достигли неведомой мне цели. Небольшой вход, вырубленный в скале, напомнил мне входы в древние молельни, только что посещенные. Молча меня пропустили вперед, и я шагнул в темноту пещеры...

Ах, мы были шалунишки!..

ВЕРШИНА Это и был Гехард... Я стоял в центре, задрав голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда... через это отверстие. ОН и выдолбил весь храм...» — детским шепотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма еще под ногами его не было...

От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четыремя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, — там уже я стоял, на плане. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок...

Там уже я стоял, на дне... В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.

ОН... выдолбил... во-он через то отверстие, сверху вниз... весь этот храм... Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как Бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры — вот что Гехард.

Никакого крепления в храме не было.

Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень... Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и все. ОН мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова Божьего — в нем был Бог. У него не было чертежа, ОН имел в своем мозгу столь честные и чистые своды, что перенес их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие Бога.

Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов — у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть — меня не было. И я стал подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие с ебя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключен в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.

Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, в с е, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону... Разве наше разветвленное знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, — архитектура, чертежи, правила, расчеты, физика, акустика, машины — муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного...

Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.

...Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви... Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором, — то же великое подобие еще более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы

были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Все это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением.

Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то, как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо...

Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.

ПОБЕГ Мы поднялись еще выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал... Это была черная немая дыра. «Вот почему, — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, — вот почему я так редко бываю тут... Если бы не ты, то и не был бы... Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (ее не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворена, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, — веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.

То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофер, — была бы у нас бутылка, мы бы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку...»

Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когда

входишь — все отворачивается тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.

А уж тут, а уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и наконец к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.

Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохотывали, ржали, улюлюкали, гикали... Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной... Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело.

И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, веселенькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прыдали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.

Мы расстались, пожав друг другу руки.

Все очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, — всего лишь еще один день прожит, до свидания, до завтра.

СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ

«РАНЬШЕ
И ТЕПЕРЬ»

Чем естественней и глубже становилось мое пребывание в Армении, тем расплывчатей и удаленней была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспособливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта еще жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную темную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплывало, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.

Срок командировки истекал так же неумолимо, как еще в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.

«Раньше и теперь» — таково было мое задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.

Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошел-то я в него более или менее с легкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.

Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я все еще не прочел.

Во-вторых, «теперь». Оно требовало безусловно восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию. Ну прямо как в школе — все, кроме уроков... Я бы покрасил забор Тому Соьеру.

Школярские, предэкзаменационные мысли...

Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже

восторг отношения к ним был учтен архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли их не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.

И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружен, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своем лице. Но что-то случилось за эти годы — а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени...

Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна — естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежесекундно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется... По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить ее по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днем все растет и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с ее личным прошлым, как, например, моя... и сравнение становится все более умоглядным и далеким.

Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока все не умчалось в далекое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведенное тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле все живое — современно. И то, что они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера еще не было. Мир населен не одними новорожденными...

Так что, о чем бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но еще не ушедшее.

Только теперь, думал я, только теперь...

И ничего не мог видеть после Гехарда.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ...И следующее утро наступило, укоротив мою командировку еще на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радвался еще вчера, тоже уже не мог.

В это утро у меня было назначено свидание с одним крупным деятелем города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства — по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.

Все более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.

Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.

Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город мне нравится все больше и больше — просто я заостенел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с еще длинными тенями, он был тих и скромн, и розоватость ему шла.

«Ереван следует смотреть рано-рано утром...» — так я начну очерк. «Да, именно так я его начну», — бодро сказал себе я, перешагивая порог большого учреждения.

Без трех минут одиннадцать, довольный своей точностью, я представился секретарше: Она скрылась в кабинете и тут же объявилась: меня просили чуть обождать.

Все пока не расходилось с эскизом, уже возникшим во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нем дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалой постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уж добродушная, но — до конца мне не понятная. «Да, да! — говорили все. — Исключительный! Порядочный! Знающий-понимающий!» Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяс-

нялось боязнию или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно, порядочный и знающий человек на своем месте — явление, достойное всяческого одобрения... Но... тут возникала полуулыбка. Нет, никто не говорил «но», это я говорю «но», на месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней все и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть свое сходство с Н., вот увидишь». Это мне мало что говорило, поскольку о внешности Н., замечательного армянского поэта, я имел еще более отдаленное представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актер!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности: так, просто — актер, и все...

«Спросите его, сколько лет он не был в отпуску», — посоветовал кто-то, совсем уж загадочно.

И что-то проступало в моем воображении, неотчетливое в чертах, но определенное в характере, и мне уже не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока все совпадало: и маленькая, опрятная, демократичная приемная, наводившая на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботятся о солидности своего обрамления, а даже из тех, у кого руки до себя не доходят; и секретарша, не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз; не высокомерная и не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет ее и есть она... Все пока было так, как костюм от аристократического портного: и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего.

Тут из кабинета вышел некий ходок — старец-горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него — представитель народа, простой человек... Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно одиннадцать, секунда в секунду.

Он сидел в дали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собою дверь, мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил: точным кивком, не суровым и не нарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами... И это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло — самое вопиющее отличие его кабинета... В нем не было ни буквы «Т», ни буквы «П». То есть никакого такого стола для

заседаний. Ни графина, ни стакана. И телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но картины над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого все вынесли. Но — как бы сказать поточнее — это не был и кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, чего сейчас в нем не было. Опять же не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы «Т» или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывшую картину. Во всяком случае, таково было мое впечатление, что сидит он под не висящей над ним картиной и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы «Т».

Я подошел к его столу (это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего океанского стола, и на столе ничего не было) ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливо разговор, так же как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, — он просто успел его вполне закончить к этому моменту. И он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, и не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор... Нет, он попросился с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но — как бы сказать поточнее, — он все-таки именно успел все это проделать, и удовлетворение от этого при всей сдержанности таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой.

Такой это был человек.

Мы еще раз покачались в равновесии, теперь уже вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия. И рука, и ее пожатие были безупречны: ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, — и в чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов — и я опустился в кресло.

Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длина, едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы еще раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого

и постановил оставаться в этом понимании и упрочаться в нем... Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы оба беремся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чем и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать (именно в этой последовательности, то есть ответ обуславливает вопрос). И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения и на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане.

И если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня кое-какое «второе» впечатление.

Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелеными глазами, очень шедшими к его неправильному матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с легкой досадой, что это встряхивание тоже очень ему шло. И тогда легким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутинку. Этот жест... я его уже видел.

С внезапной убежденностью и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь уже я имел более отчетливое представление, хотя бы внешнее. Именно так: не о моем градостроителе (он как раз стал внешне менее отчетлив в этот момент), а о поэте... Это меня поразило, что похожесть столь самостоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства. Но это — в сторону.

Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий в то же время без вульгарности цветущего здоровья и молоджавости: он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щек, причем идеальна в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода, так же как и щеки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке.

Он предоставил мне начинать, и, пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем, исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человек.

Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внутренне поддержать себя, все-таки действительно мычал и плавал и чувствовал себя все более неуютно под его внимательным и умным взглядом.

— Вы знаете, — из меня потекли жидкие слова. — Я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле... — «Более того, идиот, — подумал я за него, — в прямом смысле». — Начнем с того, — сказал я, — что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством... Что, — говорил я, — вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да и вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами; что все мы, простые люди, видим изнутри наружу — из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частен и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи внутрь, то есть, — пояснил я, — не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы... — Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно все понял с полуслова и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел мое пустое многословие, он вступил в игру.

Безупречность была его единственной слабостью.

— Архитектура как средство воспитания человека, говорит вы? — «Когда я это говорил?» — забуксовало у меня в мозгу. — Да, это так. Человек — безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра — вот что должно прежде всего заботить нас, пока все находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах — об этом мы привыкли думать, а что будет через пятьдесят лет?! — Голос его зазвенел. — Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Мы все говорим, что строим во имя будущего... Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире... Погрязая в мыслях о производстве, экономии и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне...

Поразительно было это «мы»!

Говорил — будто сам строил...

Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли

во мне в непосредственной связи с моим заданием, которые я уже представлял себе в набранном виде в форме «размышлений писателя», и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по-видимому, ограничиться его точностью, — для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в легкой панике, на секунду перестал слушать, что же он говорит; обнаружив это, растерялся еще больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру 50, которую мне потом еще долго пришлось разгадывать, о чем она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается еще и тем, что, списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость, чем получить честную и прямую, как единица, двойку, — так и я даже прикрыл от него ладонью, что же такое пометил я в своей книжечке.

От него все это не ускользнуло, но и он не ускользнул.

То ли записанное пером не вырубил топором, но существует у нормального, здорового человека некое остолбенение и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. Оттого, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хотя бы в первую секунду да повеет подвальным, дежурным холодком... Если и не так, то сработает рефлекс повышения ответственности — и ты споткнешься, запутавшись в согласовании и падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лед.

Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и, поскольку он позволял себе не много безотчетных движений, взгляд этот брякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету, и продолжал как ни в чем не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало. Потому что не передать даже в чем, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я все решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись, окончательно не слышал, что же он говорит, но все-таки вертел в руках карандаш... Мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку подергивал.

Я все лучше чувствовал его, но все хуже — себя и все меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого черта морочу я голову этому серьезному человеку, у которого без меня полно настоящих дел... Действительно, если бы я еще строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал. А то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю...

— Среда — средство воспитания... — говорил он и невольно делал паузу, чтоб я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение, — ...сохранить национальные традиции и творить сегодняшним днем! — Все-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчетливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленна и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же как и удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация.

И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному отложил карандаш в сторону, настолько поглощенный...

И это не замедлило сказаться.

Он дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мысли иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени...

Он легко, без одышки взбирался по ступеням слов на самую кручу, мы одновременно оглядывались вниз с легким головокружением и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягченного взгляда, и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь.

Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовольствие от ладно скроенной фразы, входящий в речь с мужеством пловца и спелеолога... И вот — выбрался из периода! В конце фразы — слабый свет, как выход из пещеры.

Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах «который», «что» и «как» выход из нее, не мочил сандалий в лужице вводных слов — он работал на открытом воздухе...

— Масштабы еще лет пять назад показались бы мифом. Через день вступает в строй пятидесятиквартирный жилой дом!.. Но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе и идею и назначение... Мы уже научились обращать внимание на внешний вид здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения... Задача сейчас — ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом!

«Разрыв между комнатой и фасадом» — неожиданно я снова раскрыл книжечку и занес туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесенное, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную на первый взгляд фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между ее смыслом и посторонней отчетливостью ее формы... Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда: мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно ее стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и, как человек, оббегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он и направляется. Мой карандаш оплодотворил эту фразу, она превратилась в завязь, и вот уже созрел, набухая, плод. Мое внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила...

— Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днем работал лучше и лучше, — говорил он со все большим подъемом, как бы плотнее и устойчивей устраиваясь на окончательно выбранной площадке, — и нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с нее... Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом... И никто еще не поставил вопрос так: а город должен человеку?! — Он несильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть выше того уровня, на котором она прозвучала: там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. — Человек идет на работу... Какое настроение возникает в нем от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или, наоборот, настроение его подымается от окружающей красоты и он приступит к работе с духовным подъемом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу? Чтобы его проход был как бы оркестрован и город в движении был бы точен и продуман, как музыка?... Мелодия улицы... — На секунду он смолк, как бы прислушиваясь. — Этот эксперимент...

Рука дернулась и, несмотря на мое недовольство, вывела это слово — «эксперимент». На лице моего собеседника появилось чистое выражение страсти, струны его лица натянулись и зазвенели, не исказив в то же время приятной и спокойной его матовости.

Тут зазвонил телефон.

Во всяком случае, где-то рядом со словом «эксперимент» в моей книжечке отчеркнут квадратик, и в нем написано: «тел. разг.». Слушал он, не перебивая абонента и несколько хмурясь. Потом неким взрывом изнутри лицо его разгладилось и снова стало решительным и ясным...

— Я сразу сказал, что это непрофессиональный эскиз. Потом узнал (лицо его остыло от твердой улыбки), и действительно, он даже не практик — просто дилетант. (Ему что-то сказали на том конце.) Да, мне сам метод не нравится, — ответил он, все еще сохраняя твердую улыбку. — Нет, нет. Тут требуется творческий анализ. Главное — не спешить...

Я был совершенно очарован словами «непрофессиональный эскиз», «метод» и «анализ», исходящими из его уст. Дело ведь еще и в том, что это были отнюдь не специально употребленные слова — они были сказаны в естественном и непредусмотренном разговоре. А следить за содержанием разговора и поддерживать его так, чтобы еще и произносить что-либо специально для третьего, случайно слушающего, — такая тройная, три раза переплетенная в самой себе задача не под силу, подумал я, никому, тем более такому милому человеку...

Повесив трубку, он опять — чудо-человек! — не произвел ничего лишнего: ни бессмысленных извинений, что прервалась беседа, ни пояснений, в чем там, на проводе было дело, ни «на чем мы остановились?» — ничего подобного. Он взглянул на меня коротко и ясно, будто бы не прервал свою речь на полуслове, и взгляд этот выражал, что все, что в целом он высказался по данному вопросу, в подробности же входить нет возможности, а дальше спрашивайте, что вас еще интересует, работайте, ведь зачем-то вас сюда прислали... И время идет, дорогой товарищ.

Мне уже многое стало ясно: сфера восхищения и сфера сомнения проявлялись во мне, все более отдельные друг от друга, и как бы раздвигались... Восхищение, как эмоция, занимало настоящее время, сомнение, как нечто рассудочное и даже нехорошее, требовало раздумий и существовало более в будущем. Те несколько фраз и словечек, о которые я споткнулся, никак не успелось осмыслить, и меня скорее раздражала просто

заминка, разрушение этой гармонии и подозрение в собственной подозрительности. Мне было мучительно неловко моей досужести и праздности перед этим человеком дела. Во всяком случае, я решительно не знал, о чем мне с ним еще говорить, и был озабочен тем, чтобы задать хоть сколько-нибудь неглупый вопрос и остаться более или менее на заданном собеседником уровне. Я несколько замялся и растерялся, вдруг меня озарило одно туманное соображение, и я радостно пустился излагать его.

— Вам я могу сказать откровенно, — покраснев, сказал я, — сначала Ереван мне не очень понравился, и я, конечно, никому не мог признаться в этом. Лишь немного узнав страну, в которой он находится, я стал свыкаться с ним. Парадокс Еревана, — сказав слово «парадокс», я сделал реверанс словам «оркестрован» и «эксперимент», — заключается в том: вот вы отмечаете 2750 лет со дня его основания, а никакого исторического лица город не имеет... Индивидуальность города складывается веками, города, возникающие в наше время, и не могут иметь лица, а лишь более или менее соответствовать деловым и эстетическим требованиям... — Мой собеседник закивал, и, поощренный, я тут же потерял нить. — Боюсь, что моя мысль может показаться досужей кому-либо, но, исходя из всей предыдущей нашей беседы, думаю, что вы поймете меня правильно... — Это был запрещенный прием, и, выходит, я совсем зажмурился, раз выговаривал такое, но пока только сам себе я казался лихим, моего собеседника этот мой заход лишь насторожил: лыком он шит, разумеется, не был. — Именно потому, — говорил я, — что все постройки Еревана прежнего времени непримечательны в архитектурном отношении, и мог возникнуть план генеральной реконструкции и перестройки города, включая и центральные районы. Вы хотите видеть свой город прекрасным, придать ему индивидуальный, неповторимый облик... — Лицо моего слушателя смягчилось, он все более готов был согласиться со мной. И хотя банк держал я, а он лишь брал предложенную карту, причем видел, что я передергиваю, давая ему к десятке туза, — он карту брал. — Но, — говорил я, — как бы ни был профессионален и даже гениален план, какими бы прекрасными идеями ни руководствовались его создатели, вы это новое и неповторимое лицо города хотите создать в определенный срок, вы не можете ввести в свой план тысячелетнюю историю, вы сотворите город неизбежно в нашем времени, и это пока нами неуловимая печать будет замечена уже последующими поколениями. То есть древний город Ереван будет новым городом, построенным единовременно, и эта однотон-

ность времени, не кажется ли вам, может не вполне устроить те последующие поколения, о которых в Ереване, в отличие от многих других городов, не забывают?.. Я что-то не припомню городов, которые сумели бы приобрести индивидуальные и живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени, ведь времени у вас нет, а планы ваши столь принципиальны? Из известных мне примеров только Петру удалось придать лицо городу по плану и за короткое время...

При имени Петра глаза его коротко и глубоко блеснули, этот взгляд был тут же скрыт вовремя пришедшимся усталым его жестом, как театральным занавесом, но либо я обрел уже опыт в общении с ним, либо настолько уверовал в свое «видение», что только «свое» и видел, независимо от того, было ли это «свое» на самом деле или его на самом деле не было, — но блеск этот не ускользнул от меня.

— Да, — сказал он, и лицо его побледнело и загорелось, но не в вульгарном смысле этого слова, а как лампа дневного света, что ли. — Да, вы совершенно правы... Вы справедливо вспомнили Петра... Он сумел придать городу с самого начала неповторимый облик. Мы у себя в строительстве решили много проблем, но до сих пор не решили характера города. Ленинград, Таллин — вот города, при одном имени которых сразу возникает образ. Мы хотим добиться того же у себя в Ереване. — Похоже, он пропустил мое соображение о времени и строительстве, зато почему-то, где я не ждал, задержал свое внимание на Петре... Я схватился за карандаш, и то ли речь его вдохновенно рвалась, то ли я записывал лихорадочно и неосмысленно, но дальше у меня следуют очень бессвязные заметки, и я уже давно ломаю над ними голову... — Чтобы город имел и воспитательное значение... Плакаты, шиты — все это так формально, безвкусно и, как правило, унижает саму идею... Иногда просто кричать хочется: «Зачем вы коптите духовный мир человека?!» (у меня записано, «дух. мир», и я все расшифровывал это не как «духовный мир», а как «дух мирного человека») и долго недопонимал фразу). Это, конечно, эксперимент, то, что мы задумали... Кольцевой бульвар, решенный в различных национальных архитектурных стилях, будет символизировать дружбу народов. Или улица ***, решенная так же экспериментально... Вы там не были? Вот вы пройдите и обратите внимание хотя бы на то, что там совсем нет мемориальных досок. Так формально, так при-

елось — все эти доски... А там вдруг стоит работа одного нашего талантливом молодого скульптора, нет, не бюст, а символ, решенный в приподнятом, высоком ключе... Не как справка из домохозяйства, приклеенная на стенку, как на доску объявлений, — «здесь жил такой-то» или «здесь жили люди»... Нет! «Здесь что-то божественное!» — должно прийти в голову прохожему... Такие памятники внушат уважение, будут невольно влиять на мысль прохожего и незаметно служить ему высоким примером того, чего может достичь человек... Скажем, идет отец с сыном, взял его из детсада после работы — и вдруг эта скульптура... Отец, усталый и озабоченный, не смотрит по сторонам, сынишка же обращает внимание: что-то непонятное... «Что это, папа?» — спрашивает он. И папа вынужден объяснить, а если не знает, сам подойти и прочесть: здесь жил и творил такой-то... «А что он сделал? Почему ему такая тут стоит штука?» И вот уже отец с сыном ведут беседу...

Далее я что-то совсем пропустил, восхищенный: мелькали цифры, масштабы, небоскребы... Миллион квадратных метров разрушить — полмиллиона построить... Или наоборот. Вдруг я понял, что он молчит.

Я как бы дописал последнюю фразу и поднял глаза.

Не знаю, взглянул ли он на часы, я не видел... Но, секунду поколебавшись, он решил еще на что-то, выбежал в соседнюю комнату и вынес оттуда трубу...

И вот мы склонились над развернутыми чертежами, слегка касаясь друг друга плечами, — там была иллюстрация к роману Ефремова, но это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником над водой, рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить в это было бы трудно, если бы бассейн не был намечен к вводу в будущем году...

Тут я могу точно поручиться, что он не взглянул на часы. Но, замерев на секунду, как бы прислушавшись к тиканью, он так же стремительно исчез в соседней комнате. Из своего кресла я не мог ее разглядеть, но она показалась мне маленькой и значительно более наполненной, чем та, в которой мы находились. Я даже подумал, что там-то все и свалено, что когда-то было в нашей комнате... Наконец он выскочил, прижимая к животу несколько цилиндрических шашек. Никаких ассоциаций, кроме внезапного взрыва и соображений о том, не запачкал ли он рубаху, они во мне не вызвали.

— Вот, — он уронил их на стол, — цветной асфальт! Экспериментальные образцы. — Действительно, шашки различались по цвету. — Какой скучный, утомительный цвет у нас

под ногами! А теперь... Не говоря об уменьшении аварийности... Шофер теперь не уснет за рулем!

Тут в нем истекло время. И как раз так, что он все успел. Мы глубоко сердечно и без тени фамильярности пожали друг другу руки.

Прикрыв за собою дверь, я взглянул на часы. Было ровно двенадцать.

**ДЫХАНИЕ
НА КАМНЕ**

В приподнятом настроении, с чувством легко выполненного долга выскочил я из тенистого сквера на свет. За этот час ласковое тепло стало жарой, и раскаленный воздух сгустился и застыл посреди улицы.

Я смотрел на улицы новыми глазами. Это мне следовало уже делать, чтобы подтвердить зрительными впечатлениями материал, тезисы которого мне были только что изложены. Но, по-видимому, стало слишком жарко: так, чтобы очень по-новому, я не видел.

Тогда я решил припомнить, какие же положения необходимо мне подтвердить зрительными впечатлениями, и с ужасом осознал, что, кроме нескольких телодвижений интервьюируемого, ничего не помню. Схватился за книжицу — там было записано до обидного мало и непонятно.

Наткнувшись в записках на название экспериментальной улицы, я решил отыскать ее. К счастью, она была неподалеку. Ту свежесть и бодрость, которую одним своим видом внушал мой недавний собеседник, как рукой сняло. «Был ли он? Не придумал ли я все это?» — уже думал я, расплавляясь от жары.

Я шел по улице, прислушиваясь к себе, в ожидании того момента, когда во мне возникнут те высокие мысли и тот светлый строй, то хотя бы бодрое настроение, которое, по замыслу, весь этот комплекс неизбежно должен был во мне вызывать.

Все здесь было выстроено разнообразно, своеобразно и со вкусом, ничто напрасно не торчало — все было учтено по отношению к соседствующим строениям... Горизонталь сочеталась с вертикалью, а открытое пространство с замкнутым. Ничто не препятствовало взгляду: ему было спокойно, и он ни на чем не задерживался. С удивлением я обнаружил, что уже давно иду по этой улице и она вот-вот кончится, что было обозначено неким безобразным строением, некстати торчавшим на углу. Именно его я давно уже видел. Я прошел эту улицу,

напрасно прислушиваясь к себе: никакой мысли, хоть какой-нибудь, во мне не возникло. То ли жарко, то ли вообще нельзя «нарочно» ждать мысль... Вот кафе, насквозь все прозрачное, и такой же универмаг, и даже если бы в кафе действовала кофеварочная машина, а универмаг был завален джинсами и к тому же и универмаг и кафе не были бы закрыты на обед, все равно все осталось бы таким же, готовым, пустым и ждущим. Цветочный магазин в форме вазы, к которому необходимо игриво пропрыгать по там и сям расположенным плиткам... Этой штуковины о великом человеке, жившем на этой улице, этого мемориала, который так и бросается в глаза, я так и не увидел, как ни смотрел. Приятные расцветки, приятные сочетания плоскостей... Вдруг на какой-то из плоскостей пузырьки золотые восходят вверх, как из стакана или будто внизу дышит большой карп... «Вот такая же и мысль, — подумал я, — возникла во мне, как эти пузырьки. И единственная...»

Что же это? Зачем же это строители за меня думают, что я думать должен и как? Они что — для меня думают или за меня думают? Вот в чем вопрос. Обо мне или мною? Чтобы мне было удобно и хорошо или им в их представлении обо мне? Ведь без очень многих услуг я могу и обойтись, такой уж суровой надобности, чтобы за меня думали, любили, ели и спали, у меня пока не возникло. С этим я по мере сил пока и сам справлюсь. Мне необходимо место для того, чтобы за меня ничего этого не надо было делать — ни думать, ни любить... Место, где бы я это делал сам.

Такая обидная мысль вдруг пришла мне в голову, и я чуть не с радостью смотрел на еще не снесенное безобразие, эпихально торчавшее в конце улицы.

У меня была назначена встреча с одной издательницей, не деловая — просто еще что-то я не успел осмотреть: парк, фонтан и картинную галерею... Без этого я не имел права уезжать, и мы встретились. И то ли я был действительно раздосадован, то ли, в течение десяти дней встречаясь исключительно с друзьями друга, соскучился по женскому обществу и теперь пользовался редким в Ереване случаем быть спутником интересной женщины, не доводящейся никому родственницей, — но с излишней страстностью начал я излагать ей свои архитектурные переживания и расцветал с каждой фразой, такой горячий и искренний человек...

— Понимаете, он совершенно не услышал моего вопроса... Только про Петра и услышал. А ведь и про Петра я в другом смысле говорил, возможно, и не в самом лестном... Понимаете,

я перед отъездом, к стыду своему, в первый раз — ведь я коренной: и дед, и отец, и прадед были петербуржцы — посетил домик Петра. Я случайно на него набрел — надо же, тридцать лет не подозревал о его существовании: думал, что домик Петра и Летний дворец — одно и то же!.. Ну да не в этом дело. Это самая ранняя из сохранившихся построек Петербурга. Я был поражен и потрясен. Именно не музейностью, а живостью и цельностью ощущения, что здесь жил человек и именно этот человек, Петр... Домик-то ведь не дворец, нищенский, по сути, домик. «Приют убогого чухонца...» И архитектурной ценности, кроме редкости, на наш день никакой, а вот... Каждый предмет — а там скромно, очень скромно! — говорит не о самом себе, а о хозяине. Вы понимаете, что я имею ввиду? Впрочем, я ничего не ожидал от этого домика — это очень важно!.. И от Гехарда я тоже ничего не ждал. Я получил от них все сразу, все, что в них было... А тут я хожу по Еревану и все чего-то жду... Так вот о домике... Выхожу я из него потрясенный на Неву и потрясаюсь вновь... То есть, выйдя из этой крошечной и темной петровской будки, я вижу Неву, и Петропавловскую крепость, и Летний сад, и вся эта чрезмерная красота вдруг поражает с новой, непривычной силой. Я пытаюсь понять, в чем дело, что дало мне силы и заставило меня увидеть эту тыщу раз виденную и невидимую уже красоту, — и вдруг опять же понимаю: Петр! То есть я как-то изнутри прикоснулся к его идее, и для меня все осветилось новым светом. Не только в словах и мыслях: идея существует физически! — вот что со всей очевидностью вдруг дошло до меня. Не так уж много успел построить Петр при жизни, вряд ли даже столько, чтобы это составило лицо города... Гораздо больше он построил после смерти. А ведь исторически петровские идеи довольно быстро сошли в его преемниках на нет. И только идея Петербурга, его образ были настолько сильны, что долго чужая мысль невольно попадала в русло, намеченное Петром, и просто другой мысли не возникало.

И строители продолжали дело Петра, и никто даже не подозревал, что в лесах совершенно других, даже противоположных идей постоянно возводится здание полузабытой идеи. И когда мощь инерции петровской идеи окончательно иссякла, то уже стоял Петербург и своей формой, цельностью и единственностью диктовал законы продолжения. В России не много идей воплотилось в такой последовательности и конкретности, как Петербург, как Советская власть. Общность, конечно, чисто внешняя, потому что истоки этих идей противоположны, но об-

щность есть. Даже, возможно, только Петербург и мог стать ее колыбелью. (В этом городе, в этой окаменевшей идее неизбежно и направленно, как его проспекты, только и могла воплотиться идея прямо понятых порядка и гармонии.) И вот Петербург, самый нерусский город, торжество петровской идеи, стоит до сих пор и в нашем, в наиновейшем времени, стоит с прежним застывшим лицом, и новые районы отслаиваются от него, как нефть от воды. И это чудо, чудо не в чудесном, а в феноменальном смысле, ибо еще можно представить, как возникла идея в сильной голове Петра, но то, что она осуществлена, вызывает почти головокружение своей невозможностью... Как кентавр или грифон — и вот, на тебе, скачет и летает! И будет стоять, потому что Петербург нельзя изменить постепенно, его можно только разрушить, разрушить вместе с идеей, его создавшей, и они исчезнут лишь вдвоем, город и идея. Другие прекрасные города России росли постепенно и непродуманно, строились веками самой жизнью, и их вдруг полувывишаяся неповторимая и неуловимая гармония и прелесть беззащитны перед любой конструктивной идеей. Так исчезает Москва. Как одна вырубленная сосна не означает гибели леса, и другая, и третья... И вдруг лес вырублен. Арбатская просека... И тот человек, который еще помнит, как в детстве он нашел тут белый гриб, скоро помрет... К чему это я? В последнее время слово «строительство» звучит все более приподнято и гордо. Между тем это профессия, дело. Строителем не должна овладевать гордыня. Он строит что-то и для кого-то. Пока строитель возводит жилище и храм, храм и жилище — он строит для себя и он вне времени. Но как только он начинает строить для другого: дворец — царю, особняк — вельможе, барак — рабу, — он принадлежит уже только своему времени. И как бы он ни был гениален, он будет обведен чертой времени и ничего не построит во в р е м е н а х. Во временах строит уже только само время. И именно время, сохраняя одно, сохраняя другое и возводя третье, придает городу то неповторимое и прекрасное лицо, уподобляя дело суетных и временных рук человеческих природе и самой жизни, — и город становится подобен роше, в нем так же естественны дни и ночи и времена года... А если мы строим город в течение нескольких лет (а строить так нам приходится и придется), то надо хотя бы отдавать себе отчет, что нам не по возможностям работа веков, и не обольщаться в этом смысле... Ибо, исходя даже из самой прекрасной идеи, но одной, не навяжем ли мы ее последующим поколениям, уже нежеланную и неустраивающую? Не для будущего надо строить, а для настоящего, с глубокой любовью к нему.

А помещать без спросу безответного будущего человека в наши схемы по крайней мере самонадеянно. И ему гораздо будет дороже увидеть то, как мы жили, чем разглядывать в остывшем виде наши наивные представления о том, как будет жить он когда-нибудь и без нас... Получающееся по отношению к жизни всегда больше получившегося по отношению к идее. Даже в самом удивительном случае (вернемся к Петру) насильное существование в чужой идее, даже гармонично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска — мало ли существует литературных примеров, да и личного опыта достаточно... Петербург, как музыка, Петербург — симфония... Не так ли негодовал Толстой, слушая Крейцерову сонату, на ее создателя, давно почившего и истлевшего и тем не менее каждый раз помещающего чужого и удаленного во времени от него человека в мир своих страстей и чувств, не поясненных никаким конкретным опытом слушателя? Не так ли задохнется иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кривой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймет, что с ним творится? Кстати, и «Медный всадник» Пушкина — не такой уж это гимн Петру и Петербургу, как нас приучили в школе. Иначе зачем такая резкая граница между вступлением и историей бедного Евгения? Эта граница, этот контраст и есть идея поэмы. И трудно сказать, что значительнее: восхищение ли гения красотой и мощью града или сочувствие мечущемуся по этой красе Евгению?...

Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце мое забилося. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку...

— Пойдем, — сказала она.

Я наконец попал на старую ереванскую улицу. Старая не то слово: ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет сто. Двух- и трехэтажные дома стояли вплотную, с оплывшими, кругловатыми линиями оконных проемов, и смотрели подслеповато, как близорукий без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверно, это была прежде и не из бедных улиц — так, может быть, выглядели улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоминали старинные холодильники, когда еще электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезенный разносчиком лед... Глубоко посаженные и небольшие окна подсказывали тень в комнатах и послеобеденный сон. Стены

выглядели пухлыми. Они казались нарисованными рукой ребенка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика... Прохожих не было.

— Смотри!

Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды: человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда выпрямившись. Но не так казалось. Еще и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания... Как в шелку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, — твой ужасный глаз.

Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной, оптической четкостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещен, но, казалось, не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые и узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце... Дальше трое ребят играли в забытую мною игру — крашенные бабки валялись на земле... Еще подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решетки, кто-то спит на топчане... Дерево высунулось из-за угла справа, нависает... В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли... Черная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает...

Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину: одно дерево сломалось, а тот куст как разросся! Все умерли... Неужели это Маша такая большая, ведь я ее на руках носил! А эту бочку я помню — неужели до сих пор целая... Припадаешь к земле. Ты все еще жив, старый хрен!..

Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца... Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был все-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало.

Ни один двор не повторял другого, но ни один и не отличался, казалось. Ни один не был красивее или интереснее другого — каждый был совершенен. Как, каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени

в гармонию и художественное единство — ни проследить, ни предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама, по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы...

Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо... Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно! Насколько серьезнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамленный, чем мир на улице, на дороге, в поле... В раме — это уже понятие, мысль о мире.

Так выглядел каждый двор в раме черного проема ворот. Вот уж — «здесь жили люди»! И никакой абстрактной штуковины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели... Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий лишний в доме стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник... Двор рос, как дерево — отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, — а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но — дерево! В кроне чирикают дети, подпирают ствол влюбленные, и бабка черная, согнувшись, возится у корней — растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо...

И смысл жизни до тебя и после тебя наконец ясен.

От каждого проема не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий — пока идешь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо... но и следующий, когда заглянешь, — как вздох, вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможность и твоего счастья...

Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания. в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или все отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..

Мы ценим человеческий труд, и мы его еще мало ценим. Но ценим ли мы то, что еще драгоценней: то, что есть, что

получилось без нас, без нашего участия, — великую гармонию и искусство природы и времени? Доски, конечно, дороже несрубленной сосны. Но — в денежном выражении! Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью... Самое гениальное творение рук человеческих однозначно и частно в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый у абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сделали привал... И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку... Ни один художник не сможет одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке; не сумеет поставить где надо одинокую корову или лошадь, стог или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на колья покосившегося плетня. Даже покосить как надо плетень он не сможет! Он может лишь подглядеть.

Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно. И мы должны помнить, что, если мы вырвем все листы, нам не по чему будет учиться.

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала?
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

На этой глиняной улочке, нагнув шею, заглянув во дворик, я увидел наконец такой Ереван. Поэт не мог быть неточен...

Что остается в предметах от человека? Только ли форма, им приданная, или — тепло рук, прикосновение взглядов, вмятины от слов?... Тут все говорило языком жизни — бывшей и будущей, — вечной жизни... Я решался — я входил во дворик, и из всех дверей выбегал любящий меня народ — прадеды и прабабки, правнуки и правнучки... Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь, и кивая, и жалея меня, пока я шел мимо них и плакал от скорби и счастья...

У СТАРЦА

ВИЗИТ Это самый знаменитый человек Армении. Хотя «знаменитый» и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он — пока, а этот — уже всегда. Великий сын Армении.

Это-то меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему. Так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока отрицательный. То есть не то чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу в моем мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собою в их присутствии, глупел, а это неприятно.

Так и вышло, что визит этот откладывался произвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели.

Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел — «кирпич». Даже прохожих не было. Мне померещилось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живет. Мне это поначалу показалось странным.

Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живет, как-то и говорить нелепо: всякий знает. Во-вторых, о нем вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить. Факт. Живет. Всегда жил. Тридцать, пятьдесят, семьдесят лет... Отошли сплетни, пересуды, сенсации — девяносто лет. Что тут говорить? Он — есть. Был всегда. Без него немыслимо.

Мы свернули на эту тихую улочку... И как я ни был предубежден к великим людям, калитку уже отворял с трепетом, и ее тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем. Где-то внутри жила некая ясная, прозрачная дрожь, и я готов был впитывать, как промокашка.

Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеиные кольца садового шланга, свернувшегося

во дворике. Слева стоял маленький миленький домик, справа возвышалось большое свеженькое здание-модерн: стекло и тот же розовый туф.

Я услышал восклицания и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли? Явный признак того отупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца еще и не было.

Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках, наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука.

Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть», — заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть сам. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку, представленный. «Папа! — закричал он через плечо. — Папа!.. ОН в саду, — скромно сказал наш новый знакомый, — пройдите пока в мастерскую...»

И мы прошли в розовый дом тем тихим, интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу и, таким образом, то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперед, отстает и т. д. При этом еще что-то все время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, пояснял на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной (разве на какую-нибудь секунду, ее неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собою). В эту-то секунду мой первый провожатый пояснял мне его пояснения шепотом. И я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно, уже было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим, между ними, одновременно умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно.

Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и еще одну комнату, очень темную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая красавицы, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака... а мы уже шествовали по новой лестнице. И наконец вошли в фешенебельную мастерскую.

Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. «Папа, папа!» —

выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. Куда-то папа пропал...

Тут он начал показывать нам папины холсты, извиняясь, что не может нам показать их как следует: они только что сюда переехали... Он выдергивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав ее, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал ее нам. Каждый раз он сомневался — и каждый раз показывал... И лишь одну не показал — так и приставил к стенке, наружу подписью «Весна» и веревочкой (за что вешать).

Как всегда, я не знал, нравится мне все это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объем мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине, восхищения, отчасти мною придуманного, и искреннего удивления перед его трудом: столько фруктов, столько гор, столько лиц! Неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования... И ни разу не захотелось ему, чтобы эта груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два «у» или два «ш», треугольником, шаром... Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения в этом длинном-длинном времени каждого дня нашей мгновенной жизни; такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц (от множественности, от длины ряда внезапно начинала проступать их общая природа, еще и совпадающая с природой творца), — такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовешь... а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным.

«Папа, папа!» — еще раз, приустав показывать, позвал сын с балкона.

Папы все не было.

Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелек — вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея еще при жизни старика тоже были вполне понятны: посетителей, вроде меня, тысячи, и это, конечно, тяжело — он был уже

очень стар. Велик. Дни его исполнялись как бы все большей ценою и ценностью и требовали хозяйственного к себе отношения — все понятно. Даже трогательно. Но вот что: были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблен, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили, а он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали — а что у старика оставалось? — его дни: они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни: изолирован заботой и освобожден от выбора. Когда-то ему принадлежало время и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава и не хватало времени...

Любовь старику возвращается как младенчество — солнышко, тишина.

Он частенько пропадал, как-то славно сбегал из дому, с живым, теплым торжеством. «Папа, папа!» — но его уже не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его побегами было, по-видимому, тем пробуждением живой жизни, которая была еще необходима старику как правда и на которую он еще был способен, как был способен нарисовать еще несколько килограммов груш.

Это сбегание, не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать — жить. И почему наш старец не сбегал много раньше? Ведь давненько его гению было все на этот счет ясно...

...Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими не uznанный, наконец равный, свободный, неодинокий... Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но ее всегда находили.

Тут не над кем смеяться — ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего. И осуждать нечего.

Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось.

И вот мы спустились, как поднялись. В темной комнате не было женщин — они слепили уже свои памятники пельменям. Огромный пес с лапами, помазанными зеленкой, проклацал когтями по паркету и обнюхал нас нехотя на пороге светлой прихожей.

«Папа, где ты пропадал?» — услышал я.

Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету, без очков. «Все зубы целы...» — подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая.

Удрать уже не было никакой возможности.

Мы заулыбались.

...Он сидел в квадратном кресле, на нем была широкая, черная (в тон кресла) блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивей, чем на портретах, даже чем на автопортретах. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умней и мужественней.

Мы улыбались.

— Это, папа, ты знаешь, — предупреждая всякие недоразумения, говорил сын, показывая на моего спутника, — это наш знаменитый режиссер с «Арменфильма» такой-то такой-то (Так Такотян)... Ты его хорошо знаешь.

Отец посмотрел на Така Такотяна ясным и приветливым неузнающим взором.

— А это... — сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, — наш гость... — он взглянул на Такотяна.

— Поэт из Ленинграда, — подхватил Такотян.

У меня есть имя, и я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил что, по сути, это неважно. Мое имя по сравнению с его именем было равно нулю; моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью была равна зачатую; по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь, мое количество было равно одному далекому знакомому, причем этим знакомым был я сам. Ну какая разница, думал я, что я — прозаик Битов, а не безымянный поэт «имя им легион»? Это было полезное переживание: я вдруг понял, что имя мне — легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят обо мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. «Что в имени тебе моем...», «Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет...» Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы помечтать, чтобы Лев Толстой дал мне «доброе пути» в «Литературной газете». Это была встреча во времени по Брэдбери.

Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил: во всяком случае, сиди я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоскою.

— Из Ленинграда? — спросил он, гениально не придав никакого значения слову «поэт».

Я закивал с облегчением.

Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла, непомерной длины. Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви и похожие (настолько!) на их лица, только у много потрудившихся стариков... Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясную лапу, и он смело ее пожал.

— Как ваша фамилия?.. Я не расслышал.

Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына.

— Витор, — подсказал Такотян.

— Так? — старец взглянул на меня.

— Битов я, Андрей Битов! — воскликнул я в отчаянии.

— Битов... Битов... — старец с сомнением покачал головой. — Ты русский? — вдруг пристально спросил он.

— Русский... — ответил я неуверенно.

— Русский-русский? — заточил он вопрос.

Тут я что-то начал соображать.

— Русский-русский, — решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек.

— А то, — сказал он задумчиво, и рука взлетела вверх, очень далеко, и оттуда медленно, как лист, стала падать, — поляки, французы, немцы... а где русские? — снова стремительно спросил он.

— Да, да... Где? — повторил я, моргая.

«Откуда поляки? Какие еще немцы?!» — с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек!

Мы сели в предложенные нам кресла.

Станный и неуместный восторг овладел мною. Так вот же о чем я непрерывно, мучительно думал с первого шага своего по Армении! Именно об этом! Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения — я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне. Вот они. Армяне — это армяне. Армяне — есть. А я кто? Русский? Ну да. Никогда об этом не задумывался... Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался! До самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от

старца, показались мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик.

Стоп! Куда-то меня занесло... «Поляки, французы...» Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной, в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский... Стоп.

Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношения к своей истории, природе, традициям — это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского, и национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии принадлежит арифметике. Все упирается в число. Нас — много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать?... То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой.

Это похожее на оторопь соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то наваял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль эта сидит теперь во мне как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счет его величия.

Такая простая, прямая, последняя (или первая?) точность — удел лишь великих людей (и неважно, какой он живописец). Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта! Я ставил себя на его место... Это всегда пустая затея. Никого ни на чье место не поставишь — у каждого свое. Тем более у великого — совсем уж единственное. Как же мог я, невеликий, представить себе величие? Только увеличив самого себя в несколько раз. Но, увеличивая малое, можно создать разве громоздкое, но не великое. Тут другие законы и категории, неизвестные мне, никогда не знаемые. Великий — это в любом случае другой человек. Уж во всяком случае — не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте. Но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься усталый, равнодушный, пресыщенный, и заранее испытаешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека: то, что он — великий. Не поставленный надо мной, не утвержденный свыше, не выдвинутый обществом, как староста... великий — его качество. Ему интересно мое

имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности роду человеческому, у меня нет, что бы обо мне ни говорили и что бы я сам о себе ни думал. Ему интересны мое лицо, и голос, и жест. Ему Я интересен. Потому что он знает меня, давно уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то, именно мне, потому что другому ОН бы сказал другое.

Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня и потому-то и прожил так долго.

Тот же пес проклацал по полу и улегся у ног старца, разложив по паркету свои зеленые лапы и непомерный мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище.

— Старая уже? — спросил я с фальшивым сочувствием.

— Нет, совсем молодой, — ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой еще пес. Просто старик был так стар, что и собака его казалась старой.

Сын старца отклонялся и пошел в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын, с черным, трогательно потрепанным портфельчиком... Отец поморщился и взглядом не проводил.

— Молодые непонятные пошли... — сказал отец сокрушенно. — Вот куда он опять ушел? На службу? Что они там делают? Что все делают? Что делает крестьянин — понятно, что делает художник — понятно, что делает он, — старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец, — тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что они делают — физики, капиталисты, китайцы, фашисты — кто они такие? Что они делают? Что делают? Едят, пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату — а что после них остается? Вы слышали про атомную бомбу? — спросил он тревожным шепотом, наклонившись ко мне (Такотян ухмыльнулся уголком рта). — Ведь это страшно, так страшно! Ведь сейчас, вы мне поверьте, мне один сведущий человек говорил, — сейчас уже такие штуки выдумали!.. Газы... Представляете? Чтобы всех людей — газом!

Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик опять точнее всех, осведомленных. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так уже давно близка, и так хорошо известна, что это уже и не угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом... А чем мы заняты? Каким таким делом — спохватиться бы... А вот он как стар, а все помнит, что — Земля, что живут

на ней люди, что ничего нет прекраснее жизни и священнее ее и что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее (или первое?), главное. И говорит свои последние простые слова, их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на девяностолетнем столбе жизни, в самом первоначальном, живом и прямом значении. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и, значит, это самые верные слова на свете. Господи, одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиной пруд и бьются там, живые...

— Один, только один есть выход, — говорит старец, — пространство!.. — И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительное это порхание длинных древесных рук происходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слова «пространство» — так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда: что живопись — это движение. Только у живописца (не у актера, не у пианиста) возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней все остыло. Она мне кажется нарисованной, а она — написана. Живопись — это след движения, вот в чем секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка. И если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись — это движение... думаю я.

— Пространство... — говорит старец (взмах руки, след мазка). — Земля стала такой маленькой. Нет, это я не образно говорю. Это на самом деле, физически так. За мою жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолетами, ракетами... Она крохотная, наша Земля. Это же сигнал, ее уменьшение, — его только понять надо. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая — теперь, иногда мне кажется, поместится на моем дворе... Ну как не понять, что это же призыв в пространство, такое ее уменьшение! Земля — это только площадка. Космос — вот будущее человечества. Пространство... (Взмах, взлет, мазок.) Вот назначение человека! Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень, очень тяжело овладеть пространством! И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Все, что было, — предыстория,

мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества — пространство! Запомните, — сказал он, видя, что Такотян встал (он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговорившись), — запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами, — он улыбнулся виновато, — и всем объясняйте, что наша цель — пространство! В этом наше божественное назначение.

...Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнет сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, несколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:

— Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.

Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв ее из виду. Цель у меня сейчас — уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Все шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки.

КОНЕЦ
(ЗВОНОК)

Очерк, акнарк, намек...

Очерк намечен, очерчен.

Господи, держишь ли ты меня за правую руку?

Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться еще и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или еще хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же — оно зрелее у меня — более, быть может, будет понятно армянам, чем русским...

Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства. Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал

и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «ее не победит рассудок мой».

Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете, — а как еще что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится...

Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же, не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно — любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова; родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину... В чем-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.

— Я дал себе слово, — сказал мне однажды мой друг, — что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего...

И как я согласился с тобой!

И все же — грешу, грешу...

Но — старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что все со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало все силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным — Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлетом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно все обрело свою законченность.

Все могло бы быть и еще законченной... Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении еще и звездами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в космос! И повествование мое преодолело бы

земное тяготение, а в ушах читателя еще долго звучал бы последний космический аккорд, даже после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете...

Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты... Да что говорить! Даже в погребях великого треста «Арарат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка — огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку до моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления — достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега...

Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, — и в этом уже ее содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал ее больше года — я прожил в Армении около двух лет.

Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять столько времени?..

Да, задержись я в Армении хотя бы еще день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна — та, что есть, и все остальное неточно.

Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.

Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом — своя точность.

ПОСЛЕ УРОКОВ

ПЕРЕМЕНА Все написал. Даже виньетку в конце пририсовал в виде первого русского впечатления. Так сказать, приехали... Думал — конец. Как раз нет. Тут-то все и начинается.

Пришлось мне мою «виньетку» вычеркнуть...

А ведь все так и было! Только прилетел — попал в объятия, и выпили мы славно, и поговорили на родном языке наконец. И со своим восклицанием о родине русской — слове — я до сих пор согласен. Но не стоило мне рисовать эту виньетку, не надо было ввязываться!

Ничего не сказать о возвращении — было бы неправильно, но сказать мало — оказалось еще хуже, а если больше сказать — то сколько? И почему именно столько? Всего — не напишешь. И при чем тут тогда Армения окажется?..

Сразу же потребовалось оговориться даже по поводу этой сценки, потом уточнить оговорку и приписать еще сценку, чтобы объяснить уточнение... Подправить, добавить, уточнить. И снова объясняться, оговариваться, оправдываться. Все, как в «безумном чаепитии»: «Хочешь еще чаю?» — «Больше не хочу». — «А меньше хочешь?» — «Нет». — «Значит, хочешь больше?»

А потом вдруг, сразу же — взглядом не охватить, мыслью не обнять — так много... С чего начать? С этого? С того? Почему же с того?!

И мало — плохо, а много — еще меньше.

Наступает немота. Это — родина...

Даже описывать события, лишь как они происходили, лишь в естественной последовательности времени — нельзя оказалось на родной земле, неправильно... И чуть ли не ложь. Словно все, что вокруг и сейчас, — это случайная и бессмысленная цепь, будто, может быть, и нет этого ничего, что видится, а есть нечто главное, глубинное, чего так не видно, а надо увидеть. И вот, когда увидишь, — это и будет правда, только ее пиши! Родина. Немота.

Слишком уж был я опьянен естественной точностью и логикой нарастания впечатлений в Армении, слишком уж уверовал в метод. Казалось, продолжай так, день за днем, только бы не терять высоты, по инерции набранного чувства и мысли — и будешь забираться все выше и выше, и стройная твоя линия затеряется в облаках, так нигде и не погнувшись, не сломавшись... Но нет, тут была остановка и обрыв, а на краю обрыва стоял отчий дом. И это было уже не путешествие, где цельность и точность картин связана именно с их мимолетностью, а прозрение — с неведением... Сама твоя жизнь пододвинулась вплотную — и ничего не видно. Хочешь не хочешь — гляди ей в родное и вечное, опостылевшее и любимое лицо. И вид из окна не передвинется, и имя твое не переменится, мать и отец у тебя всегда будут те же и твоим именем тебя назовут, а лет тебе на этой земле не убавится, а прибавится. Тут другая логика, другой метод, иное течение речи. В движении — откуда взяться фантазии? Впечатления... А тут и фантазия заработает, как только приостановишься и постоишь с минутку на родном дворе. Ибо что может быть фантастичнее обыденности и банальнее новых впечатлений? Ибо тут уже иное качество любви и боли, иное качество знания — и как поведает в мимолетных картинках о том, что есть твоя земля, твой дом, твой язык — что есть ты? Тут и споткнешься, и замолчишь, и замычишь, крутя головой от бычьей бессловесной муки, с глазами, красными и кроткими от любви. Упрешься в забор. Родина. Немота.

А может, метод счастливо-легкий тот неверен и в отношении Армении, раз неверен он в отношении родины? Я пробыл в Армении десять дней — и написал книгу, а за десять тысяч дней пребывания в России — ничего подобного не написал.

Но это уже попытка точности с перебором, 101 %, так сказать. Я не армянин, чтобы испытывать его немоту. Это первая оговорка, их — тьма...

Вот — другая.

Живая проза прорывает твое личное время и во многом превосхищает твой опыт. Новая книга — это не только твоя жизнь, пока ты ее пишешь, и не только опыт предыдущей жизни, входящей в нее, но и — твоя судьба, твое будущее. Если бы автор только повествовал для читателя, ему было бы просто скучно, а ску-

**НОВАЯ
КНИГА**

чая — что напишешь? Дело в том, что если человек пишет, то он сам познает то, чего до этого не знал. Это его метод познания — писать. Гении, быть может, познают то, чего до них никто не знал. Прочие — заново открывают: для себя, для таких, как они, для времени. Человек, собственно, не дарит миру ничего нового, он считает новыми те вещи, которых раньше не знал и вдруг обнаружил в этом мире... Но они уже были до него, раз он их нашел. Это только он не знал об их существовании. А в мире нет нового и старого, потому что в нем все есть сейчас.

Так вот, написав книгу, автор неизбежно попадает в открытый мир. В процессе написания, пока он его еще открывает, ему кажется, что мир этот — более продукт его авторской воли, проницательности и фантазии, то есть личности, нежели реальный сколок законного мира. Этот обман называется вдохновением и существует для того, чтобы книга была дописана. Но как только поставлена точка, как только распахнута дверь — автор оказывается именно в том мире, который описал (раз уж это автор и если это — книга).

Сначала это ему льстит, потом всеобщность и распространенность «открытых» им законов его подавляет и ему приходится учиться существовать в открытом им, поначалу таком сокровенном, мире и по его законам. Тут кончается романтика и начинается страх. Человек оказывается окруженным и блокированным созданиями собственного разума, и если про часть явлений, событий и героев он знал, что они есть в этом мире, и его поражает то, что их развелось больно много, пока он писал, то реальное существование другой и вымышленной им части потрясает его. Ему приходится убедиться воочию, что все так и есть, и заподозрить, что так оно и было, потому что иначе он может впасть в мистицизм. И когда автор перезнакомится со всеми, кого сотворил, когда с ним начнут происходить события, которые имели место лишь в его книге, а не в его жизни, он замечется в поисках выхода — и это будет новая его книга.

(Слава Богу, я давно это заметил и старался без необходимости не прибегать к острым сюжетным поворотам, как то: тюрьме, войне, смерти близких и прочим литературным убийствам.)

Что-то похожее произошло и с этой книгой. В Армении я прожил десять дней, почти исключительно в настоящем времени, не вспоминая прошлого и не заглядывая в будущее, а это оказалось очень много, потому что дома нам редко

удается пожить минутой. Я нагло оседлал эти десять дней и погнал их впереди себя, как вечность. И сначала не хотел слезать, а потом и не мог слезть. Мне отворился целый мир картинок и проблем, поначалу достаточно далекий от моей личной муки, и я мог с удовольствием погрузиться в него — именно как в ванну. Я усмотрел в Армении пример подлинно национального существования, проникся понятиями родины и рода, традиции и наследства. (Это поддерживает некоторое время.) С болью обнаруживал я, что в России часто забывают об этом. Что надо посвятить себя напоминаниям. Я мчался, я «предвосхищал»...

Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской шеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой скучною порой.

И вот стоило мне приблизиться к концу книги, довольно потирая руки, не успел я дописать последнюю главу, а именно то место, где старец говорит: «Где русские?» (курьезно, но это было в ночь под Рождество) — как в дверь постучали и вошел русский... мой московский знакомый Ш... и с порога спросил, русский ли я. Несколько опешив от столь буквальной материализации моих образов, я успел ему ответить, что да. Он с сомнением покачал головой: «А почему?» — «Что — почему?» — удивился я. «Почему ты русский?» — «По крови», — ответил я, начиная злиться. Ответ мой, надо сказать, поразил Ш... «По крови... Надо же! Мне никто еще так не отвечал». — «А ты что, всех спрашивал?» — «Все говорят: березки, язык, родина...» — сказал он.

Через два дня я оказался окруженным толпою заинтересованных национальными проблемами людей, то ли потому, что, в результате писания этой книги, начал замечать их, то ли потому, что Ш. им обо мне рассказал... То есть то и оказалось, что отворил я дверь в давным-давно населенный мир и, несколько ошалев от того, что мир, казавшийся таким «моим», принадлежит всем, пережив небольшое разочарование от потери приоритета, стал знакомиться с аборигенами этого мира, поначалу просто за руку...

Ах, я много пожал лишних рук!

Но — стоп! Я не успеваю здесь поведать об этом... Об этом опять надо сказать либо слишком много, либо ничего. Лучше ряд пока закончить и не продолжать. Лучше я отложу, пообе-

щаю, непременно, потом, отдельно... Нет, нельзя больше прямодушно следовать фактам — надо либо их не заметить, либо осмыслить. А осмысления хватит на всю жизнь. И немота обеспечена.

К тому же все эти встречи, люди, разговоры, факты — весь этот конкретный мир, в который я неизбежно окунулся, написав про Армению, сейчас уже так разросся, так ее заслонил, настолько уничтожил все мои предвосхищения и стал копиться столь тяжким горбом опыта, что справиться со всем этим можно лишь в новой книге.

1967 — 1969

НАШ
ЧЕЛОВЕК
В КУВЕ



Смысл всего этого заключается в том, что бывает такое время, когда нечто находится в состоянии небытия, ибо время и материя предшествуют всему тому, существовавшие чего имеет начало во времени...

*Авиценна,
«Книга спасения»*

ОТ АВТОРА

Хорошо придумывать то, что было, но невозможно сочинить то, чего не было. История наша будет проста. Она будет о том, как человек зря уехал, но зато вовремя вернулся. Нам могут сказать, что это — дело каждого и не имеет всеобщего значения... Действительно, так заведено: придавать общее значение вещам, как правило не имеющим места в жизни каждого, зато свойственное каждому — полагать частным случаем и не общим делом. И слава Богу. Одни — пишут, а другие — живут. Мы с этим согласны.

Поразительно незачем об этом писать. Ну, прилетели вы даже, скажем, в самую Хиву — где в ней что написано? То, что мне надо написать о ней, — никак не в ней, а во мне. Зачем же возить то, что и так во мне, в такую далекую и напрасную Хиву с тем, чтобы это же и написать?

Бухгалтерия — вот муза дальних странствий! Амур Аванс, поражающий нас стрелойю отчета...

Итак, мы просто вынуждены рассказать здесь историю о том, как человек впервые в жизни внял внутреннему голосу, отказавшись слушать голос рассудка, — и то едва успел. И, будучи вынуждены и, как всегда, не зная, с какого начала начать, мы в который раз убеждаемся, что самая правильная последовательность — та, которая была, потому что другой — не было.

Итак, сначала о том, кто поехал в Хиву, а потом уже о Хиве... Поскольку повествование от «я» делает нелепой такую постановку вопроса, мы охарактеризуем состояние самого себя, собирающегося в Хиву, несколько косвенно...

Итак, поговорим о времени, потому что о себе каждый знает.

Итак, поговорим о себе, потому что время говорит само за себя.

1. ГОСТЬ

— Подлец! как ты посмел, чтобы тебя предали?! — вскричал Дон Амиго Живи.

Граф Ивелот, «Пороги печали»

Я любил, я был любим... Невиданное счастье! Оно — не длилось. В ту же секунду я оказался охвачен тревогой, как пожаром. Нет, никаких видимых туч... Но чем неосновательней, тем тревожней. Не может быть более неустойчивого и необеспеченного положения, чем когда все хорошо.

Раньше я был так легок на подъем!.. В любое время, в любую точку, в любую погоду — только предложите. «От Москвы до самых до окраин...» А теперь — страх. Я словно застыл в позе, в которой меня настигло счастье, и теперь боюсь шевельнуться, лишь бы ее не переменить.

И вот что я теперь себе скажу, прожив свои годы: чему стоило бы научиться, так это — отказываться. Не был я легок на подъем — просто ни разу не отказался.

— Если ты чувствуешь, как что-то сопротивляется в тебе, топорщится и не хочет никуда ехать, а хочет оставаться вот здесь, подле, что в крови гудит беспричинная тревога, хотя душа еще зрит, а не подозревает, — не думай, что глупо тревожиться без причины: есть тревога — будет и причина, а вот будет причина — то это уже и не тревога... Не думай, что не по-мужски принимать преждевременные меры, — оставайся-ка, брат, дома. — Так я себе сказал. Бесполезно!

Нет, ревность не бывает без причины! Хотя бы потому, что она и есть причина.

И нелепо думать, что конкурентов нет. Есть небо, погода, облачко какое-нибудь; есть внезапное, ни с того ни с сего, прекрасное самочувствие инотелесного, чем ты, человека; есть и другие соперники: например, повязанный дивным черным фартуком сапожник с прозрачными серыми глазами, с цыганщиной в кудрях и опасной улыбкой, который не возьмет с девочки денег за набойки; или — грузины, обучившиеся отсутствию наших недостатков; есть удачники, обучившиеся опыту твоих неудач и на фоне своих достижений так удивившиеся

своему неполному телесному исчезновению, тому, что они еще что-то хотят и могут, что перед ними не устоять... потому что — стой или не стой перед ними — они поймут только так, что вы НЕ устояли, и пропрут пространство, всегда остающееся для них пустым, как некая новинка бесконкурентно-опьяневшей техники — самодвижущийся забор.

Ах, этот тип! унизительно с ним бороться... Все-то он зовет стыкнуться в дворовом подвале, кажущемся ему дворцовым залом из-за отсутствия опыта в открытом мире и тупой принадлежности себе. Но — при чем тут твоя гордость? Пока ты ждешь достойного противника, тебя, высокомерно не придав тебе значения, победит недостойный. Да, любя женщину, не забывай о ней, не забывай того, что именно ты и полюбил в свое время: мало ли что произведет впечатление живого на живого? И твое время может стать не твоим... Ах, какой симптом! — и небо, и самочувствие, и облачко — весь тот мир, что прислуживал твоей любви, да и был ею, вдруг обретает отвратительную самостоятельность, твердую и неприкосновенную, неподвластную отделимость, и ровно то, что прислуживало любви, прислуживает и ревности!

Вот еще одно рыцарское соображение: не слишком ли хорошо мы о себе думаем? Получается, что мы лучше всех. Но, раз уж мы так полюбили, то не достоин ли наш предмет более достойной участи?..

Бесенок статистики нанесет последний удар по моей личности: а вдруг я пишу раз в год, люблю раз в семь лет и помираю один раз в жизни? По статистике жизнь дается человеку один раз — стоит ли так серьезно относиться к столь редкостному случаю?

«Хлопочешь ты, все хлопочешь, все к той бубновой рвешься, а между вами король трефовый, в ее сторону смотрит, вроде как отец, но не отец, начальник, по-видимому, препятствует он тебе, расстраивает какой-то твой план, какие-то у тебя тут дела, да, впрочем, все для тебя пустяки, ты семеришь, а мысли у тебя о другом, ждет тебя дорога, сначала маленькая — к ней, потом долгая — от нее; письмо видишь? будет тебе письмо, удар то ли уже был; но ты о нем не знаешь, то ли будет, но так, не удар, а болезнь неопасная, вот если бы вниз острием пика была, то совсем плохо, а так — вверх, ну а потом — денежки получишь; правда, небольшие...»

Все так, все правда. Любопытно смотреть на людей, которым гадают... Такая выдавленная из себя снисходительная усмешечка, надутость, окаменелость, а внутри что-то голенькое

и беззащитное мечется: у каждого, оказывается, есть, что болит, и есть, что никому нельзя показать, и то, что всем видно.

Вот и моя очередь подошла — мне гадают... Я сам себя так же вижу! словно это я же, небрежно прислонившись, застрял в дверном проеме — я уже прошел это испытание, меня отгадали — и теперь на себя же быстроватыми взглядами посматриваю и мстительно подмечаю неподвластные выражения своего надоевшего лица. Смотрите, как этот «я» все-таки усмехнулся, зная, что сейчас усмехнется! — и не избежал усмешки. Еще бы! «Ждет тебя дорога» — тоже мне проницательность...

Да не ждет она меня — еду я по ней!

Какой милый, какой утерянный мир встает за устаревшим словарем гадалки! Так и видишь зимнее оконце, освещенное девичьим пением про догорай-лучину; кружево сумерек; заspanную теплоту времени, где проезжий — событие, случайный взгляд вызывает румянец, а ожидание есть обещание счастья, письмо — поворот судьбы, а дорога — потрясение жизни. Ах, в те времена маятник у ходиков болтался просто так, для окончательного довольства жизнью: мол, все у нас есть, даже время.

С временем сейчас хуже. Его нет. Время сейчас бывает разве в аэропорту. Когда самолет не летит. А он опять не летит.

И как это я ничего не боюсь? Летать хотя бы... Обнаглел... Какой-то защитной заслонки в сознании не хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот другие люди... Когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы: купить не купить, пойти не пойти, сказать не сказать, — прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием — признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать — но тогда начинаю попевать и успеваю; возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух — но никогда не буду я бояться самолета потому, что на него можно опоздать. В этом моя ошибка и в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего — это ли не бесстрашие? То ли дело люди — страх для них и есть блазн.

Время, что ли, такое? Надо бы его понять... Потрясающее во всем сопротивление. Уж если вы попросите, даже самое простое, — это уж точно нет. Зато о чем вы даже помечтать не могли — это пожалуйста. Дома, где жить, — нет, а в Хиву, за государственный счет, — пожалуйста. Как сказала одна милая женщина-африкановед: «Если вдруг в кондитерском отделе дают сапоги, можете быть уверены, что это замечательные са-

поги! И пироги в обувном — даже не спрашивайте, берите». Вот ведь: и лететь не хочется — все вешество мое воеет, и самолет всю ночь не летит, — где бы понять, что все это намек судьбы, и не лететь, раз уж все так само мне подсказывает. Но тут-то, где надо, мне и изменяет фатализм, заменяется чистой неврастенией, и я оказываюсь неспособен истолковать эти водяные знаки пространства, принимая мелочность неудач за чистую монету.

Потому что я, не заметив, как и когда это произошло, вдруг уже испытал поражение, даже если ему еще только предстоит материализоваться. Иначе почему бы такая тоскливая бездарность снизошла на меня, такая образцовость, такое тупое и короткое следование правилам, а не жизни? Я сбился с ноги, потерял пульс, не улавливаю биение судьбы. И то, что я зарегистрировал билет, является уже приговором. И хотя сдать билет, вернуть командировку, сказаться больным — все это такие доступные, такие осуществимые вещи, я ничего не произведу из этих правильных и естественных, ничем мне не угрожающих действий. Откуда такое рабство? Что дороже и что дешевле: мое обещание безразличному человеку что-то о чем-то написать или моя любовь, авиабилет или жизнь? Получается, что жизнь и любовь дешевле сорока пяти рублей по безличному расчету, — потрясающая невоспитанность! Очень плохое отношение к себе.

Плохое отношение к себе — совсем не хорошо. Оно попустительствует. Оно распушено. Оно разрешает не относиться к другим практически. Оно — очень плохо.

Так я мог себе говорить — это ничего не стоило. Самолеты не летели, зал ожидания — эта торба времени — переполнялся черненькими личинками времени, бескрылыми еще пассажирами. У них на пульсе тикали часы и что-то тикало в области сердца. Их личное время буксовало в нише замершего общего. Я это столько уже наблюдал и описывал — до полной потери непосредственности. Теперь я за это платил, разглядывая эти цитаты ожидания из самого себя, покрывался слоем позора, прозрачного для всех. Была тут, правда, и некая новинка для меня — телевизор. Был он периодически подвешен в бесконечности зала на недоступной для рук терпеливых неврастеников высоте. В нем вяло плавало расплывшееся изображение какого-то всеобщего танца. Но этот телевизор не обновлял мне аэропорт. Печальное чувство повторного круга жизни, кратной ее дробности все полнее овладевало мной. А там, всего в часе езды, дремало единственное мое повторение, никогда не кратное, никогда не дробное, — моя жизнь.

Я набирал этот код разлуки, будил. «Беденький! приезжай...» Лучше не представлять себе этого надреманного тепла — я не приезжал, всего лишь за пять рублей на такси — не приезжал, так же, как когда мне сказали: «Не уезжай...» — уезжал всего лишь за сорок пять. Нищета — это ведь еще и бедность... У меня не было никаких оснований беспокоиться или подвергнуть сомнению возможность неистребимой любви к себе. Невыгодно показывать, как я теряю голову... Господи, в остальное от людей время я так бездарен! я такой и х человек, они так нашептывают мне свои кошмарные формулы — так ласково уговаривают не делать себе больно, не напрягаться; сам-то по себе я в такой и х власти, что миф моей индивидуальности и самостоятельности — лишь форма оплаты моей зависимости. Мое самодовольное несчастье вешало трубку и уходило от телефона упругой походкой.

Сейчас мне кажется забавным, что растущее чувство тревоги и унижения казалось мне немужественным и постыдным, свидетельством бесхарактерности и слабости, а тупой идеал собранного и образцового человека, глухого к голосу своего сердца, — достойным подражания и следования. И я подражал. Да в одном том, что этот мой телефонный голос был терпеливо, без брезгливости выслушан, — есть такая вера, такое ожидание и такая надежда, что остается только удивляться благосклонности моей судьбы!

Спинки кресел, специально укороченные, чтобы не спать, чтобы голова отрывалась от безвольной шеи... так было и так будет! потому что удлинить спинки на недостающие сантиметры — значит признать саму возможность нелетной погоды, а она, товарищи, явление исключительное и нежелательное, с которым мы не можем посчитаться так же, как не считаемся с жизнью. Жизнь есть исключение. Допустимость нелетной погоды — это оппортунизм в деле Аэрофлота, этого так же не должно быть, как в жизни не должно быть измены и смерти. Не должно быть — значит, и не бывает. Вот почему не уснуть никак... К пяти утра, когда даже самого нервного и капризного сморил неудобный сон, были пущены в ход поломочные машины: с остервенением и опаской, если не с ненавистью, накренясь, как бурлаки, катали по залу тяжкие бомбежновоюющие тележки пожилые матери-одиночки. Легкие и тихие швабры, мирные мягкие опилки — мечта простая и недоступная, как старые добрые времена, проступала за героическими складками их окаменевших лиц. Пассажиры поднимали ноги.

Ах, эти средства связи, эта чрезвычайная возможность контактов, коммуникаций-информаций! Не говоря о государ-

ственных задачах — сколь расширили вы возможности личной жизни! Телефон, телеграф, самолет — это же слуги любви и ревности!.. Как обезврежена разлука: вы можете, находясь в разных уголках нашей необъятной родины, позвонить по автомату за пятнадцать копеек, так что, в случае секретности, можно даже развеять подозрения ревнивцев и скрыть, что вам звонят из другого города. Да что говорить! Можно, не поскупившись, сесть в самолет и даже прилететь на субботу и воскресенье, помиловаться и назад поспеть к станку, к звонку. Как бы вы раньше, в другие-то, докоммуникабельные, времена умудрились бы поддерживать связь со своей любимой, если вас судьба поселила в разные уголки? Это непробудимый довод в пользу. Но только вот — судьбы бы такой у вас не было, вы бы не встретились, а если бы и встретились, то толковали по справедливости невозможность как судьбу и смирялись с нею. Только вот если б уж вы встретились, то, за отсутствием современных средств коммуникаций, просто схватили бы за руку и не отпустили, вы бы не разлучались — вот коммуникация, вот связь! — не отпустить свое счастье, потому что как потом его найти — затеряешься: семь пар железных башмаков и такое же количество тех же посохов... Так что современные средства коммуникации — это пособники не связи, а разлуки, да и информация — ложь, поскольку надо посмотреть в глаза.

Ах, все это мне напоминает рассуждение о том, что сейчас обыватель живет лучше средневекового короля, потому что пользуется санузлом.

Тем удивительнее, что не прошло и суток, как я приземлился в Ургенче.

Машины, которая меня ждала, не было. Я вдыхал азийские сумерки, стоя на дрянной фанерной площади. Было тепловато, густовато и темновато. Как будто бы пыль под ногами — толстым непо потревоженным слоем — так мягко. Глуховатость после самолета очень пригодилась, она как бы принадлежала этому месту, как ватность и сумерки этого местечка. Была тут некая ватная изнанка прибытия... Я предавался детскому ощущению нового места, в котором ничего из того, что я чувствовал, не было.

Забронированный для меня номер был занят ревизором. «Корреспондент — тоже своего рода ревизор», — сказал я, обнаглев до отчаяния. Мне казалось, что я пустился во все тяжкие, раз говорю такое, но это-то как раз и было необходимой

нормой. Номер-то, забронированный под ревизора, еще не был занят.

Но я уже отказался воспринимать сопротивление среды как продолжающуюся систему сигналов с моей звезды — я уже далеко заехал и должен был теперь с этим считаться как с ненапряжным поступком своей жизни. Получалось это пока плохо, но я предпочел линию чистого неудачничества вместо осознания, что просто это не та линия.

Вот что меня удивит, когда я переступлю порог своего номера и бегло и бывало осмотрю его, исполняясь неточной тоскою позитивиста-неудачника: почему это именно я должен именно тут жить? Но, с другой стороны, именно тут буду жить именно я — вот что меня удивит. А ведь я командирован в Хиву не за тем, чтобы описать, что со мной здесь, в результате этой хирургии пространства, произойдет, а с тем, чтобы никогда не написать об этом. Что-то я никогда не читал, чтобы писали о том, что с ними произошло, — всегда о том, что происходило без них... Значит, сейчас я должен, искусственно и невозможно, построить свою жизнь так, чтобы стать свидетелем тому, в чем я не участник. Оригинально... Меня командировали лишь за юридическим правом подставить в текст, который должен быть, свежие географические и человеческие имена, а не за тем, что есть. Я должен приобщить неизвестное к известному в одном лишь качестве уже известного. Надо было так мучительно, так физически преодолевать пространство, чтобы сказать: я там был, командировка отмечена, — и подставить имена людей, минаретов и местностей... Так думал я, озирая свой номер, — он был подобен: в стране жаркой и пыльной надо было накрыть круглый стол синим панбархатом и поставить на него все тот же графин с мертвой водою, чтобы номер был «люкс».

«Ах нет! — сказал я себе в сердцах, пнув чемодан под кровать. — Мне все кажется, что раньше я лучше был. А раньше я еще хуже был».

II. ХОЗЯИН

Удалимся под сень струй...

Гоголь, «Ревизор»

Да, раньше, лет десять назад, и не мудрено было быть лучше... Тогда я приехал в Среднюю Азию с нерастраченными образами детства. Мне достаточно было одного слова, чтобы за ним вставал не опыт, а образ. Произнесу про себя магическое слово «базар», и — что бы ни предстало перед моими глазами, какая-нибудь мусорная дрянь — увижу персидский ковер, тысячу и одну ночь и шемаханскую царицу; скажу себе «верблюды» — и передо мной не патологическое животное, а мифологический зверь; скажу себе «лагман» — и это не общепитовское варево, от которого страдает печень, а как бы даже не знаю что, некий черепаховый ананас. Правда, тогда мне можно было и ничего не показывать: из одного факта приобщения к этим словам рождал я картину, которую не заслоняла никакая действительность. Теперь, впрочем, мне тоже можно ничего не показывать — и на берегу Индийского океана, в каких-нибудь там саваннах и сельвах, увижу я две трети голодающего человечества и подавлюсь ананасом.

Раньше, скажем, все было просто: насытив свой голодный и молодой механизм лепешкой с кок-чаем, садился я на попутку и ехал, куда она меня везла; теперь никак не найти, где пообедать: ресторан всего один, и готовят в нем оскорбительно, а чтобы достать машину...

Вот про доставание машин я теперь могу много рассказать. Пешком ходить быстрее и проще, но положение обязывает... Поэтому я живу не в Хиве, куда послан, а в тридцати километрах от нее, где гостиница лучше. Поэтому пешком я теперь хожу туда, где мне дают машину. Но вот как ее дают! Это тонкая и развитая церемония, изучению которой я посвящаю утренние лучшие часы. После полудня вы уже не достанете машину никогда. Не потому, что они в разъезде, а потому, что если человек целое утро достает машину и до сих пор не достал, то такому человеку можно ее и не давать,

машину. Это не солидный человек. Первую свою машину я достал легко: Нияз Ниязович Ниязов долго сличал меня со словами «Москва», «спецкорреспондент» — и решил не рисковать, дал. Очень я запомнил этот его умный, печальный взгляд, его длину; эти красивые, влажные глаза терпеливого животного, два глаза — над двумя очень отдельными и белыми существами рук, с большой чистотой под ногтями широких, как клавиши, пальцев... Он посматривал с доброй грустью на их возню, пока решал про себя с машиной, горько и мягко улыбался и кивал. Размеры услуги росли, как лавина. Я не встречал более отзывчивого человека. Но мне не удалось прибегнуть к его помощи вторично.

Да, и этого тоже со мной не было десять лет назад — проводников и сопровождающих. Все-таки я был лучше. Я был свободен. Свободен и от положения, которое обязывает. И от действительности, которой не знал.

У меня была еще надежда на некоторый свой опыт разочарования в разочаровании. То есть что Ургенч Ургенчем, а Хива меня потрясет своим несовпадением с моими представлениями, окажется прекрасной совсем в ином качестве и отобьет оскомину умозрительных совершенств... И пока мы катили туда на первой, удачливой машине Нияза Ниязовича Ниязова, я все стискивал свое сердце предчувствиями, массировал свои эмоции до юношеской гибкости. Но дорога была унылой, и пейзаж по сторонам ни к чему не располагал: это была плоская весенняя земля одинокого серого цвета, накрытая, несмотря на безоблачность, каким-то тусклым, седым небом, — она еще не зеленела всходами и не цвела. В ней, однако, не было ничего из той унылой и индивидуальной красоты тундры или степи, которую можно, при желании, углядеть, а потом утверждать, что полюбил всем сердцем эту неброскую, но шемящую красоту. Это была земля под хлопок, с отчасти недорытыми ирригационными канавами: вид развороченной земли тоже ничего не красил — это была земля под хлопок, и, по-видимому, другой функции у нее не было.

Ах, если б мне тогда подсказали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть в пейзаже объясняются словом пустыня на горизонте, я бы вынул другие глаза! Но мне никто не помог словом... В общем, я утомился натаскивать себя на красоту и поэтому очутился в Хиве внезапно и с удовольствием. Это был город-городок, и пока мы по нему ехали, от окраины, похожей на разбитый кузов пылившего по ней грузовика, к центру, — городок все желтел и зеленел, веселел, и небо над

ним становилось все чище и голубее. Можно было улыбнуться с облегчением.

Этот городок-халва
Называется Хива.
К чести города Хивы,
Никакой в нем нет халвы.
Минареты над Хивой...

и т. д., все падежи.

Вот когда я увидел первый минарет, то и небо вдруг сверкнуло чистым и глубоким цветом, словно осколок эмали вернул ему его идею, и отражение осмысляет предмет. Так наконец мы проникли настолько внутрь города Хивы, что оказались в самой Хиве, той, что является ее красой и славой, той, что является Хивой для всех нехивинцев...

Мы прокатили вдоль стены городской крепости Ичан-Кала, повторяя ее вольные, как речные, изгибы. Стена эта очень красива и, полуразвалившаяся, имеет весьма почтенный и древний вид, хотя древней и не является. Вообще это было если не разочарование, то удивление: что древней, в нашем представлении, Хива отнюдь не является и основная часть заповедного архитектурного комплекса — это вторая половина XIX — начало XX века. Стена же — просто глиняная и тысячелетний вид приобрела почти что в наше время. Восстанавливать глиняный забор, не имеющий ценности архитектурного памятника, очень дорого, и однажды, скоро, она развалится навсегда — так оплывает под дождями и ветрами куча разрытой земли.

Примечательна Хива, оказывается, прежде всего не дряхлостью, а ценностью архитектурного комплекса. В границах крепости Ичан-Кала Хива сохранилась как старый мусульманский город, каких теперь не бывает. Как быстро уходит время умершего: только что был — и нет его... Так, первое, что заслоняет взор при входе на территорию заповедника, — толстенная обрубленная труба недостроенного минарета. Она выглядит не менее древней, не менее небывалой, чем прочие медресе и мавзолеи. Это должен был быть самый высокий минарет Хивы и чуть ли не всего мусульманского Востока. Однако верхняя, внезапно обрезанная, линия означала время — 1917 год.

Туристский сезон еле начался, к тому же, по моему порядку, именно в этот день, конечно, был выходной, и было совершенно пусто. В конторе никого не было, и всех тех

знатоков и специалистов, что в столбик были переписаны в моей книжечке, которые сообщат мне все, что мне понадобится (если бы я знал!), — всех этих людей тоже не было. На дверях медресе висели амбарные замки; редкий старик сидел на приступочке, задрав к солнцу слепую бородку; пробежало несколько школьников, помахивая портфелями и чуть галдя («старое и новое»), — в красных галстуках. Я шел один по узким улочкам, сличая небо с куполами и чистые песчаные плоскости стен — с солнцем. Так ровно, так точно работали здесь тень и свет, что можно было бы проходить уроки геометрии на улицах. По-видимому, тут довольно бурно велись реставрационные работы, и я подумал, что, может быть, таким новеньким этот город никогда не был. Таким новеньким и пустым. Я брел и неохотно населял эту пустоту гомоном прежней мусульманской жизни; по самым узким улицам, где солнце проводило осевую линию, деля их на очень темную тень и очень яркий свет, хотелось провести верблюда... не больше.

Воротца одного из медресе показались мне приотворенными, и я, любопытствуя, проскользнул туда. Тут размещался один из многих филиалов исторического музея, и сейчас там шла какая-то ревизия-просушка экспонатов. В центре пустого выметенного двора стояли два чучела — облезлого мелкого волка и цапли — как в басне. На меня замахали руками, запричитали, но я предъявил полномочия и был допущен, тем более что от пояснений отказался — мол, сам. Я обходил обширный двор по периметру, заглядывая по очереди в комнатки-ниши, назначение которых понимал, как потом выяснилось, неточно. С той зубовой тоской перед разного рода сведениями, которая, к сожалению ли, к счастью ли, застряла во мне со школьных лет, пытался я пополнить свое невежество. Внимание мое, впрочем, охотно застревало на разного рода предметах, весьма забавных: ручной фонарь ханского евнуха — копия фонаря Диогена, или поясной ремень военного министра, или пустые очки министра финансов... В промышленном отделе я заинтересовался горкой расплавившихся конфет-подушечек, продукции местной фабрики. И т. д., столь же безответственно. Как вдруг, взглянув в одну из ниш, я вздрогнул: там, сложив ноги по-турецки, в чалме и халате, положив на колени отворенную книгу, сидел мертвый человек и вдумчиво, в себя, чуть улыбался. Тут кто-то легонько прикоснулся к моему плечу, я вскрикнул и отшатнулся — мне улыбался цветущего вида кудрявый молодец.

— Испугались? — ласково и доброжелательно сказал он. Мне стало очень неловко, что я испугался куклы из папьемаше... — Действительно, муляжи у нас делают еще пока неважно. Настоящих художников нет. Это ученик медресе, — представил он мне куклу, — в такой обстановке он жил. — Обстановки, кажется, было — ковер и книга. — Заместитель директора заповедника Муслим Негудбаев, — представился он сам и крепко пожал мою руку.

Такой фамилии у меня в книжечке записано не было, но такой милый, доброжелательный человек — это было само везение, так давно, с кипящим бурунчиком огибавшее меня, как неживого...

— Очень, очень приятно! — кивал Негудбаев. — Я большой поклонник вашей газеты. Постоянный подписчик. Особенно шестнадцатой полосы! — он засмеялся. — Там недавно мне особенно одна шуточка понравилась... Помните? Оч-чень, очень остро, знаете ли. Смело. Неужели вы не читали? Я вам дам этот номер. Если не возражаете, тут вам больше смотреть нечего. Самое страшное вы уже видели! Ха-ха! Я вам сейчас еще кое-что покажу, — и под локоток меня, так мягко, так ровно!

Мне очень понравился этот Негудбаев, что-то было в его манере столь решительное, но и ненавязчивое. Он был жизнерадостен — вот что! Жизнь в нем была отсутствующим во мне ключом. Ему все было любопытно, все интересно, даже я.

— Сегодня и неудачный и удачный для вас день. С одной стороны, никого нет, кто вам нужен, но с другой — никого нет, кто вам не нужен. Зато я вам кое-что могу показать...

Достав из кармана сразу нужный ключ, он отпер какую-то боковушку, и мы вошли в узкое и даже не длинное помещение: маленькие оконца были в решеточку...

— Это знаменитый Зиндан. Тут, так сказать, томились...

— Совсем небольшое помещение, — удивился я. — Неужели так мало было преступников?

— В те времена подолгу не засиживались, — сказал он и сделал выразительное и веселое движение рукой, намекающее на кол.

— Да, да, — сказал он, с удовлетворением осмотрев мой ужас. — Недопустимые методы... А надо сказать, при Алакулахане...

И он немножко ввел меня в курс ханского судопроизводства.

Мы еще вот куда с ним зашли, в Джума-мечеть, XVIII век. Джума — это пятница, то есть не воскресенье и не суббота.

Что ж, мусульмане... тут ничего не поделаешь: пятница, хиджра, серп — это тоже вам не крест.

Что я могу сказать о мечети? Это было совсем не то, что я себе представлял как мечеть. Скорее, она походила на медресе. Выходит, и о медресе я имел неточное представление... Джума-мечеть была похожа на большой крытый двор, а когда вы входили внутрь, то — на подвал, поскольку потолок был невысок, а окон не было. Тут и пахло подвалом. Подвал этот отличался огромной площадью, и, чтобы держалась его такая плоская и обширная крыша, по всей площади было распределено более двухсот деревянных резных колонн. Так что мечеть напоминала еще и шахту, где пласт вырабатывается во всю ширину и крепится стойками от обвала. Это чувство подземности было неоправданным, но безусловным, хотя мы и находились ровно на земной поверхности и под ногами была земля.

Джума-мечеть — из самых крупных: в ней одновременно могло молиться не помню точно сейчас сколько, но очень много человек — не меньше, чем в большом современном кинотеатре. Убранство мечети было необычайно просто — никакого убранства. Серая каменная некая купель в центре и колонны, резьба которых кружевна и необычайно искусна. Эти колонны — история и гордость храма, тринадцать из них были девятого века. Я их потрогал, эту тысячу лет.

День для посещения оказался очень примечательным, первым. Вчера мечеть освободили от мебели. Здесь был склад горторга. Сегодня, уже при мне, выметали последнюю кучу сора. «На семи машинах мусор вывозили!» — сказал старик, любовно выметавший остатки. Стучали топорами плотники, устанавливая столбы на место недостающих колонн. Когда мы выходили, я заметил у дверей последние остатки горторга: несколько спинок от никелированных кроватей, что с шишечками... Каждая ножка была забинтована промасленной бумажкой. Прислонены они были к резной колонне девятого века, ни во что не обернутой.

— Так у нас тут все — одни склады! — сказал Негудбаев. — Горторг — это проблема заповедника. Вы бы о ней написали. Есть решение освободить территорию от складов, а хранить все равно негде. С тех пор как началась антирелигиозная пропаганда, горторг ни одного склада не построил.

— А раньше-то где хранили? — вслух подумал я.

— Когда палка в землю втыкается, куда земля девается? — шутил Негудбаев.

Поговорили об Алакула-хане.

После темноты мечети нас ослепило солнце, мы рассмеялись — ни с того ни с сего обозначилась перемена и что-то кончилось. Оказалось, что нам тут больше делать нечего, Негудбаев все осмотрел, что ему было надо. И мы пошли, пошли, миновали обрезанный минарет...

Тут нас нагнал оборванный мальчик, мягко говоря, загорелый до черноты. Был он бос и смел. Он рассказывал свой взволнованный рассказ так быстро, так по-узбекски... Негудбаев посуровел.

— Безобразие... — сказал он. — Молодец, Аман! Это один из наших дозорных, — пояснил он мне. — Его территория — колхоз имени Дзержинского. У него отец рыбак. Недавно помер... Аман! — И он спросил его по-узбекски.

— Помер тринадцатого февраля, говорит... Хороший мальчик. Беги! — он ласково подтолкнул Амана, и тот побежал. — Между прочим, дядя его отца был писарем хана. Он еще жив.

— А в чем дело-то?

— Там у них по соседству дворец Палван-бея, так они оттуда резные колонны работы народных мастеров растащили на столбы в хлопкоосушилке. А вот и хорошо, мы у них реквизируем и в Джума-мечеть приспособим...

• • •

И мы вышли из крепости.

Вот момент, когда неверующий чувствует, что вера отцов ему все-таки ближе, — любопытен. Это чужестранное чувство: православный я все-таки оттого, что совсем, наверняка, абсолютно НЕ мусульманин. Я все это не только не знал, не понимал, но и не хотел знать. Я не верил в эту модель мира — она была для меня макетом: здесь только кино снимать. И когда я образно подумал-усмехнулся, что ничего этого на самом деле нет: ни минаретов, ни мавзолеев, ни медресе, ни мечетей — все лишь фанера да картон, декорации... тут-то я и увидел, что уголок изразцового прекрасного голубого орнамента на портале одного медресе как-то странно заворачивается трубочкой. Что это? что это! — забормотал я и подбежал потрогать: это был картон. На нем кое-как, с подтеками, был нарисован орнамент. Картон отставал от стены и сворачивался трубочкой.

— Тут кино недавно снимали, — спокойно и не удивляясь пояснил Негудбаев. — Ну да, — добавил он, заметив, что я не вполне понял, — с изразцами у нас плохо, это самые сложные реставрационные работы, в последнюю очередь... Вот и нарисовали, чтобы все было в порядке, для кино.

И отметив один раз этот загнутый уголок, обнаживший бутафорскую сущность чуждого и невозможного для меня мира, я и потом, и все чаще, то там, то сям стал отмечать отстающие листы фанеры, картона, а то даже обыкновенная бумага скручивалась в трубочку на солнце. От этой материализованной нереальности все стало для меня немножко более реальным и приемлемым.

■ ■ ■

Входить куда-либо в «особенное» стоит хотя бы для последующего выхода в «нормальное»... Мы вышли из крепости — и все как-то расширилось, отворилось, вздохнуло: милее стал сор и вздор ларьков, мазанок, телег и толчеи.

— Пройдете так, — сказал Негудбаев, и я последовал не усомнившись. Падало что-то вроде площади — вниз, и налево, и вбок... — Сюда, пожалуйста.

Он пропустил меня вперед. Мы прошли узкий кривой проходик между пухлыми глиняными домишками: парикмахерская напротив фотографии... два истомленных бездельем мастера стояли под своими вывесками. Они поклонились Негудбаеву, чуть не коснувшись лбами («Обратите внимание на парикмахера, — незаметно шепнул Негудбаев. — Я вам потом расскажу...»); мы прошли между ними — и открылся внезапный просторчик, почему-то очень не вязавшийся с возможностью своего здесь нахождения, — водоем, пруд. Какие-то куши, вроде ив, квадратная гладь с зеленцой, лодочка, цветная, как поплавок удочки, молчащий фонтан посреди пруда и некая терраса в дальней стороне пруда, вроде плавучего ресторанчика, — все это нормально было для России, какого-нибудь парка культуры, и весьма странно выглядело тут, на границе пустыни, под мышкой старинной выжженной крепости Ичан-Кала.

Негудбаев молчал, любясь произведенным эффектом, его черные круглые глаза смотрели из него, как очень шустрые и любопытные зверьки-грызуны с гладким и сытым мехом.

— Оазис... — сказал я.

Он радостно закивал.

— Почистить бы не мешало... — по-хозяйски сказал он, предполагая за меня, какие тут могли быть недостатки, в этом раю.

— Да нет, так еще лучше! — уговаривал его я.

— Осторожно, не закрасьтесь, — легким прикосновением руки поправлял он мое движение.

Действительно, низкий заборчик, огораживавший пруд, перекрашивался весело в новый цвет, и голубые планочки были уже покрашены, а белые — только начаты... Навстречу нам спешил большой черный человек с мрачным изрытым лицом, и зверское выражение его лица означало, что было почему-то ясно, высшую форму радушия.

— Вот, знакомьтесь, директор предприятия, инициатор этого доброго начинания... Верите ли, если бы не он, ничего бы здесь не было. Все сам, все своими руками, за каких-нибудь три месяца...

Директор не сомневался в этом.

И пока мы сидели за лучшим для наблюдения столиком в ожидании каких-то фирменных клецок, в которых все наоборот: тесто вокруг мяса в середине яйца, — пока я хвалил и любовался, потому что отсюда был еще и вид на стену Ичан-Калы, из-за которой выглядывала пузырьком угловой башенки Кальта-Минора, пока он мне рассказывал, что парикмахер («Да, да! Такое доброе лицо», — кивнул я) — родственник ханского палача, большой любитель старины, оказал большую помощь музею...

— Немцы... — вдруг прошептал Негудбаев низким шепотом и плавно наклонился ко мне, как цветок под дуновением ветерка. — Первые ласточки...

И, отклонившись, долговато взглянув на меня, пробарабанил пальцами по колену.

На террасу скользнули две немолодые пары, оживленно щебеча кинокамерами.

— Наши или западные? — спросил я.

— Вы что, не видите! — снисходительно сказал Негудбаев. — Вы не узнаете в нем оберштурмбанфюрера?

Узнать было можно. Он шел впереди, высокий, неправдоподобной выправки человек. Это был глубокий старец с молодежьим лицом и без единого седого волоса. Походка его напоминала одновременно строевой чеканный шаг и поступь паралитика — походка командора. Глубокие складки арийского мужества придавали его лицу львиность.

— Да, — сказал я, — величественный идиот. У него недавно был инсульт?

— Как вы догадались? — обрадовался Негудбаев.

Я не знал как, поэтому многозначительно пожал плечами.

— А как вы?

— Ну, я-то военного человека за версту узнаю...

— Вы что, тоже военный? — так же склонившись к нему, как цветок, тихо спросил я.

— Да, — подумав, согласился Негудбаев. — Был, конечно.

Майор.

— Ага... — сказал я. — Вообще-то я про инсульт спрашивал...

— А-а... Вот вы о чем. Так про инсульт я просто знаю. Тут тайны нет. Он к нам еще в прошлом году собирался. Да не приехал. По болезни.

— Он что, разведчик?... — с детским замиранием спросил я.

— С чего вы взяли? — возмутился Негудбаев. — Он историк.

— А вы теперь тоже историк?

— Нет же, я вам сказал, что у меня военное образование.

Директор принес нам фирменных племяшей фирменных беляшей.

Негудбаев поманил его пальцем и шепнул. Тот кивнул.

И, начав с мальчишеской струйки, взыграл фонтанный апофеоз, ствол... Немцы заплодировали. Выглянул из-за косяка бандит-директор: так ли у него получилось? — и скрылся. Теперь фонтан расцвел в три концентрических круга лепестков: наружные — слабее внутренних так, что последний — совсем завял. Светлые струи шелестели вверх, как ангелы, и, падая, переговаривались с водою. Вид на Ичан-Калу дрожал за радужной завесой...

Немцы были вынуждены пересесть поближе к нам: все было немножко не рассчитано или так рассчитано, что, после аплодисментов, до них достигло и дошло. Дамы накиннули на плечи жакетки с видом зябкости плеч. Палуба темнела у перил, промокая. Немцы пересели, и их стало хорошо слышно.

— Вы знаете немецкий?

— Зачем? — Негудбаев недоуменно пожал плечами.

Нам подали еще чайничек с кок-чаем.

Мы беседовали под сенью струй.

— Из немцев я больше всего Бёлля люблю, — сказал Негудбаев. — А из англичан — Грина.

Я слушал с большим вниманием.

— Ну, а как там наш Евтушенко? — спрашивал он. Немцы его будто не интересовали больше...

— Ну, а что Шолохов? — спрашивал он, живо интересуясь.

Теперь мы обсуждали отказ Сартра от Нобелевской премии.

Вид на Ичан-Калу дрожал за радужной завесой...

III. ПАРАДЫ

Умеющий шагать не оставляет следов.

Восточная мудрость.

Негудбаев объявился у меня в номере, как солнце. Он обозначил утро, восход, ранние лучи, бодрость и прохладу. С площади доносились нестройные звуки юности. То пионеры маршировали и репетировали. Фальшиво, избегая верных нот, дул горнист, никак не мог попасть себе в ногу барабанщик. Подготовка к окончанию учебного года шла полным ходом. Среднеазиатские воробы чирикали звонче и охотнее наших. Мне захотелось сделать зарядку, так свеж, как бы в капельках воды, был Негудбаев. Но мне не пришлось ее делать.

— Ах вы соня!.. — ласково журил Негудбаев. — Все спите. Собирайтесь-ка по-военному, ать-два!

Я вздрогнул.

— Что я такого сделал? — кисло пошутил я.

— Вы еще не были в хлопководческом колхозе! Сами вчера признались... — твердо и ласково сказал Негудбаев.

— Не был! — воскликнул я. — Не был!

— Сейчас мы туда поедем. Надо поздравить одного человека.

— Колхоз-миллионер? — Это было единственное, что я мог спросить по такому поводу.

— Зачем — миллионер... Просто богатый колхоз.

У Негудбаева с машинами трудностей не возникало. Мы ехали.

Поздравить надо было, как я постепенно выяснил, председателя колхоза: он сегодня защитил диссертацию на степень кандидата сельхознаук.

Это был классический «маяк» — я еще классических не видел, — мне любопытно было взглянуть на миф воочию. Я был настроен скептически. Но я и не предполагал, насколько я не прав!.. Те же поля по сторонам, пустые и некрасивые... За машиной гналась стена пыли. В который раз защемило сердце,

будто, отлетев от своей любви на несколько тысяч километров, я снова уезжал от нее, еще дальше километров на двадцать, еще невозвратней... Я удалялся теперь от почтамта, вдоль дороги скучно повторялись телефонные столбы — я так вчера и не услышал ее по этой проволоке: скрип, треск, нет дома, не туда попал... Мы свернули в поле и уперлись в забор. Отомкнув сплошные ворота, мы попали в огороженную жизнь: тут было зелено и прохладно. Журчал арык, над дорожкой, красно посыпанной битым кирпичом, на ажурной решеточке вился виноград, образуя нам тень. Перед правлением колхоза, под навесиком, на топчанах сидели темнолицые дехкане и пили свой кок-чай без лепешки — род чайханы-ожидальни. Они внимательно, но не пристально смотрели на нас, не отрываясь и как-то в то же время не разглядывая. Негудбаев спросил — нам показали куда.

Это здание мне не удавалось истолковать... Оно начиналось как бы служебным помещением, конторой, дежурностью и бедностью обстановки; потом становилось как бы отдельными кабинетиками, с канцелярской обстановкой возрастающей ценности, — и вдруг вы оказывались в пышной домашней обстановке, в каком-то еще более внутреннем и более фруктовом дворе, среди ковров и трав, под сенью застекленных и распахнутых настезь террас, где солнышко, проходя сквозь фильтры листы, преломившись в плоскостях террасных надраенных стеклышек, нисходило уже свеженьким и прохладным, для подчеркивания чистоты, надраенности и отскобленности всего этого постепенно и плавно возросшего, начиная с убогой конторы: полов, перешедших в паркеты, и окон, развившихся в витражи, радиоточек, увеличившихся до цветных телевизоров, и марлевых занавесочек, эволюционировавших в знаменитое искусство ковроткачества.

Нас не ждали. Высокий полный человек торопливо поднялся от доски с нардами, от маленького и худенького своего партнера, замершего в этот миг во времени, — поднялся к нам и смутился. Был он бос, в галифе, из-под майки стекали белые пухлые плечи. Они обрадовались с Негудбаевым друг другу, и мы были представлены. Некий микроскопический кивок нашего хозяина пробудил во времени его партнера в нарды, и тот тоже был представлен как секретарь. Торопливо и скромно подав нам сухую нежмущую ладошку, он исчез.

Мы стояли на открытой террасе, лицом в сад, имея справа и слева еще по большой террасе-комнате. Мы стояли около правой, левая была вдаль, как бы на вытянутой руке. Там сидели

в кружок женщины на таком расстоянии, что нельзя было отличить старую от молодой. Насколько можно было судить, наше появление было ими никак не отмечено, и тем не менее хозяин тут же проводил нас — три ступеньки вверх — на правую, «мужскую», террасу, и двери за нами закрылись. Оставив туфли у ступенек, неуверенно ступая по толстому ковру, я оказался в той обстановке, где не было места обуви и женщинам...

Пока я приобщал сервант к телевизору, а ковры и пуфики к четырем красным пятиконечным крупным звездам, старательно и самодеятельно нарисованным в углах потолка, — хозяин обулся в носки и надел подходящий к галифе френч. Я представил его себе выходящим ранним утром, с образцовым восходом на фоне, на хлопковые его нивы — он вписывался, он сошел с картины. Господи! ведь всякий пейзаж — существует! — даже такой, в который я и не верил никогда, что он есть, который представлялся мне фантастическим уже в силу убожества художественного воображения живописца, — так этот пейзаж тем более есть: вот он, — природа предусмотрела все, любой прообраз...

И пейзаж его лица напоминал то некрасивое, но полезное, многожизненное поле. Лицо его было отечно, бледно, изрыто, устало. Он был раздражен усталостью: к сегодняшнему дню наука была наконец пройдена. С наукой было покончено, начиналась степень кандидата — и это еще не отступившее напряжение, но и не подвластное уже расслабление, эта одновременность усталости лежала в ямках его изрытого лица теньями власти и раздражительности. Все это, однако, можно было лишь заподозрить, но не доказать: по европейским нормам он держался прекрасно и любезно, по восточным — был вне себя, возможно.

Ему, как говорится, только нас сегодня не хватало. И если с Негудбаевым у него еще были тайные для меня, за языковым барьером, темы, то я был не годен для употребления, и он не мог примирить мой вид с моим мандатом — он не верил, он был умный человек.

Вернулся секретарь, партнер по нардам, внес кок-чай и лепешку — тут хоть появилось занятие, ритуал, всем стало более по себе: ополаскивание пиалы, обряд преломления лепешки...

Как описать то впечатление ума, которое произвел на меня хозяин? Это был ум, в котором я не имел опыта и ничего не понимал. Это был ум, имевший силу и не имевший родства с моим. Другой ум для него не существовал и потому был непонятен, или наоборот. Он упрочался в своем уме. Он был скрыт

от меня: он был за френчем до верхней пуговицы, за сонным падением опухших век, он был за взглядом, то длинным, то коротким, который каждый раз устанавливал новую связь для себя, что можно было заметить по стремительному удлинению, как уколу, и внезапному укорочению, захлопнутости, усталому опусканию век — выводу. Взгляд этот не выдавал себя никакой эмоцией, он выдавал себя — силой. Силой того, что тебя видят только так, как видят, не иначе, силой окончательности и резкости видения в собственном лишь представлении. Обжалованию не подлежало. Я представил себе крепость его правления, оправданного выгодой государства и пользой среднестатистического труженика, и поежился. Цели его были мне неясны, но те, которые я мог представить, были лишь средствами еще одной, его цели. Все то, что я у других считал за цели, тут было лишь средством: и польза, и выгода, и кандидатская степень. Вот, подумал я, человек, для которого средством является то, что для других является целью, — он и занимает более высокое положение, так правильно. И неизвестна никогда цель вышестоящего нижестоящему, понять ее — это пройти к ним. Это было для меня за семью печатями, и я занялся более легкими и более пластическими наблюдениями: за медленным и плавным развитием стола, зарождением пира...

Сначала не было ничего, и не известно, что было с этим делать, я не был посвящен в тайну предстоящего времени, — можно было подумать, что так и надо: посидим, поговорят еще хозяин с Негудбаевым, и пойдем. И был кок-чай, и была лепешка, час второй. Можно было подумать, что это все: чай для вежливости попьем — и домой. Сколько хотел хозяин про меня понять, столько он уже понял; сколько я мог про него понять, я тоже понял; с Негудбаевым же они давно знакомы. Но тут появлялся секретарь и вносил редис и лук, час третий. Это было, по-видимому, к лепешке, я укусил редиску, но оказался в этом одинок. Снова появлялся секретарь — после него около ножки стола остался стоять армянский коньяк и боржоми. Хозяин бровью не повел, и мы не повели: стой себе и стой около ножки, никому не мешает — бывает...

Каждый раз время замирало так надолго, что казалось, столько, сколько в него поместилось, — поместилось уже навсегда. Тут-то и намечалось небольшое прибавление, намек на развитие, и опять все замирало навсегда. Я не мог обнаружить логики и связи, потому что существовал в своем, быстротекущем времени, а на скорости, свойственной этой террасе, все процессы, имеющие для меня логику, замирали, прерывались

и переставали существовать. И вот, когда я совсем уже переставал понимать, чего мы ждем, — входило дымящееся, волшебное, тугое облако, райский аромат: вплывало огромное блюдо, за ним, откинувшись всем корпусом назад, чуть видимый из-за дымящейся горы, с дрожащим, как мираж, за горячей завесой испарений лицом, — секретарь в носочках. И был то плов — венец творения. И сказал Господь: хорошо.

На место стали и редис, и лук, и коньяк. И мы. И входил новый гость...

Он являл некую противоположность глиняной суровости нашего хозяина — такой лошенный, элегантный, с лысиной на пробор, похожий на министра внутренних дел какого-нибудь красивого шаха. Это был сосед, председатель соседнего колхоза; тоже заехал поздравить с защитой. Провозгласили — чокнулись. Но этого было мало — вот что оказалось: он заехал поздравить своего друга, — то-то такой нарядный! — получив орден, прямо с церемонии вручения. Не может быть! Столько радостных событий! У разных людей! Одновременно! Я бы не поверил. Но вот они, эти глаза, которые были тому свидетелем. Наш гость скромно принял наши поздравления. Вот что стало в связи с этим предметом нашего обсуждения, в которое сочли возможным посвятить и меня: почему так вышло, что только и всего лишь этот орден, а не более высокий? Ведь должен же был наш друг получить его, был представлен!.. Да... — покивали, посокрушались мы.

— Зато, — сказал я, все поняв, чтобы его утешить, — это самый новый орден.

С этим нельзя было не согласиться.

— Таких кавалеров пока меньше всего, — примиренчески сказал я.

— У него тоже есть, — сказал новоиспеченный кавалер.

Я взглянул на хозяина — тот кивнул, не отрицал.

— Да, обидно, — сдался я. — Обидно, что не Звезду..

— Звезду тоже получим, — бесспорно сказал Негудбаев.

Никто не возражал. То ли от скромности, то ли от того, что он был прав.

— Покажите, я никогда не видел, — попросил я, довольно-таки по-детски.

Тот охотно достал коробочку.

Волнуясь, торопливо оттирал я руки от плова — и все мне казалось: недостаточно. И вот, бережно, как бы пытаюсь уменьшить прикосновение ладони, держал я высокую награду, которой никогда до сих пор не видел, которой не заслужил...

Тихо плыл наш пир и развивалась беседа. Но только наш разговор коснулся порядков при Алакула-хане, только мы заметно оживились, коснувшись приятной темы многоженства, как появился новый гость, тоже сосед, тоже поздравить. Директор соседней стройки, бывший агроном. Друг общий. Этот был помоложе, попроще на вид, похожий на героя среднего производственного романа тридцатых годов. Он поздравил с защитой и поздравил с орденом, но и его, оказалось, надо поздравить, потому что он только прилетел из Ташкента, защитив наконец диплом в Строительном институте. Я чокнулся с ним с особым вдохновением: это было уже слишком! Если бы я прочел об этом в романе в некоем толстом журнале — еще куда ни шло. Ну, подумал бы я, дядя зарабатывает деньги... Но я этот апофеоз видел своими глазами. И если выше я восклицал о пейзаже, что любой найдется в природе, если он только мог быть кем-либо вообразен, то теперь мог заключить то же самое и о житейских ситуациях: все существует, что ни наври и из любых побуждений, — всему найдется место, хотя бы в качестве исключения, частного или редкого случая. Да, подумал я, необязательно именно моим глазам принадлежит реальность, другие — тоже видят, свою...

Я-то теперь и свою не видел. Я спросил хозяина, случается ли ему говорить с Москвой. Он кивнул. Я спросил, как же он с нею связывается. Он чуть ткнул властно-пухлым пальцем на аппарат-рояль, покоившийся на почетном, шитом золотом пуфе. Я облизал пересохшие губы: разные вещи имели мы в виду под словом «Москва». Так я сидел, облизываясь, как самоубийца, с незримым телефонным проводом на шее, сидел и сидел...

Этим парадом трех передовых представителей современного Узбекистана и закончился этот теплый дружеский вечер, который я вспоминал наутро, проснувшись в своем номере в Ургенче.

IV. ШҲРА

Не очко меня сгубило, а к одиннадцати — туз!

Карточная поговорка

И был первый по-настоящему жаркий день... Воскресенье. Голова и легкое расстройство от обильной вчерашней трапезы давали о себе знать. В номере не шла вода. Было душно. Духовая музыка доносилась из жары за окном.

Я вышел на балкон, и если остыть было невозможно, то хоть мгновенно просох. На площади тренировались в парадном марше милиционеры. Их строй был пестр, сине-сер: не все счастливы, не все еще перешли на новую, дипломатическую, форму — маренго. Синие были из районов. Шел всеобластной слет хорезмской милиции.

Нестройные пионерские парады, значит, уже прошли... Миновали, как утренняя свежесть.

Впечатления и развлечения двух дней, отодвинувшие было ту смуту предчувствий, что сопровождали мой сюда прилет, теперь от жаркой отечности и потности утра — какого утра! знал бы я, что часы стоят, — полудня, — навалились на меня с отдохнувшей за эти два дня силой. Да что это я! где это, к чему?... когда там сейчас...

Тошно было и неуютно. Спасительной живой опеки Негудбаева не было рядом, чтобы снова не заметить в углу свою брошенную, но верную мне, несчастную жизнь, которая из разлитой в свое время, поскользнувшись, субстанции все более обретала вытянутую форму судьбы.

«М-да, — думал я, стонал и кричал. — Дожил... Эх... Да что говорить! О Господи! Куда уж там. Ну да ладно!»

Шел пить кефир. Это еще было спасение, что по утрам здесь мог быть кефир... Что же дальше? В киоске Союзпечати приобрел набор красочных открыток с видами Хивы, чтобы рассмотреть, где я был. На обложке набора было написано трижды, на трех, по всей видимости, языках: ХИВА, ХИВА, и КНІВА, — значит, по-русски, по-узбекски и по-иностранныму...

или, может, наоборот — по-узбекски, а потом по-русски? Буква Х (ха) ведь, кроме всего, еще может означать «ИКС». КСИВА — прочел я тогда первую надпись. Голова, по-видимому, еще неотчетливо соображала. Или кефир с жарой?.. Утренние эффекты были тяжеловаты. На базар, на базар! Там и пиво, может, найдется.

Базар! — вдохновила меня эта идея. Так я себя когда-то убедил, с чьих-то слов, что базар — это жизнь, это проза, это правда, — так и сейчас надеялся... Вся, мол, эта муть моего сбившегося с ноги самочувствия жизни — обретет, ведь обретет! и станет! И жара, и мигрень, и эти тени на живой еще пока, в мае, траве... Но не было и строчки прозы в моем одутловато-сосудистом самочувствии, в мутной, крутой волне, поднимавшейся вместе с кефиром со вчерашнего дна... Мигрень-траве... мой истощенный мозг подбирал уже с полу и то ронял. Плюшкинское чувство бездарности владело мною. Запомнить, не забыть, увидеть — повелительное наклонение слепца. Деталь! ни одной детали не наблюдалось в мире: он был справедливо слит воедино, расплавленный жарой в студень заварной жизни. Я отступал перед ее плотностью. «Уж если я не увижу базара, то я ничего не увижу», — приговаривал себя я, как проигравшийся игрок, рассчитывая на последнюю ставку... Ах, если бы я знал тогда, сколько опережающей правды содержится в этом моем сегодняшнем проходном сравнении по отношению к тому, что меня тогда поджидало!..

Базара я не увидел.

Поднявшийся с полудня раскаленный ветер гнал пыль и мусор вдоль пустых прилавков, скручиваясь в смерчки на перекрестках рядов. Одинокая капуста у одиноких же, безнадежных, торговцев серебрилась пыльно и голубовато; кочан — не образ ли одиночества? Горстка мятой клубники по 4 р. кг — в Москве дешевле... Кран зеленый над неровной и осклизлой, похожей на обмылок хозяйственного мыла чашей — напоминал о холере. Мать приподняла своего чумазого сыночка, поставила на край чаши, и он слизывал набегавшие с крана капли — вода не шла. Старик, торговавший клубникой, смотрел на мальчика и тоже хотел пить: наливал себе в пиалку остывшего кок-чая из старого шербатенького чайничка с медным луженым носиком на месте былого отбитого. И эта тщательность нищеты и вечность жизни предметов напоминала об уходящих ремеслах базара: ремонт битой посуды специальными медными скрепочками, очень аккуратно (я еще помнил этих базарных мастеров со времен эвакуации), — теперь,

пожалуй, разве что только этот старик знал последнего тако-го же, как он, старика, и тот вспомнил свое мастерство по дружбе...

Этот сифилитический чайничек — деталь моего тресну-того мира, подобие, укол — задел меня за неживое куда боль-ней!.. Пива не было, конечно. Я побрел по этой пыльной пустыне прочь с тем чувством, что и разочарованием-то на-зывать нельзя. И тут, на улице, взгляд мой, которого я уже и не поднимал, споткнулся и вздрогнул, как от удара: на тротуаре, на сером и тусклом фоне засохшей и пыльной грязи, стоял ярко-оранжевый, с переливом по краю, огромный эма-лированный таз, полный весенних азиатский роз! Они плавали в тазу, покрыв поверхность воды сплошным слоем, — не было зрелища прекраснее и страшнее! Это были отрубленные головы роз, какая-то сюрреалистическая язва базара. Это бы-ло страшно, как распоротое брюхо... не знаю уж, что со мной творилось, — я поспешно отвел глаза, как от несчастного случая... и то, что я увидел отшатнувшись взглядом, — и было целью моего путешествия, во всяком случае, его средо-точием, — впрочем, я еще не знал об этом — я видел пока лишь небольшую группу спин, сгрудившихся вокруг чего-то, о чем я только еще через минуту, решившись на любопытство, отчаюсь иметь представление... Никак я не знал, что, отвергая намеки и знаки своей судьбы, не замечая холодненьких уколов моей звезды, погасшей, быть может, и очень давно, но еще славшей мне свой когда-то бывший свет; отрицая томление предчувствий и не находя в своей жизни еще раковых намеков на рок, на поражение, тупо сопротивляющийся очевидности, был я подтолкнут мелкими, доступными судьбе, незаметными движениями повседневных неудачек именно к этому мгнове-нию, к этой точке пространства, точке воссоединения со своей судьбой.

Вот вам отбитый носик чайничка и розы в тазу... пусть это и будет — базар и жара. Бедностью деталей и обозначим бедность и подойдем вместе со мною к толпе...

— Кто еще? Последняя карточка! Кто еще?..

Так выкрикал парень, которого я увидел первым из всей толпы (он и оказался первым), потом уже, время спустя, раз-глядел я его напарника, более суетливо и смазанно, и затем лишь — толпу, большинство, частью которого являлся сам. Была в этом парне для меня необъяснимая притягательность: что-то забытое из детства, когда нравится (род влюбленности) старший — какая-то надежность, прочность и возможность

дружбы, несмотря на столь значительную разность в возрасте (это, конечно, было в нем, и я мог вспомнить такое детское чувство и узнать его — только теперь этот парень, герой детства, был младше меня). Блатные, их младшенькие «корешки», послевоенность... В общем, он мне нравился. Это чувство тем более было приятно, что давно уже его не бывало: те, кто нравился в детстве, выстарились и потеряли тот шик, а новые — стали соперниками. Парень обращал на себя внимание не только потому, что был действительным центром этого собрания — вы его видели первым из всех. — еще и потому, что он — вас видел. Он видел все, ничто не ускользало от внимания этого мастера, непринужденно и точно занятого своей работой. Потому что это была именно работа и занят ею был именно мастер. Все это доходило до меня постепенно, пока я стоял в сторонке и изучал, как пушкинский Германн, и в полной мере дошло лишь потом, но и с первого взгляда эта небрежная собранность аса привлекала в нем, как в пилоте, как в водителе, когда вы расслабленный пассажир, как в человеке, умело занятом тем делом, которым вы не владеете, но в котором нуждаетесь. Он был занят, но по брошенному вскользь взгляду я понял, что и я, приблизившись, был им отмечен. Этот взгляд зелено-серых близко поставленных глаз отличался снайперской точностью, но каким-то образом не был злым и хищным и, несмотря на неумолимость, не отталкивал и не пугал. Коротко стриженная белокурая голова его казалась маленькой на столь могучей шее, переходившей в очень покатые плечи. На нем была тубетеечка, а из рубашки с короткими рукавчиками виднелись бугристые быстрые руки. Вот чем они были заняты, автоматически, ловко, спокойно, пока я стоял, как медленный Германн, пока незаметно и сосредоточенно работали его глаза... Вот что я разглядел.

Перед ним, на небольшом столике, была разостлана некая скатерка, род самобранки... Она была расчерчена на сорок восемь последовательно пронумерованных квадратиков. На каждом из этих номеров помешался приз стоимостью от двух до тридцати рублей. В игре участвовало шесть человек, покупая свое право играть за рубль. У крупье (назовем его так) было шесть карточек, на которых вразброс были записаны те же номера от 1 до 48; на рубль выдавалось, значит, восемь номеров. Когда шесть рублей бывали собраны, игра кончалась так же мгновенно, как начиналась: левой рукой крупье запускал диск размером с небольшое блюдо, расчерченный на сорок восемь

пронумерованных последовательно секторов, а правой нажимал на спуск маленького духового ружьёца. Номер, который поражала на круге пулька, выигрывал.

— Двадцать второй... — ровным голосом провозглашал крупье. — Вот эта вещь. — И он приподымал над двадцать вторым номером скатерти то ли табакерку, то ли сувенир «орел», то ли будильник... — Вот это вещь. Четыре рубля. Берешь ее или деньгами?

Выигравший «вещь» не брал, а брал четыре рубля и, вдохновленный, снова входил в игру. (Лишь один раз кто-то потянулся за выигрышем: то была карточная колода. «Слушай, дорогой! — взвотнованно попросил крупье. — Нам она вечером нужна. Возьми деньгами, а?»).

Называлось это почему-то «итальянской лотереей» от Министерства культуры. Так объяснил наш крупье какому-то неигравшему праздному туристу. «Вывезли из Италии», — пояснил он. Оборудование, однако, было похоже на итальянское много меньше, чем «Жигули» на «Фиат». Вся эта механика: и диск, и ружьёцо — выглядела достаточно потрепанно и топорно, но служила своему хозяину, по-видимому, достаточно исправно.

Демократичность ставок, быстрота розыгрыша и безусловный выигрыш одного из участников делали лотерею привлекательной. Система розыгрыша тоже внушала доверие, поскольку вообразить ее управляемой было невозможно: карточки тасовались и раздавались без выбора, в той последовательности, в которой каждый решался рисковать своим рублем; выстрел производился с расстояния менее пяти сантиметров в круг, вращавшийся с такой скоростью, что цифры сливались неразличимой полосой, — никаким обманом не пахло. Чистая статистика, при которой проигрывают все-таки больше, чем выигрывают, — вот доход лотереи. Такое безусловно производила она впечатление, и успех ее у играющих казался справедливым. Хочется тебе позабавиться случаем — пожалуйста.

Машина лотереи действовала ритмично и слаженно, как часы. У нашего снайпера был подручный на кассе: он собирал ставки, давал сдачу, выдавал выигрыш. Этот тоже был симпатичный, но более походил на жулика: он не был мастером. В руке у него была стопочка рублей, а рядом железная plombированная шкатулка со щелью. Мне так и не удалось заметить, когда он опускал в нее деньги, так же как я ни разу не уследил, куда деваются пятерки и десятки, которые он

разменивал у играющих, — в руке у него неизменно оставались лишь рубли. Таким образом (правда, лишь к концу игры), понял я, в чем состоял доход держателей лотереи: его, по-видимому, можно было сравнительно точно учесть, фиксируя обмен денег на рубли, число же рублей оставалось почти неизменным — они оборачивались. У подручного работа была вроде не пыльная, но и он не покладал рук, раздавая и принимая рубли; главный же, снайпер, не находился в простое ни секунды — раздавал карточки, заряжал, стрелял, объявлял выигрыш, тут же снова раздавал карточки. И эта его способность не суетиться, не делать жадных и азартных движений, а держаться с виду даже как-то лениво и неторопливо, в то же время ни на секунду не замедляя стремительного ритма и не сбивая пульса игры, — эта его способность не поддаться судороге азарта была похожа на достоинство. Да, именно достойным было поведение этого человека, занятого сомнительным делом азартной игры. Если бы у него был вид жулика или пройдохи, суетливый и мелочный, никогда бы я не соблазнился... А тут, раза два обменявшись с ним как бы насмешливыми, понимающими наивность играющих взглядами, я и сам не заметил, как, снисходительно усмехнувшись, протянул ему рубль.

Ах, этот переход! Тут же исчезло все: улица, базар, играющие... Только гипнотизм доставшихся мне на игру цифр, вращение круга и — ненахождение выигравшей цифры на моей карточке...

Сначала я поставил как бы в шутку, как бы рубль. Рубль дела не менял, и я поставил второй. Трех рублей мне уже не было жалко, а пяти — было, и на пяти я решил остановиться. Надо сказать, что деньги в последнее время давались мне с трудом, и я отвык ими раскидываться. На пяти я решил остановиться, но тут наш мастер взглянул на меня с симпатией, как свой на своего, как интеллигент на интеллигента среди этого базарного, поглощенного простотою судьбы люда, — и я сразу же выиграл, почти столько, сколько проиграл, и теперь с полным основанием продолжал ставить. Мне теперь «просто не везло», и я залез за пятерку, когда снова выиграл. И так шло до тех пор, когда я обнаружил, что проиграл уже десять рублей. Но этих десяти мне было совсем не жаль, мне их было жаль меньше, чем пяти, потому что я, единственный среди этих замороженных, понял игру. Ощущение крупности проигрыша было явно качественным, а не количественным: пять — было много, десять — не много, девятнадцать — опять

много, двадцать восемь — как раз. Масштабы сместились, как в жизни. «И в жизни... — думал я, потому что уже обрел время в игре, мог наблюдать и думать, я был старожилom игры, мне все было ясно, я уже жил в этой игре, а не просто был поглощен азартом, в помещении игры у меня появилась своя мебель... — И в жизни, — думал я, — мы ставим то на весь банк, то по копейке. И по копейке нервничаем часто больше, чем «ва-банк». Ва-банк — это поступок, и он приносит облегчение и удовлетворение даже в случае проигрыша, потому что что-то наконец произошло...» Любопытно было в спокойном равнодушии к маленькому теперь в сумме всего проигрышу одному рублю, поставить который перестало быть переживанием, потому что переживанием был весь проигрыш, а не какой-то из него рублишко (я был пойман масштабом и неожиданностью своего преступления перед трудовой копейкой и мог себе позволить небольшой шик как бы независимости от нее), — любопытно было наблюдать переживания «новеньких», с моей-то высоты. Любопытно было наблюдать, когда они не могут смириться с проигрышем и когда лезут на рожон и как вдруг смиряются с ним; любопытно было наблюдать тихое, безоглядное испарение проигравшего... Нет, люди теперь не проигрывают больше того, что могут проиграть. Они проигрывают все, что у них оказалось в кармане, не больше. Но что бесспорно, думал я, глядя в эти сомкнутые, покрытые спокойствием лица, в чем поучительность, что можно ручаться за общность чувств всех шестерых. Эта одинаковость переживания не была одиночеством. Люди не одиноки у игорного стола; не надеясь на сочувствие или поддержку, они одинаково не надеются на нее и в этом не одиноки, но они могут поручиться, что все шестеро заняты в этот момент одним и тем же, — чувство, не часто посещающее нас... Что говорить, одинаково странно ощущать свои деньги в чужом кармане. Одинаково странно приобщаться к мысли, что деньги — вообще ничьи, что это некий эфир, что это некое качество — деньги, а не просто присвоенные бумажки. Да, в какой-то момент игры, довольно близкий к началу, люди играют уже не на деньги, а на сюжет, на судьбу, на точность предчувствия; на совпадение в реальности — на жизнь и ради чувства жизни. Это ты сейчас проигрываешь и никто другой. Тут все уравновешено: и в проигрыше есть своя справедливость и свое удовлетворение, как в выигрыше — неудовлетворение и даже насмешка. Поэтому ты проигрываешь и выигрыш. Забывать о «заработанности» этих денег, об их нищете

и тшете — в конце концов род удовольствия, за которое тоже можно платить. Даешь же ты деньги в долг без надежды на возврат? Игра — это хорошая тренировка отношения к деньгам... так утешал себя я, потому что денег было жалко. Их было жалко, как миленьких, как маленьких, как родных.

Я играл достаточно долго, слишком долго, дольше того карманного запаса, на время истрачивания которого была рассчитана и безукоризненно срежиссирована психология базарной лотереи. Расчет на дурака не велик. Трудно было предположить самому, что я оправдывал такой расчет... Я отыгрывался, и я проигрался. Со мной все складывалось не лучшим образом: «жадность фрайера сгубила», как говорится (я полагал, что держатель лотереи думал про меня именно этими словами). «Не очко меня сгубило, а к одиннадцати — туз!» — какой мудрой казалась мне эта истина: к концу моего проигрыша она гениально вмещала в себя опыт всего мира.

В это трудно было поверить, но наш хозяин был не только исполнителем, не только организовывал и гнал игру — он владел игрой! То есть он знал, куда попадал, и попадал, куда знал. Это было истинное мастерство, цирковой номер, это уже было искусство! Первое подозрение возникло у меня, когда кто-то услужливо принес ему кружку пива (откуда? я ведь все обыскал). Чтобы игра не прерывалась, он передал мишень своему приятелю-кассиру: дело нехитрое, доступное каждому. Тут-то я и обратил внимание на то, с какой остротой и неуверенностью взялся тот за дело. Но, решившись, выстрелил неудачно и выдал выигравшему восемь рублей. И второй раз — семь. «Постой, постой! — откровенно сказал главный, торопливо доглотнув пиво. — С тобой вылетить в трубу...» Не удалось ему расслабиться и покейфовать с пивом — пришлось вправлять игру в прежнее русло. В среднем он имел всего рубля два с кона — это была сдельная работа: помножать число выстрелов на два.

Оплошка напарника лишь навела меня на подозрение, а подозрение подтвердилось рядом более тщательных и дифференцированных наблюдений. Тут-то я и понял остроту его взгляда — он стрелял в цель! Зафиксировано ружье, зафиксирована ось, расстояние равно нулю — и он попадал. Я поймал этот его взгляд сначала на чью-нибудь карточку, потом на круг, потом ту долю, то кратчайшее дление, когда он нажимал на спуск, — сомнений быть не могло: выигрыш получал тот, на чью карточку он взглянул. Я было низко заподозрил, что он дает

выигрывать «своим», а они потом как-нибудь с ним делятся... Так он два раза подряд дал выиграть тому подозрительному малому, что приносил пиво, — и тот исчез тут же, не продолжал игру, с тем чтобы значительно позднее, когда сменится состав играющих, появиться снова... Я слишком давно уже играл и слишком много проиграл, чтобы не действовать нашему хозяину на нервы. Вот ведь еще что, почему он мастер, он играл — с каждым! У него был свой сюжет с каждым из играющих, со мной — мой...

Но опять не то я проигрывал и не то выигрывал. Я репетировал что-то другое... Ах, это другое уже длилось, и когда еще началось? Еще тогда... Вот то ее, тогда, вдруг лицо, когда она смотрела, как из прошлого, как в прошлое, то ее материнское лицо, обращенное к тебе, будто тебя не видели с того первого раза до вот этого взгляда (потому что ты был неотделим, тебя и не видели, теперь — видели), и те ласка, и тепло, и внезапное понимание — как было не понять, что тогда произошло, откуда бы взяться тому внезапному взгляду грустного любования светлым воспоминанием о тебе, когда ты — вот же он, как рядом был, так и есть... Вот то и был разрыв, то и была просьба, то и был намек что-то еще постараться сделать, пока не поздно, — моление... Дожить до того, чтобы не видеть то, что и слепому видно, — до нереальности, до невидимости, до хорошенького незнания, до знакомства. Ну как тут было не ждать грозы!

Ах, репетиция жизни! Вот что существенно: я проигрывал, прекрасно это зная. То есть зная, что я делаю. Что люди, начиная что бы то ни было, как раз начиная, прекрасно знают, что они делают, — в этом я убежден. Потом они забывают в силу продолжения, а потом уже — не знают. Все так откровенно в этом мире! Любой обман — это лишь жест, с которым тебя подводят за руку и показывают пальцем на то, что ты продолжаешь не видеть. Разве не знал я, что он играет наверняка? Разве не знал он, что я это уже понял? что мы продолжали проверять?... Тут-то и начинается игра, когда каждому становится известно, во что играет его партнер, но зато все менее известно, во что играешь ты сам. Тут и начинается игра, и тут-то я и проигрываю. Проигрываю уже не в игру — проигрываю ЕМУ. Партнеру. Он меня сильнее, что меня и привлекает. Я могу ему проиграть и делаю это очень четко и доказательно. Как вспышка, пронеслось во мне лицо моего соперника, куда более конкретного, чем этот напротив, куда более грозного, чем я мог допустить, куда более серьезного,

чем я хотел бы бояться. Он — был! И каким-то таинственным, одному сознанию известным способом оно вычитало из себя именно его, давая волю предположениям самого фантастического толка, лишь бы не увидеть того, что есть под самым носом... Перед моим носом был игорный стол, и — на то она и игра, что затмевает на свое время все — мое открытие не потрясло меня. Лицо истинного соперника было легко вытеснено живым лицом лотерейщика, которому я проигрывал не жизнь, а всего лишь деньги. На десяти, допустим, рублях я понял, что он попадает, куда ему надо. Тут бы мне и сделать вывод, и уйти благодарным за науку. Но меня и еще кое-чему учить было надо...

Разгадав тайну, я тут же возжелал похвалы и поощрения, мне было одиноко с моим открытием — я захотел дать ему понять, что я его понял. Наступил момент, к пятнадцати рублям, когда я сумел дать ему понять, что я понял. Я поймал его взгляд на своей карточке, когда он решил дать мне немножко отыграться, и дал понять ему взглядом же, что я понял и благодарю его. Я полагал, что, поразившись моей сообразительности, а главное, моей тактичности, при которой я никому не открываю тайны понятой мной игры, он вступит со мной в некое соглашение, примет в свою молчаливую корпорацию и, чтобы купить мое молчание, даст мне отыграться: на большее я не претендую, чем на то, чтобы мы, как равные, как посвященные в одну общую тайну, расстались бы при своих... Это было очень пошло с моей стороны.

Он справедливо рассердился на меня. Он больше не подымал в мою сторону понимающих глаз. Он откровенно давал мне понять, что я больше не выиграю никогда. Он нарочно отдавал мои выигрыши одному бесхитростному дурачку — и тому «везло». Меня поражало, что он не боится разозлить меня, ведь я понимал его игру и мог выдать, а он этого не боялся. Я так долго уже простоял у стола, что знал еще больше об его обмане и уже мог бы доказать ему чуть ли не математически, чуть ли не документально. Но — чуть. Я знал его излюбленные номера, в которые он попадал. Их было не более десяти — было нетрудно заметить, что все который раз заходит на прежний круг. На номере семнадцатом громоздился, например, самый большой выигрыш — хрустальная телевизионная башня, она же лампа-ночничок, — она была покрыта такой глубокой пылью, что было ясно: выигрыш на нее не падал никогда. Вот эта вещь, вот эта вещь и вот эта вещь — табакерка, сувенир-портрет и часы-будильник — они обраща-

лись как рубли в руках кассира. Я все это видел, да он и не скрывал: все открытее, усталей и откровенней становились его труды по ведению игры, сводясь к наиболее простым. Он видел, и я видел, и он видел, как я видел. — и не считался с этим. Наоборот — он негодовал. И я проигрывал ему не в эту игру, а в другую — в правоту. Он был прав и несомненен, я — нет. Но почему же он не опасался, что я отвечу ему тем же, что я рассержусь и выведу его на чистую воду? Но зачем же было его подозревать в нехорошем отношении ко мне? Он просто не полагал меня способным на такое, а вот мое тупое упрямство в проигрывании выводило его из себя. Да полно, почему это я думал, что я один понимаю эту игру? Почему же все держат свои карточки открытыми, подставляя его взгляду?.. Не показалось ли мне, что игра давно стала идти так скучно, так формально, словно всем давно пора было бы уже разойтись и лишь я, завидуя, не отпускаю? Его наперсники по игре что-то давно уже не меняются, сведясь к тому, что бегал за пивом, к тому «дурачку», что подряд все выигрывал, и еще к трем примелькавшимся уже лицам...

Пора! Так легко я вдруг понял, что — все, момент насыщения... это было плавно, как парение: так тихо уплыл от меня стол, пустое место тут же сомкнулось, — меня не было. Я уже подходил к гостинице, такой солнечный, бодрый и пустой, молодой и свежий, словно ничего не было. Эта лечебная процедура сняла с меня и похмелье, и жару, и возраст. Я шел как мальчик. Я сочинял проченький рассказец об этом поражении, каких давно не сочинял. Он был в третьем лице. Фамилия героя была Карамышев. Рассказ должен был начинаться просто, очень просто... как-нибудь так: «Была весна...» Нет, конечно. Или по-толстовски: «Как все молодые немолодые люди, Карамышев любил повторять, что доверяет только тому, что...» Но и это не годилось. И опять эти затруднения с выбором профессии Карамышева... Тьфу на это третье лицо! Но там, в конце рассказа, должно быть такое место, когда герой, проигравшись, идет в ресторан, и вот когда приходит, то удачливый его партнер уже там сидит и с аппетитом, неторопливо ест свой лагман... И тогда Карамышев берет обратный билет и улетает назад, туда, откуда улетать ему и не следовало...

Нет, наша фантазия никогда не обгонит жизнь! Я вошел в ресторан с этим фантастическим предположением — так он там сидел и ел, и именно лагман, хотя невозможно было бы представить, как это он так быстро обернулся: ведь я шел прямо, никуда не сворачивал, не заглядывал, а ему надо было ведь еще

скатать свой балаганчик, сложить свои игрушки... И пока я дождался, что ко мне подошли принять заказ, он уже удалялся, отобедав.

Это совпадение заставило меня поверить в действенность творческого воображения, и этот вечер прожил за меня некий Карамышев, решительный молодой человек, однако страстный и глубокий. Карамышев ждал свой лагман и производил небольшие расчеты в своей записной книжечке, как-то:

проигрыш — 48.00

обед — 3.80

открытки — 0.28

Обед показался таким дешевым!.. «Жадность фрайера сгубила» — приписал он под счетом и, подумав, приписал еще одну усвоенную им сегодня истину: «Фрайера учить надо».

Тут происходит такой поворот сюжета: к нему оборачивается с соседнего столика субъект, довольно-таки страшного вида, и очень нежно просит:

— Дай стишки-то почитать...

— То есть какие стишки? — недоумевает Карамышев.

— Ты же стихи сейчас писал?

— Нет, не стихи.

— Ну да, рассказывай... Я видел, как ты стихи писал.

— Да нет же, никаких стихов я не писал!

— Писал, я видел.

— А хоть бы и писал, вам-то какое дело!

И тут смолкает вся компания. И так сидит с поднятыми фужерами. В которых смесь водки с простоквашей — местный напиток. Вот так они замерли и смотрят на Карамышева.

Мир перед Карамышевым прозрачнеет. Куда-то проваливается вниз какая-то земля, какой-то там земной шар — от приступа страха и бесстрашия, что одно и то же.

— Почему я вам должен давать читать? — не выдерживает Карамышев молчания и презирует себя за это.

— Ну, тогда сам прочти, — примиренчески говорит этот страшный на вид, но добрый в душе человек.

— Ну, читать-то я тем более не буду! — возражает Карамышев и понимает по потемневшему взору визави, что усугубил он сейчас, усугубил...

— Да ведь не стихи же! говорю, не стихи! — взрывается тогда он — и такая глухая тишина раздается вокруг...

А тот, добрый в душе, медленно подымается со своего, скажем так, места и оказывается очень высоким и громоздким человеком.

— Покажи.

— Зачем?

— Покажи, и все.

Ослепительная догадка помогает Карамышеву, он ухмыляется ледяно:

— На же, смотри! — и сует свою книжечку. — Где стихи? Читай! Читай последнюю запись. Это стихи?

— Фрайера учить надо... — медленно, по складам, читает гигант.

— И что ты скажешь, — пискнул Карамышев, — что это не так?

Все, что было за столом, тихо поднялось, как пена, заволокло, вовлекло в себя Карамышева и комом, без крика, покатилося к выходу, в совсем счерневшую азиатскую ночь, и тут, на площади, по которой при ярком солнце проходили нестройные милицейские парады, прямо за киоском Союзпечати, в темной густой тени пыльной ночной листвы, Карамышева начали понемножку убивать. По справедливости и за дело. Что, однако, Карамышев понял значительно позднее. Что еще не намекает на то, что убили его не до конца и он выжил. Потому что такие вещи хорошо осознаются как раз в раю.

А пока что ему говорят: ты чего, говорят, сюда приехал? Говорят и начинают убивать. За дело. Потому что действительно: чего это он сюда приехал, когда совсем не того настойчиво требовала от него жизнь. Но Карамышев не признает пока в этом справедливости. Потому что он путает законы возмездия с уголовным кодексом и правами гражданина, потому что применяет к законам судьбы и рока аппарат причинно-следственных связей, потому что путает судебную роль с исполнительской и не хочет пропадать, хоть и по заслугам, но без положенного ему еще обмундирования суда и следствия, он не хочет погибать как личность, а хочет помереть как обыватель, он хочет, чтобы исполнителю объяснили сначала, за что его надо убивать, чтобы исполнитель знал за что, иначе Карамышев не доверяет исполнителю... Но довольно разоблачать нашего героя — как живое существо он просто неумело борется за свою жизнь и не может иначе. Он абсолютно прав.

Именно за это, за прямоту, проявленную в спасении собственной шкуры, а не идеалов справедливости, мы прощаем Карамышева и выпускаем на сцену героя-спасителя...

— Вы что это? — ровно говорит он, и мы узнаем этот голос. — Вы кого это бьете? Да вы с ума сошли! Вы же Карамышева бьете!..

И все разбегаются в покорной и подобострастной панике.

И Карамышев остается один на один со снайпером-лотерейщиком. И площадь озаряется светом желанной и сбывшейся дружбы.

V. ВИД СВЕРХУ

И каким образом момент воздержания от творения может в небытии отличаться от момента, когда начинается творение? Чем один момент отличается от другого?

Авиценна, «Книга спасения»

Наша история подходит к концу, потому что герой наконец поверил в свою звезду, которая неутомимо слала ему свои лучи, хотя сама давно потухла и закатилась, и возблагодарил судьбу, что не отчаялась быть его судьбой и терпеливо била его, несмотря на его грубое, даже вульгарное, понимание жизни, практически неизлечимое.

Наша история подходит к своему концу, зато герой возвращается к своему началу, и в этом мы наблюдаем тот свет, который необходим в конце произведения.

Отметим любопытный, на будущее, факт: именно после проигрыша в эту лотерею жизнь нашего героя сделалась возможной даже в этом городке, куда он зря приехал, или, что почти то же самое, пребывание нашего героя в этом городке — стало жизнью. Он заплатил за вход, или получил визу, или... не знаю, каким термином обозначить ту санкцию судьбы: живи! Но еще любопытнее и другой факт, что именно потому, что теперь он мог бы жить даже в этом городке, именно поэтому он немедленно из него улетел, именно поэтому у него находятся силы стремительно покинуть его, не считаясь с пустяковыми канцелярскими обстоятельствами, а считаясь с требованиями собственной судьбы и жизни, которые он так не хотел узнавать и материалистически игнорировал в самом начале нашего повествования. Нет, это не побег от трудностей. Отнюдь! Это, если хотите, возвращение — в значительном значении этого слова.

И если нам скажут, что мы преувеличили значение этой истории, то мы скажем, что как раз значение ее мы не преувеличили. И лишь потому это нам удалось, что мы не преувеличили историю. Качественное изменение само находит себе место и время произойти, и это может оказаться самое нежиз-

данное место и самое неожиданное время, вовсе необязательно это будет водоворот событий и могучий исторический фон. Ведь мы имеем в виду одну жизнь и одного человека...

Какие сцены мы пропустили? Как раз счастливые.

Вот Карамышев сидит в гостинице в номере своего нового друга. Они пьют вино. И кассир с ними. Все трое очень нравятся друг другу. Карамышев откровенно любитесь мощью торса своего друга Петра Геннадьевича Крылова, который как раз в этот момент обтирается после душа, и его сильно загорелые шея и руки так отделены от белого тела, будто приставлены в шутку, и белое кажется толще, а черное — тоньше, так что как будто приставлено, да и не совсем совпадает, оттого напоминает Петр Геннадьевич — кентавра. И друг Петра Геннадьевича — кассир Михаил Станиславович Грибов — тоже очень хорошо поет под гитару, наигрывая на ней про и гры ш.

В номере они сидят том самом, ревизорском, который был забронирован в свое время для Карамышева, и они теперь очень смеются, что Петр Геннадьевич — и есть ревизор... Перед ними лежит та самая карточная колода, которую Петр Геннадьевич сберег, выдав за нее полноценных два рубля...

— Зачем ты так сразу — и уезжаешь! — сокрушаются Петр Геннадьевич и Михаил Станиславович. — Только познакомились — и ты уезжаешь. Такая скучища... Не уезжай!

Карамышеву очень приятно, ему трудно в это поверить, что он — это что-то не скучное, интересное, почти веселое, — поэтому он так легко в это верит...

И тем не менее он твердо и окончательно решил лететь. Вот у него уже и билет в кармане. Правда, летит он лишь послезавтра, потому что таков ближайший рейс. А то бы и сегодня улетел. Нет, он счастлив ихнему знакомству, он рад, и ему жалко, но — надо. И они обмениваются адресочками: будешь — обязательно прямо с вокзала ко мне, а с самолета — к нам. Но Карамышев тверд, как скала, — так он летит, рисуя себе наиболее легкие и удачные варианты трагедии, счастливо и легкомысленно осмысляя личную драму, что перспективно:

— Слушай, слушай! Что у тебя с ним было?!

— С кем?

— Сама знаешь, с кем!!

— Ничего не было.

— Ах, ничего!.. Значит, было — с кем?!!

— Ты — с ума сошел.

— Прости — сошел — прости...

И далее:
— Успел?
— Успел.

Будто он и сам не знал.

Дальнейшее мечтание он уже не обувал в слова, а лишь мычал и кричал с досады, что самолет — только послезавтра. Но теперь он не истолковывал затруднения и задержку как знаки судьбы, он предполагал их как истощение предыдущей затянувшейся его неточности жизни, которая ликвидируется не сразу, а с некоторой дозой расплаты и терпения. Пусть же он на этот раз успеет. Зная будущее, мы можем даже утверждать, что он успел. Правда, не совсем, потому что опоздал в предыдущий... Но в этот раз — успел.

Оставшийся ему день Карамышев посвятил залезанию на минареты и башенки, по возможности вверх, поближе к небу. То ли от нетерпения взлететь... То ли от позорного желания все успеть, раз уж так сложилось... Ведь раз он так решительно отказался успевать что бы то ни было, то как раз и удается успеть и кое-как, но выполнить положенный ему урок.

На этот раз был понедельник, присутственный день, и он быстрым шагом обходит заповедную Хиву в сопровождении многочисленных специалистов: архитекторов, строителей, реставраторов, археологов, историков и Негудбаева, — как главврач на обходе, запахивая невидимый халат. «Ага, — говорит он на ходу и записывает в книжечку, — 489 тыс. 1248 год, из них 20 тыс. своих, из 9 памятников реставрировано 62, пятилетку на 2,5 млн. и 1 резчик по ганчу...» Выслушивает занимательные и разрозненные сведения о последнем царствовании Алакула-хана... Кивает — здесь он уже был — и лезет только вверх.

На самый высокий минарет. И пока Карамышев взбирается по спирали, по очень высоким и неудобным ступеням, в полной темноте переходя на четвереньки, благо никто не видит, накапливая в слепой глухоте все более гулкие удары, сердца, гулкие до самых кончиков пальцев, которыми касается он пыли следующих ступенек, и впереди объявляется долгожданное просветление, превращающееся в божий свет, — думает он немножко о том, что он уже не тот, чтобы так вот лазать, сердце не то, что бывало в той же, казалось бы, груди, да и ноги не те... и что свита его осталась внизу недаром — один свеженький Негудбаев, пожалуй, уже наверху... что, надо же, родившись и проживая в двух столицах, нет чтобы полезть, скажем, на Исакий или телевизионную башню... а тут, при первой же

возможности. — лезет и еще думает о том, в такт нарастающей гулкости сердца, что там, впереди, божий свет и звонница — но никакого колокола, конечно, нет, как в киносе, и он оглох от громкого удара света, стоит, помаргивая, и сам гудит в этой мусульманской пустоте как колокол, под православными ударами сердца... И пока он прислушивается к этим утробным толчкам рождения самого себя, он некоторое время — один, без мысли, без прошлого и будущего и без себя — цель и смысл всякого восхождения.

Нет! всего лишь секунда... Поутихнет сердце, поостынет пот, звон в ушах разорвется на звуки, безымянное творение населится наглою отдельностью предметов, и картина мира распадется на слова. И как всякому, на секунду слившемуся с реальностью и творением, Карамышеву через эту секунду совершенно некуда будет деть себя... Казалось, миг реальности вытеснил весь многолетний опыт — но тут мы и воскликнем: «Какой вид! какая красота!» И — все. Как быстро, но какой ценой! вернемся мы из того, что есть, в то, чего не было, и задвигаемся там с быстро восстанавливающейся привычностью... Счастливый дурак запоет, несчастный дурак задумается. Но — сделать бы на памяти зарубку о том, как быстро можно покинуть и забыть, если даже после секунды реальности не сразу вспомнишь тени общепринятых движений и слов.

И хотя вовсе не для того строился минарет, чтобы на него вскарабкивался Карамышев, а для того, чтобы он высился и внушал правоверным и чтобы взбирался на него лишь один человек — муэдзин, хотя, возможно, никому и не разрешалось восходить сюда со святотатственно-экскурсионными целями, но точное решение никогда не будет однозначным, и утерянные символы сохраняют для праздных глаз гармонию форм, а утраченное предназначение найдет себе применение попроще: как соборная мечеть является удобным помещением для горторга, как дамасская сталь будет прекрасно рубить капусту, как в Библии вместо слова Божьего будут находить поэзию, а в поэзии — гражданственность, а в любви — удовлетворение потребности, — и все это суть грани жизни и вечности истинного и прекрасного, приспособленных к выживанию в забытии и незнакомании, к уживанию с невежеством... так и минарет этот — прекрасно был приспособлен для взбирания на него хотя бы того же Карамышева, хотя строители были и далеки от такой цели. Эта крутизна, пыльность — этот труд; эта длина, глухота и темнота — это выключение и забывание оставшегося

«там» мира — все это, чтобы внезапно увидеть свет и возрадоваться, а затем узреть мир в виде творения, бессловесный, неназванный, хоть на мгновение прежде, чем он распадется на слова.

Не было в этом никакой такой цели. Эти же чувства может испытывать и верхолаз-трубочист, наделенный некоторой созерцательной способностью или обделенный способностью к несозерцанию... Труба уж, во всяком случае, строится для того, чтобы дым из нее шел.

И пока наш Карамышев курится на вершине минарета, мы попробуем хоть описать, что он оттуда увидел, о чем путано думал, — возьмем на анализ его дымок...

В ту сторону, в которую он смотрит, перед ним всего как-то не очень много, и довольно быстро исчерпывается это перечисление: какое-то количество плоских квадратиков крыш, стеснившись, не успевают образовать множество — обрываются, переходят в серое весеннее поле, но и поля не образуют привычной шири, обрываются, переходят... во что? тоже в как бы поле, но желтенькое какое-то и совсем уж пустое. А уж это поле — совсем обрывается, совсем затеривается, и не то чтобы в бескрайней дали, а так — становится пылью, маревом, мутью, и вдруг оказывается, что это — уже небо, тоже мутное, желтоватое, яснеющее лишь где-то над солнцем и лишь в зените, над минаретом, наливающееся той лазурной глубиной, что совпадает, сливаясь с цветом хивинских луковок и куполов... И это впечатление короткости взгляда настораживает глаз Карамышева неотчетливым подозрением, что что-то он видит не то, нарушающее географический и оптический его опыт: словно бы горизонт не расширяется оттого, что земля шар, если приподниматься над шаром, словно бы, наоборот, уменьшается земля сверху до размеров той лепешки, что покоится на трех слонах, — до размеров черепахи. И поэтому ему хочется спросить: что же это, почему так быстро кончилась Хива, что это за желтенькое поле так поспешно завершает горизонт?.. И ему говорят: ПУСТЫНЯ, говорят: КАРАКУМ, говорят: ПЕСОК. И от слова «пустыня» почему-то все становится понятно — так высохло и свернулось трубочкой пространство; взаимопроникновение сфер и сред из-за отсутствия границы... Карамышев оборачивается смотреть в другую сторону и теперь уже видит всю Хиву как на ладони: столпище плоских крыш и дворигов с небесными куполами мавзолеев и золотыми стенами медресе. Что это купола такие голубые? как небо?.. И что это все дома и стены

такие желтые? как... пустыня! Ну да, где же еще им было цвет занять? Два было — два и взяли. Торжественная фраза нарисовалась в мозгу Карамышева: «Из двух цветов состоит Хива — цвета пустыни и цвета неба...» Так я начну свой очерк, подумал он. И тут же ему стало кисло во рту от достижения профессионального пафоса, он сморщился, отвернулся и махнул на себя рукой. «Что это вы?» — сказал Негудбаев. «Знаете, что самое скверное? — доверительно, с горьким многозначением, ответил ему Карамышев. — Самое скверное — это проиграть через посредника». — «Понимаю», — согласился Негудбаев.

И Карамышеву ничего не остается, как спуститься. И, спустившись, посмотреть на тот же минарет новыми глазами. Я бы мог сказать, что, спустившись и поглядев: «Господи! как он высок...» — подумал Карамышев, словно только теперь осознав его в пространстве. Я бы мог сказать так — и вы бы мне поверили. Но так же поверите вы мне, если я скажу, что, спустившись и оглядевшись: «Как он, в сущности, мал-невысок... — подумал Карамышев. — И построен-то кое-как...» Эта небрежность вдруг станет видна. «А вы обратили внимание, что он кривой? Вон, вон, отсюда смотрите...» — с гордостью обратят его внимание экскурсоводы, подтверждая тут же его несложные наблюдения.

Он посетит еще несколько медресе и рассмотрит еще несколько музейных стендов. Запишет еще несколько ненужных ему сведений со слов специалистов в свою книжечку. И чтобы проявить перед самим собой инициативу, спишет со стенки следующие стихи:

Триста кавказских гор истолочь в ступе,
Обмазать девять куполов небес кровью сердца,
Сто лет быть заключенным в подземелье,
Чем провести мгновение с невеждой.

Удивят его эти стихи. Не то чтобы заключенной в них поэзией, а — определенностью. С особым чувством взглянет он на мавзолей Пахлаван Махмуда, написавшего эти строки, и этот мавзолей делается как бы понятен: все-таки в нем захоронен знакомый. Вот еще смысл поэзии — так быстро становиться знакомым, как этот несколько сот лет назад живший в этой чужой жаре, секунду назад незнакомый Пахлаван Махмуд! Вот и смысл слова «известный»! Нравился Карамышеву Пахлаван Махмуд в свете свежего базарного проигрыша...

«А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой...» — так заключил свои рассуждения Карамышев, начавшиеся с того, кому же он вчера проиграл на базаре?.. Судьбе, Петру Геннадьевичу, себе? И вот что, простое, внезапно поражает его: конечно, судьба — но проиграл-то он сам, и именно Петру Геннадьевичу!.. А вот что именно ему — в этом было что-то важное для Карамышева сейчас, определяющее именно эту, скрытую пока от всех, тревожащую его ситуацию, в которой он и сам-то себе признаться пока не может. Получается, что что-то не то проигрывал он, не деньги, — это была лишь репетиция, базарная репродукция, модель, схема... Карамышев ведь ЕЕ проигрывал, любовь свою! Он ввязался в эту нелепую игру довольно-таки давно... Как напомнила ему сейчас внезапность его согласия на командировку — внезапный же его подход к игорному столу, а затруднения с отъездом, с приездом, с устройством — следующие и следующие проигранные им под гипнозом уверенности в себе и власти над ситуацией мелкие, но набегающие ставки!.. «Да ведь иной роже я бы никогда не проиграл! — так подумал Карамышев. — Надо было Петру Геннадьевичу что-то иметь в своем лице такое... чтобы я подошел, стал с ним играть и проиграл. Ведь он же должен был мне понравиться, привлечь меня сначала...» Карамышев вспомнил те немногие случаи азарта и проигрыша, хотя бы в очевидной, карточной форме, и еще раз убедился, вспомнив лица тех, с кем играл, что нравились ему чем-то те лица, манили с ними играть... Ведь Карамышев не игрок, игра его не привлекает — проходит же он каждый раз мимо, зная, что играть в азартные игры бессмысленно и проигрыш гарантирован, — и не играет. Так что не в ИГРУ он проигрывал в те редкие случаи, что ни с того ни с сего садился играть, а — людям он проигрывал. Соперникам. «С чего же это я взял, дурак, — в сердцах сказал себе Карамышев, — что мой соперник не привлекателен, как те, с которыми я не сяду играть?.. А может, он как Петр Геннадьевич, и я с ним уже играю!» И Карамышев похолодел, до конца осознав, до чего же правильно лежит авиабилет у него в кармане... «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой...» — именно тогда подумает про себя он. Потому что до чего же странно, противоречиво и нелепо: всю жизнь обучаться сведениям, не имеющим к твоей единственной жизни никакого отношения, и пытаться им соответствовать, и полагать неудачи за счет неточного или халатного следования преподанному извне, и страдать от своих неспособностей к имитации и исполнению,

вместо того чтобы с самого начала прислушаться к точности собственной жизни и внятности внутреннего голоса и развить этот слух к себе до абсолютного!.. Какого могущества лишаемся мы, отвергая и отрицая данный нам свыше аппарат реальности как нечто фантастичное и нематериальное, не относящееся к безусловности и плотности окружающей жизни... Как же это не сомневаемся мы в возможности познать постороннее и выработать правила помещения себя в нем, то есть как раз. разъединяя себя с миром, вместо того чтобы объединиться с ним, научившись слушать голос собственной природы, безусловно общий с голосом творения! Люди представились Карамышеву слепыми, глухими и самодовольными в уродстве. Да, если есть человек, который не разучился слышать себя и всю жизнь упогребил на упражнение, помножение и развитие именно такого, истинного знания жизни, — то, право, можно понять, что лучше сто лет просидеть в темнице, чем провести мгновение со мною... Карамышев подумал, что уже поздно, но еще не поздно: какой-то слабый процент такого внутреннего слуха у него еще есть. И все эти средства ослепших и оглохших людей, как то: медицина, наука, нравоучения, — представились ему отвратительными и ненужными, потому что взамен их неуклюжей, невежественной и самодовольной громоздкости можно просто пользоваться дарованной нам природой способностью слышать и видеть.

Ему было уже все показано и рассказано, он устал делать вдумчивый вид, схватывать на лету, проявлять способности к усвоению и кивать невпопад. Как всякий прирожденный реалист, был он, от природы же, двоечником. И он устал притворяться примерным учеником и придумывать умные вопросы учителю, чтобы тому было лестно отвечать... Но тут, к счастью, все и кончилось — вот и выход маячил из Ичан-Калы, как вдруг проявил Карамышев неожиданные для себя рвение и инициативу в учебном процессе: захотелось ему, видите ли, на недостроенный минарет.

Тут его почему-то стали хором отговаривать: мол, ничего там интересного и заслуживающего его ценного корреспондентского внимания нет и быть не может, пусть он им поверит — они-то знают. Не мог все-таки Карамышев понять, что не одному ему надоело. Отрицательные эмоции полагал он своей привилегией...

Все вздохнули, и он полез. И хотя минарет планировался быть выше всех, но был-то он ниже, и Карамышев достиг верха быстрее и легче, чем мог ожидать. Оказалось это даже гораздо более внезапно, чем на предыдущем минарете. Потому что когда Карамышев вылез на поверхность — над ним уже не было ничего, никакой башенки, одно небо. Над ним было только небо, но когда он вылез и увидел его, все были уже там: и специалисты, и Негудбаев, и председатели колхозов при всех наградах по этому случаю, и Петр Геннадьевич с Михаилом Станиславовичем, немножко в стороне, послали ему дружеский, понимающий взгляд...

Карамышев стоял в центре круглой обширной площади. Она была залита каким-то неровным варом, как асфальтом, и тем более походила на площадь. Только по краям ее стояли не дома, а небо. И тот четкий, круглый, острый край, хотя и был далек, был щемяще опасен, край этот проходил где-то прямо под сердцем екающим спазмом, и Карамышев не мог и шагу ступить к краю... Это чувство края, хотя по площади можно было спокойно гулять, — было из чувств неожиданных, но странно оправданных. Карамышев стоял посреди площади недостроенного минарета, или, как он пошутил, «недорета», и боялся вывалиться за край, находившийся от него в добрых десяти метрах. Перед ним опять была Хива, из пустыни и неба, но на этот раз не вставленная в кадрик муэдзинова окошка, а просторная, как с горы. Так же толпились крыши; такие же, доказанные в древности, теоремы выстраивали из кубов, полусфер, из теней и света, из глины и неба — мавзолеи и медресе. Где-нибудь вот в таком же дворике мог бродить когда-то Авиценна и думать свои словесные, ленивые, формалистические мысли за небольшую плату золотом и положение при дворе, вроде таких:

«Если бы человеку, одаренному лишь различающей способностью, представили умопостигаемые вещи, он отверг бы эти вещи и счел бы их невероятными. Точно так же некоторые разумные люди отвергали и считали невероятными вещи, постигаемые благодаря пророческому дару. Это и есть чистейшее невежество...

Короче говоря, пророки — это те, кто лечит заболевания сердца».

То есть Петр Геннадьевич — пророк... В который раз Карамышев думает о том, как чуждо ему все чужое и как безнадежно пытаться это чужое понять... Думает он и о ЛИНИИ как о самом окончательном, высшем и точном, выражающем

нас помимо воли. Он разглядывает язык этих линий сверху, немой, как письма майя, и думает о том, что архитектуру должны читать графологи. И эти термитные, неразумные и безукоризненные постройки, располагаясь во времени, в глубь веков, — вдруг соскользнут, какой-то своей грубостью и примизной, сквозь тысячелетия прямо в Древний Египет. А казалось бы, та же прямая... Вот что никому не подделать — так это прямую линию! И тут вдруг сообразит Карамышев свой «умный» вопрос заждавшимся специалистам из своей свиты:

— Скажите, только не смейтесь над моею простотою... А вот там, в середине минарета, — говорит он, топнув ногою в эту середку, — пустота или кирпичи?

— То есть — как? — опешат специалисты.

— То есть как строятся минареты — полыми или сплошными?

— Полыми, конечно, сплошными! — воскликнут специалисты.

И пока они спорят, уличая друг дружку в незнании таких простых вопросов, потому что построить полую трубу — это выше технических возможностей и уровня строительства при Алакула-хане, а построить сплошной кладкой — не хватит кирпичей всего мира и они рассыпятся под собственной тяжестью... — и пока они так гnevаются и спорят, а Карамышев смотрит на Хиву сверху, боясь и стремясь упасть за тот далекий от него край и имея над собой только небо, в котором ему лететь завтра, почему-то без всякого страха... пока он так стоит, у него вдруг объявляется наконец возможность что-то увидеть во всем этом, для него невидимом до сих пор, — так же как после проигрыша объявилась внезапная возможность жить там, где он жить, казалось, не мог... так же объявляется для него возможность вдруг увидеть все это и, быть может, даже найти слова и выразить... но это уже — прощание.

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА АВТОРА

Прощание с Карамышевым не будет особенно пышным. Он почти погиб почти при исполнении служебных обязанностей. У самой земли автор струсил, и Карамышев взлетел назад, как раскидайчик на невидимой резинке, ловко пойманный моею рукой.

Таким образом, он не до конца разбился, не до конца проигрался, не совсем опоздал, кое-что даже успел сделать... Но — как бы вам сказать?.. Жертва поселилась на алтаре.

Завершая эту повесть, автор не находит своих слов.

Он может сказать словами своего лотерейщика: «Вот эта вещь. Берешь ее или деньгами?»

Или может привести слова пресловутого философа арабов Абу-Юсуфа Якуба бну-Исхака аль-Кинди (IX в.):

«Дабы познать что-либо, следует ответить на четыре вопроса: есть ли это? что это? каково это? почему это?..»

Я был способен ответить лишь на третий вопрос. И то не совсем в том смысле. Однако по словам того же аль-Кинди: «Отдавая людям должное, мы не можем упрекать тех, кто принес нам небольшую, незначительную пользу...»

1971 — 1972

ГРУЗИНСКИЙ АЛЬБОМ



Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Лермонтов

ФЕНОМЕН НОРМЫ

Пытаясь доказать, что что-то является чем-то, ты теряешь это всецело.

Сюжет обладает той особенностью, что должен оказаться исчерпанным. Вступив в него, другим лабиринтом не выйдешь. Стоит сделать что-либо один раз, как ты уже приобрел опыт; стоит приобрести опыт, как он тут же окажется неупотребимым, зато тебя призовут если не в специалисты, то в свидетели: «Иванов умер на ваших глазах? Так вот Сидорову нехорошо». В этом смысле специализироваться — это подчиниться первому случаю: стоит сказать «раз», потребуется считать до трех.

Стоит решиться — само пойдет в руки...

Стоило однажды восхититься новым грузинским кино, стоило попытаться разобраться в истоках такого успеха, хотя бы на одном примере, — как стало слишком мало, как почти все осталось за бортом... Пришлось начать снова, чтобы проверить и убедиться, что ты был прав.

Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою... Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию «выбирать натуру». Нет более счастливого времени в «съёмочном периоде», чем выбор натуры! Волнения запуска в производство — позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди — одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна «газика». Лобовое стекло — кадр. (На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс — память о том, с каким высоким чувством было начато...)

«Ты увидишь Грузию такую, как она у меня здесь!» — постучит друг себе в грудь, соблазняя меня поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце — это уж слишком... Уговорил, уговорил.

Изволь, я еду.

Оправдывать случайность этих замет можно не только тем, что они были утрачены (впрочем, вместе с чемоданом...),

не только тем, что они к тому же еще и не написаны, но и тем, что они не могли быть написаны. Вот эти воспоминания...

...Я был готов расстаться с жизнью. Причина уже не была мне важна. Невыносимость ее была еще жизнью, и тогда я был не готов. Теперь и невыносимости не стало. Ничто не казалось мне. Из всех тридцати трех, исключив разве младенчество, — время просыпалось у меня меж пальцев, и вот что осталось на ладони... Песчинки эти молчали. Я пытался расковырять эти сгустки молчания — полагал это задачей. Возможно, такой поединок даже нравился мне, и именно своею обреченностью. Из всех функций слова меня увлекало — проникновение. Я полагал, что возможно и не вернуться. Я возвращался из этих теснин. Ободранным, но не вошедшим. Ибо сильнее страха смерти (его, мне казалось, у меня уже не было), сильнее жажды истины (она, мне казалось, у меня была) оказывался во мне страх замолчать. Нет, вовсе я не хотел постигнуть! Я не хотел умирать.

В Грузии я писал о России, в России — о Грузии... Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове. Времена года и места действия и описания складывались и перепутывались в моем мозгу, упраздняя реальность... Костромская деревня Голузино или подмосковное Голицыно — почему в них должны были накатывать на меня тбилисские видения, чтобы, оказавшись наконец в Тбилиси, писать о ленинградском зоопарке? Не знаю. Но по той же причине в легендарной Вардзии я мечтал о птицах Куржской косы...

Империя путешественника — другая планета. Разное солнце освещает метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня и оттуда, и отсюда; я отбрасывал две тени. И когда я смаргивал наконец-то эту слепоту в тлен, то — подчинялся. Счастье соответствия владело мною секунду, пока я, отрешась, предавался чужому чувству родины. Лазутчик и захватчик! Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось: принадлежность себе. Не тут-то было! только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда — в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину, только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее. Великое преимущество!

Захватив, я оказывался пойман. Эта традиционно русская способность проникаться чужим существованием (Пушкин,

Лермонтов, Толстой...) — оказывалась российской, оборачивалась... Какому воинскому подразделению можно приравнять «Кавказского пленника» или «Хаджи-Мурата»? Существенна безупречность художественной формы — не выбиться из-под образца... Трудно заявить, что они написали плохо. Написать — можно. О чем бы мы ни писали... Но силу духа не займешь у соседа: дух наливается силой лишь на своей, пусть сколь угодно бедной, почве.

Я не хотел постигнуть. Я хотел — отторгнуть. Любое добавление к славе (в том числе и мое), любое (сколь угодно заслуженное!) признание со стороны — есть предвестье конца, есть захват и присвоение. Почему-то за любовью признано неоспоримое право. Между тем следует спросить того, кого любишь: нужно ли ему это, безответное, льстит ли... Права любимого не учтены. Он — жертва нашей страсти.

Но — не надо и преувеличивать. Нас не спрашивают. Нас не спрашивают даже родители. И акушеры в каком-то смысле приближают человека к смерти, что и есть норма жизни. Нормальный ее абсурд.

Слово «норма» произнесено. Я обопрюсь на него, чтобы суметь сказать о норме. О той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух. Раз уж их не хватает, воздуха и воды.

Помнится, в детстве было это нормальным словечком, почти жаргонным, почти от бедности словаря и недоразвитости, — но почему-то именно это словечко: «нормальный парень», «нормальное кино», — с восклицательным знаком, как превосходная степень. «Норма» была окружена «не нормой» более разнообразно: «псих какой-то ненормальный, недоразвитый...» или «вранье, глупости», — короче: «Да ну его!» Общеизвестно, что дети, как и собаки, ненормальностей не любят: уродов, пьяных, фальшивых... — тут они категоричны и строги. У них обостренное чувство нормы. Лишенное гуманизма.

Позже «хлебной нормы», в менее голодное время, смысл «нормы» как ходового словечка стал более снисходительным: нормальное — в смысле неплохое, но и ничего особенного. Еще позже, ближе к нам, — даже пренебрежительное: в смысле «всего лишь», в смысле «и только». Будто сами-то мы стали безусловно выше нормы, мы ее превзошли и привыкли обращать свой взор лишь на что-то из ряда вон...

Так развивалось это слово, по крайней мере вокруг меня, вместе со мной. Пока не наступил день совсем уж сегодняшней, когда в слове «норма», как мне кажется, снова забрезжила возможность почти прежней, детской его жизни.

Все как будто стремишься куда-то. Все стремишься, стремишься, все куда-то и куда-то. Вперед и вверх. Вдруг запыхаешься, то ли устанешь, то ли состаришься, бегучи: глядь — а стоит ли что-нибудь по назначению и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит: как-то криво, кое-как, на бегу, недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать...

Вот вам образ: валяется какая-то прекрасная капитель без колонны — словно уже создаются развалины Колизея и Парфенона, непосредственно, минуя назначение. Заманчивая экономия на сокращения технологического процесса, и — сразу результат: ни-че-го. Дальше — больше: макаронная фабрика выпустит случайно спички, карамельная — папироски... Присядь, пожалуйста, на секунду, закури, подумай: пока ты бежишь так стремительно, что слово «норма» для тебя — что-то уже ниже «нашей» (моей-твоей) нормы (слово теперь — «уровень», вместо «нормы»: нечто неуловимо передовое, все время фронтально убегающее, чего еще догнать и достичь... категория — вместо реальности), — пока мы мчимся вот так, много ли после нас останется?

Как бы так... чтобы на стуле можно было сидеть, в окно смотреть, в поезде — ехать, хлеб — жевать, воду — пить и воздухом — дышать, слово — произносить... Чтобы предметам соответствовали свои имена и назначения, и при этом они не переставали ими быть как место для свидания, смотровая щель, транспортное средство, пищевой продукт, парк культуры и зона отдыха... Общественные нормы.

Но как же поразился я однажды, расслышав в гуле суеты своей и музыку Моцарта, что наконец-то, выступая в роли ценителя, я всем доволен, ее слушая. Что как-то давно я не был всем доволен. Не то чтобы ничего хорошего не слышал... Но все было как-то то с одной стороны, то с другой — полноты никакой не было. А вот тут — была. И не потому, что она была в каком-нибудь одном отношении лучше всех, эта музыка. Как все время что-нибудь да лучше чего-нибудь, прогрессируя на бегу. А потому, что она была вся, что в ней все было, что в ней все было правильно, все соответствовало, все было нормально. В ней не было ни односторонности, ни ошибки. Это была Божественная норма. Та же самая, что и в природе, — Норма творения.

«Не дай мне Бог сойти с ума...» Где нормальность в этом мире — совершенно неясно. В идеале — это, по-видимому, полное соответствие, причастность к нам лично. Потому что

если что-то способно нам соответствовать, то это доказательство прежде всего нашей нормы. Тут-то и обнаруживается, насколько мы-то сами в этом не уверены — в собственной норме, — не знаем, где она. Держимся из последних сил, сохраняем вид. Я не говорю о тех, кто столь в себе уверен, что жизнь — для них. Я не говорю о тупой норме, о нормальности бесчувствия — я хочу сказать о той норме чувствования, о высшей, трепетной норме, тонком балансе, остановке в полете, когда радость жизни еще не утеряна и в то же время ты способен потерять ее в любой момент, но продолжаешь жить и жить в этом неустойчивом и подвижном равновесии, — о той форме чувствования, при которой разве что не сходишь с ума, — о счастье.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АГАРЦИНЕ

(В ожидании Звездочки)

За Пушкинским перевалом, где библейский пейзаж Армении начинает уступать теплomu и влажному дыханию Грузии и все так плавно и стремительно становится другим: линии гор, кроны деревьев, плодородие полей, цвет трав, шорох речек, — мы свернули с шоссе в глубь подступившей зелени¹. По более тесной дороге мы некоторое время ехали вверх по ущелью, все глубже во влажный сумрак леса. Справа, обнажив острые желто-зеленые слои, нависала скала, слева, круто вниз, спал толстый лиственный лес, на дне которого брнчал серебристый, как рыба, поток. Листва была почти уже не зеленая — такая густая. Запах, шедший со дна ущелья — воды, скал и листвы, — веселил душу. С трудом пробивавшийся сквозь нависшие кроны солнечный луч дрожал на дороге...

Перед небольшим мостиком над сухим притоком машина стала. Мост был наполовину разобран. Мы вышли. Приток раздвинул лес, и, переходя мост, сквозь отсутствие настила можно было увидеть глубину нашего ущелья. Там, над ржавым остовом погибшего автомобиля, кипела белая вода.

Дорога еще сузилась, превращаясь в тропу, и все круче шла вправо и вверх. Некоторое время мы поднимались гуськом в этом зеленом крутом коридоре. Деревья утрачивали свою пышность (сказывалась высота), становились кустами.

¹ Я, конечно, вспоминал Пушкина (и когда ехал, и когда писал), не без того... Но, стилизуя, специально в Пушкина не заглядывал, не освещал... Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с подзабытым текстом!.

«Я стал подниматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. <...> Мне представились новые горы, новый горизонт: подо мной расстиались злчные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился, климат был уже другой» («Путешествие в Арзрум»).

Все так — но ровно наоборот. Как негатив и позитив. У него, надо полагать, позитив...

отворяли небо над головой, перемежались скалою и уступали скале.

Над нами уже было только небо, но перспектива почему-то не ширилась, а сужалась, ограниченная крепостной линией скалы, на которую вела нас тропа, и небо торчало клочком. Хотелось скорее одолеть этот подъем и заглянуть за скалу. Какое-то приятное легкомыслие и непринужденность нашей экскурсии, будто ползти в гору нам было необязательно и не тяжело, свежесть живой и наконец зеленой, не раскаленной природы радовали мое северное сердце, легко дышалось, и чувствовал я себя словно на гравюре — в плаще и широкополой шляпе с высокой альпийской тростью, будто был я моложе самого себя на целый век.

Вот таким «широкополым» взобрался я наконец по крутизне и очутился на взгорбке, с которого и открывалась передо мной, с некоторой внезапностью, цель нашей экскурсии. Это был монастырь. Он встал передо мной на дороге так навстречу, как человек из-за поворота.

Маленький, скромный, уютный — ничего величественного и давящего. Он казался жилым. И если он перегородил мне дорогу с внезапностью живого существа, будто это было его, а не наше любопытство, то существо это было доброжелательно. В нем не было ничего такого особенного, ради чего стоило так забираться, но и разочаровываться не в чем. Я оглянулся, улыбаясь поспешавшим моим спутникам, но ничего, кроме них, внизу не увидел: скала, дорога, монастырская стена... даже вида не было в этом деревенском мирном месте.

Деревня тут и была. Монастырь, конечно, давно не действовал, и благостная от здоровья и покоя семья сторожей развела здесь корову, телят, овец, пчел, бабушку и детей. Чем-то теплым, молочным — парным — пахло от этих людей и их смущенных улыбок.

Мы осмотрели трапезную, которую нам продемонстрировали как бы с большей симпатией и особым благодушием: «Вот так они здесь и кушали...» — это было удивительно и понятно. Мы зажгли свою слабенькую свечечку в часовне и потоптались в пыльном сумраке небольшого храма, собравшего вокруг себя монастырские постройки, как насадку. Семейство сторожа стояло в стороне, немножко нас стесняясь. Все было здесь очень добросовестно, просто и так умиротворенно — волноваться было нечем и хотелось спать. Взбирались мы все-таки несколько долго по сравнению с тем, как быстро все предстало перед нами, оказалось осмотренным и — собственно, все. Потягиваясь

и разминаясь, как после сна, вышли мы из храма и по узенькому проходу меж ним и часовенкой сделали еще несколько нехоженых последних шагов... Эта короткая улочка тут же кончилась и привела нас на небольшую полянку или площадку. Дуплистое раскидистое дерево занимало ее почти всю. Под ним была вкопана скамья и столик. Дерево заслоняло взор — хотелось заглянуть, что там, за площадочкой... Мы обошли дерево и...

О Боже! Мы оказались.

Другого глагола опять не найду. Мы оказались. Но нет, ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно мы и никто за нас не жил. Мы оказались в том мире, где мы живем. Но он весь, весь был помещен к нам во взгляд, словно мы только что в этот мир прибыли, как с неба упали. Прилетели, были изгнаны... Будто это только что нас за руку привели, сказали: «Плодитесь и размножайтесь».

Смутившись, я уронил взгляд. Ковырнул камешек носком ботинка. Камешек покатился, увлекая за собою братца... Лишь следуя за ним, мог я постепенно снова поднимать взор. Мир вытекал из-под ног моих, как ручеек, ручей... Он ширился так стремительно, будто летел... Река — море — стихия...

Этот темно-сизый мир еще не был заселен. Ни крыши, ни дымка, насколько хватало взгляда. А его не хватало — так все было далеко и не кончалось. Я стоял в горловине воронки. Здесь было узко. Вплотную подступали створы ущелья, смыкаясь прямо за моей спиной. А дальше ширилось, просыпалось, потягивалось, оживало, жило, цвело, разрасталось, разворачивалось и лилось, как из рога изобилия. Как бы вся расширившаяся передо мною внизу долина по форме, по расширению и гнущести напоминали этот рог. Будто этот рог обронули на землю, и верхний свод его стал прозрачным, как небо. Я был засыпан на самое доньшко рога, из-под меня просыпалось все то, чем изобиловал мой взгляд.

Земля была мягка, оплодотворена, спокойна. За голубым альпийским лугом вставали огромные синие ели; их раздвигал, разгонял, прижимаясь то слева, то справа, белый ручей-река, словно гнал вниз это еловое стадо: суровый лес начинал круглеть, кудрявиться, разливаясь в мягко волнующееся лиственное море, и глубокая сапфировая по цвету лохань долины, тихая и сплошная, лежала в самой глубине, а за нею вставали, так же медленно обретаясь, горы. И сердце сладко ухало вслед за взглядом, когда я плавно следил за проистеканием мира из моей точки и через безмысленное небо возвращался вспять, к себе.

Себя я не мог видеть. И тогда с удивлением смотрел на свою руку, чтобы убедиться. Рука. Она еще не прикасалась к этому миру. Она ничего в нем не натворила. Она еще не знала работы. Рука, как младенец, шевелила пальчиками, пялясь на мир, который ей предстоял.

Словно это за руку меня сюда привели, подвели... Я глянул, охнул; а когда вспомнил и оглянулся — Его уже не было. И только моя пустая ладонь хранила еще прикосновение того, кто привел нас. Ладонь была пуста.

...Я видел в своей жизни несколько храмов, потрясших мое воображение. Воображение в том старинном смысле слова, которое еще не расходилось с реальностью, а символизировало скорость представления... Не фантазия, а именно — воображение. Образ представал передо мной.

Это зрение всегда как бы ставило меня на место, то есть я утрачивал то, что приписывал себе в тишине. Ненадолго этого хватало. Я не мог продлить состояния, когда уже не видел храма. Такой храм всегда находился на фоне, в природе, вписанный в нее и не заслоненный человеком и делами рук его. И я уже понимал, что выбор места для храма — едва ли не главная архитектурная мысль его. Как в бесконечности тайги вдруг встретишь серенький треугольник — триангуляционный пункт, то есть место топографической привязки. — так и храм, правильно, единственно там построенный, всегда казался мне чем-то вроде пункта привязки человека, только уже не на поверхности, а в мироздании, — напоминал человеку, где он, если поднять глаза от хлеба насущного, находится. Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под Богом, то у Бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм: Бог и я, я и Бог, только Бог... Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом... вводил строитель свои линии от нашего взгляда и выводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет — это пустое, человеческое дело, постройка, — а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение линии Бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?

Надо же было так именно обо мне позаботиться!.. Чтобы я долго шел вверх искусно подобранном путем, чтобы взгляд мой все укорачивался, успокаивался и все меньше видел,

чтобы я достиг цели именно там, где перспектива сократилась окончательно, чтобы все постройки не раздражали и не восхищали мой глаз, а продолжали заслонять мне даль, чтобы нигде, оглянувшись, не мог я увидеть более того, что только что видел, чтобы усыпить мое внимание и ожидание и подвести меня, как малого, за руку ровно туда, откуда... ровно тогда, когда.

Место человеку может указать (научить) только тот, кто сам знает свое место. Не было, не могло быть архитектурной идеи гениальней, чем передоверить возведение храма самому Творцу...

Так я стоял, сжимая и разжимая ладонь, словно она была в смоле, и не мог постичь того, что было знакомо мне с первого вдоха, — мой мир.

Господи! вот он...

Нет, не в храме, вот здесь мог я рухнуть на колени. Я не сделал этого жеста, никому не демонстрировал... но я все равно был в этот момент на коленях — возвышенно-смирный, униженно-благодарный.

Нету слов. Их — как не бывало.

Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово, одно, чтобы назвать то, что мы видим: м и р. И дальше по слогам, шагками букваря, держась за краешек страницы: э-то — мир. Он — весь. Это — все. Передо мной — все. Мир — это все. Передо мной отворился мир. Я застыл на пороге. Замер в дверях. Ворота в мир. Врата мира. Я стою на пороге. Это я стою. Это — я.

ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ

8 апреля 1944 года Герой Советского Союза лейтенант Лапшин со своим стрелковым взводом внезапным ударом с двух сторон взял мост в зоопарке, уничтожив 30 и взяв в плен 195 гитлеровцев. Это решило исход боя за зоопарк.

*Надпись на памятнике
в Калининградском зоопарке*

Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит, краснея, издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой куда-то пойдём?» Вот — какие слова она выговаривает громко, какие тихо — в этом весь смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого ее знания, от этого ее уже опыта, что опять не пойдём. А «куда-то...» (что шепотом), я помню, значит: во Дворец. Дворец вообще.

И я, с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». И едва ли это не более унижительно, чем снова сказать: «Потом». Говорю я «идем», ненавидя себя, но она — верит. Впрочем, она много больше знает, чем принято допускать (для удобства взрослых) в отношении, так сказать, детей, так сказать, ее возраста. И это ей не ужас, мне — ужас, довольствуется моим согласием, по-видимому, ровно в том значении, какое и есть, — без «алых парусов».

Мы идем. Мы выходим, и тут обнаруживается денек. Такой внезапный, со вкусом другой, минующей тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня... С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя, как мертвецы. Даже злые дворовые старухи, как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здоровается со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь.

Впрочем, пора уже миновать двор и приступить к делу.

Так выхожу я, застенчиво шурясь, с потной, покорной ладошкой в руке, не уверенный в том, что это я выхожу, что это

мои шаги и дочь моя, а не заснят я заранее на всю ту кинолентку, что просмотрена мною еще за бесконечное время школьных уроков... Надо же день за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности! Погодка потягивается вокруг меня — только она и есть реальность — денек такой. Оставим индивидуальность пасмурным дням. «Разве бы я пил, если бы за трешку можно было заказать солнышко на полчаса», — как сказал однажды Эдик К., вечная память...

«Такая хорошая погода, — коварно говорю я, — давай мы во дворец в другой раз пойдем». Это уже не отчаяние, не обида, как дочка соглашается со мной, а смирение, знание жизни: все равно не пойдем. Она еще не дожидается погоды.

Мы идем не во дворец и не в цирк. Мы приходим в зоосад.

Сатана — в бороду, бес — в ребро. После вытравленных площадок до и после турникета, солдаты и школьники — 10 копеек, фанерной феерии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды естественно ожидать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого... Поэтому так неожидан первый зверь.

Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него вообще трудно поверить. Но — так. Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же: то ли следит, чтобы слону не давали совсем уж несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоновьего служителя поучительно: он видит меж ног своего большого друга те самые башенные часы, стрелки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к маленькой...

Слон все понял, чтобы не сойти с ума, — слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив его в своем сознании.

Вы попадаете в коньотно-рогатое отделение: бесцветно-свалявшиеся неправдоподобия коров... Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро: почему-то именно этот олень — для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозантность оленей и коз, так и не передвинув свое сознание в саванны и сельвы.

Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но не ужасным — гиппопотамий бок. Будет плавать расплзшаяся булка — вы так и не дождетесь от него жизни.

Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому — синтетическому. Девочка скажет: «Сразу видно, американский...» Обыватель прочтет табличку беременной жене: «Промыслового значения не имеет... Ага, значит, только показательное...» Жена посмотрит невидящими, крутыми, как яйца, глазами — увидит свой живот, еще одно доказательство шарообразности земли. Что это за манера такая — непременно водить беременных жен в зоопарк? Не замечали?

Птиц слишком много, чтобы в них разобраться. Они какие-то черненькие, и, по виду, все питаются падалью. На самом верху грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассмотрите воробья. Это безусловно потрясающая птичка. Она — на свободе.

Воробей — царь зверей.

Обезьяны закрыты на ремонт... Отдельно показан шимпанзе. Он печален: ему предстоит человечество... Своим торможением он, в который раз, поражает нас, что он — человек. Поковыряет — посмотрит, почешет — посмотрит. Удивится рукам: ничего-то в них, оказывается, нет. Пусто. Отсутствие.

Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Фальшивое желание оживиться с помощью своего ребенка, взглянуть на все глазами картинок — останется тоже бесплодным. Они просто внимательны, дети. У них глаза на границе испуга. Причем испуга не перед страшностью зверя: какой же он, бедняга, страшный? в клетке? — а перед самой жизнью. Они, дети, — до, вы — после. Вы не сможете разделить трапезу их зрения. За трапезность?..

Тут, опять надо прибавить. — солнце. Город так отвык от него, так давно обесцветился. Цвета здесь обозначаются только при сером свете. Как кожа слепого... Ничто не освещено: солнечный объем — сам по себе, втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не приликая к ним. Так и звери — без цвета или цвета хаки, земли и весны. Мусор фанеры, заборов и шкур. Свет застиг все врасплох, ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться ничем.

Голубой купол над свалкой.

Пока не попадете к хищникам. Только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху — это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор — непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах обывателей, как от несчастного случая или чужих похорон.

Пора от «вы» перейти к «я».

«МЕДВЕДЬ» — было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд.

И сразу будто все виденные мною здесь звери посмотрели на меня — это было достаточно странно: одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас, в разное время, посмотрят существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, может означать лишь одно: либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость, не страх и не свирепость, не тоска — сумасшедшесть... Это был с ума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты, прямо так, не разворачивая бумажек равнодушный к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно — не ловил. Тогда конфета стучалась об него, как об нежилого, и падала... И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что он давно уже так сидел, не переступая.

Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний, безумие, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал вовремя отворять пасть конфете, то есть оно слепотой не было. Можно было бы предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственно известного состояния мира, боли непереносимой, если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее не было, и переносимой оттого, что она была всегда; боли такого постоянства и интенсивности, что на нее, в самое дупло ее, равнодушно кладется конфета за конфетой, как веточка в костер. Если не слепой, то немой мог бы быть этот медведь. И тогда взгляд его был бы воем немого; но, в этом случае, он не ловил бы конфет, он понимал бы боль, если бы выл... то есть оно (безумие) немотой не было тоже.

Но все эти предположения, имеющие лишь тот приблизительный смысл, чтобы хоть как-то определить, ограничить кругом сравнений (пока еще слишком большого и непостоянного радиуса) новое для меня понятие безумия, причем именно этого безумия, — все эти предположения сходств раздражающе неточны. В центре этого корявого и слишком большого круга сравнений — его взгляд по-прежнему горит тускло и ровно, не имея отношения к моим попыткам определить его.

Так вот, сначала медведь, а потом и все те звери, мимо которых я пробежал небрежно, разом взглянули на меня тем же невидящим, безумным взглядом. (Разве один какой-то козел посмотрел на меня с тем живым лукавством шизофреника,

который все понял про мир и продолжает понимать, глядя на вас, то есть он, единственный, был знаком мне по роду сумасшествия.) И можно было бы, по загодя заготовленному руслу, подумать, что они сошли с ума от несвободы, от жизни в зоопарке, от тюрьмы, — но нет. Если это и было, то что-то тут было еще. И это еще было главнее, страшнее и новее для человека.

С какой же внезапностью и тоской вдруг осознал я, что медведя того передо мной уже нет, больше чем нет — его не может быть. Если современный человек не приписывал бы себе, не присваивал до такой степени все, что даже суждение, высказанное о каком-либо предмете внешнего мира, характеризует нам уже ни в коем случае не этот предмет, а говорящего об этом предмете человека, то знаменитый анекдот о некоем персонаже, увидевшем бегемота и сказавшем: «Не может быть!» — был бы наконец не о нем, а о бегемоте.

Бегемота, уж точно, не может быть.

Нет, я не жалел зверя в клетке, а чуть ли не благословлял зоопарк, что в нем еще есть тот медведь, которого уже нет: иначе как бы я узнал об этом? Это был чудом уцелевший медведь, последний медведь, как последними были и все остальные звери; казалось, он сам не верил, что он еще есть. Я опять описываю круг приближений к центру его безумия и не становлюсь ближе. Однако я убежден, что во взгляде его было именно это безумие — оставшегося последним. Дело, может быть, было уже в том, что медведь сдался жить дальше; причем сдался не этот именно (персонально) медведь — в нем сдался медведь вообще, в нем не осталось жизненной энергии быть медведем. И действительно, если среди звериных инстинктов, не разошедшихся еще, по сравнению с человеком, с логикой Творения и Творца, не потерялось точное чувство наступающей смерти, когда зверь прячется, уползает и т. д., то почему ему не ощущать смерть и более глобально: вида, рода, самой жизни? Звери Ноева ковчега имели больше шансов выжить среди ужаса стихий, чем эти — в абсолютной безопасности зоосада, какая существует у смертников от приговора до исполнения. Тут уже не осталось чистых и нечистых — все они последние, голубые, в дымке прощания.

Захотелось побежать назад, к слону, чтобы успеть посмотреть на всех этими вот, вдруг открывшимися глазами, заглянуть им в их последние родные глаза, ощущая виноватость и братство, братство всего живого на земле перед лицом гибели. И почему бы действительно не обнять ту же гну, как сестру, не

сказать: я нашелся, твой без вести пропавший в прогрессе брат! вот он я, еще живой и тебя не забывший...

Если кто-нибудь скажет, что я забыл в этом рассказе про дочь, то нет — я поднимал ее перед каждой клеткой, где ей было плохо видно. Она переживала все сильно, то есть молча, и не мешала мне пережить то, что я сейчас, такое немое, попытался как-то передать. Но — вот еще в чем дело — она переживала другое, а что — наверняка не могу сказать. Во всяком случае, эти же звери, которые для меня, в силу вдруг открывшейся мне печати их последности, становились среди фанеры, лотков, заборов и клеток чем-то сливающимся по своей условности, как жестяные, неровные их собратья из тира, — то для нее (дочки) эти же звери если и были неправдоподобны, то как раз своей реальностью и жизнью. И когда я, увидев неподалеку от карусели жалкого вытертого пони, которого уж совсем было отличить от карусельной лошадки из папье-маше, сказал дочке, с сомнением, как бы извиняясь за пони, что он такой: «Хочешь на пони?» — она вдруг так глубоко и старательно кивнула, так покраснела от страсти, что я понял, что живой мир еще существует всерьез.

Не странно ли, что мы все больше производим книжек со сказками и картинками про зайцев, волков и лисиц, все больше надуваем рыбок, оленей и медвежат из резины, пластика и ваты... И дети наши уже живут в мире, где зверей-игрушек в тысячи раз больше, чем зверей-зверей. Игрушки эти уже не предмет первого знакомства и познания того, с чем проводить жизнь, они — предмет мифологии. И недалек тот день, когда сказочность басенного зверя — зайчика, волка, медведя — перерастет аллегорию и приобретет масштабность небывальщины: драконов и грифов. И это так. Объективно говоря, зайчика ничуть не проще сделать, чем грифона, если его уже нет, зайчика... И жутковата мысль, что все наши игрушки и сказки — лишь пережиток другой, ушедшей от нас эпохи, когда добрые старые девы воспитания полагали, что, через такие вот игры и забавы, происходит в детской душе первый посев любви к ближнему.

ГОРОД

Вот — город! Он большой и маленький. В этом едва ли не главная его прелесть. С одной стороны, все у него есть, что у города-спрута: и миллион жителей, и метрополитен, и траффик, и индустриальная окраина, и климат, как ни странно, для такой обетованной страны не самый лучший, с некоторой воздушной злокачественностью; с другой — ничего этого нет. Вы сворачиваете...

И за углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, как каждый его дом — по-своему город. Каждая веточка его неоконченна в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая — растет. Вы не можете быть уверены, что в доме этом не прибавится еще балкончик, или еще лесенка, или еще чердак у чердака: то ли вы вчера его не заметили, то ли его надстроят завтра. И если вы кликнули со двора приятеля и он вам ответил «Иду!», то еще три раза он исчезнет и мелькнет, оказываясь то слева, то справа, то на лесенке, то еще на каком балкончике, прежде чем ему удастся спуститься вниз, стать перед вами и пожать вашу руку, скорее всего подозревая, что вам от него ничего не надо. А если два литра белого вина заменят вам ночное зрение, то как же вы заблудитесь на этих ветвях, понимая, что вам надо было подниматься не по той лесенке, а по обвивающей ее, как лоза, но в другое окно приводящей. Ах, пардон, колбатано, я не к вам. Пардон, пардон, вы мне снитесь: эти лесенки не обрываются, запутывая ваши марши, — они просто ведут не к вам.

Вот, как бы из-под дома, пробивая асфальт, раздвигая камни, за высокой и узкой решеткой возрос сад на площади в один человеческий след... потянулся вверх своим могучим, не способным устоять стволom; потянулся до карниза, уцепился, пошел в стороны; затянул стену, затянул окна, балкончик затянул: усики его повторили завитки балконной решетки; он увил балкон, женщину, вышедшую на балкон полить свой цветок, обвил носик наклоненного в ее руке чайника; удержал в своих изгибах и поворотах время, как в сетях, — оно запута-

лось, остановилось, застряло; и девятнадцатый век, и дома в нем, и люди в домах, комнаты впотьмах, и те, кто там тихо бродит в прохладе и не высовывается... И уже не виноград разросся по стене дома, не виноград цепляется за эти обреченные стены, а стены повисли на мощном его вырождении и держатся лишь тем, что когда-то его поддерживали, памятью тех, кто в них жил когда-то, держа в хрупкой своей скорлупе образ той любви, что называется родиной.

Вода пролилась за цветочек, водопадиком, тоненькой струйкой, пересекла улицу — из-за угла вышли три беспечных господина: один высокий, с узкой головой, в усах и кепочке; другой — в ватнике, похожий на Пушкина; третий — грач в пиджаке... — нисколько не удивились на то, что я не такой, как они, прошли сквозь меня; их неровная, чуть веселая песня еще долго спускалась, петляя, вниз и казалась уже совсем иссякнувшей, как вдруг, благодаря новому повороту улицы, опять меня достигала.

Окликнуть их разве, остановить? Потому что если они еще пройдут с полкилометра, то вдруг вывалятся на асфальтированную улицу с лампами дневного света, ослепнут, попадут под троллейбус, мало ли чего...

А может, сами свернут вовремя, сам собою подойдет им под ноги своими коварными ступеньками духан, вдохнет в себя и снова не выдохнет. Потому что откуда же появились вот сейчас мне навстречу, откуда же выползли на свет, как не из вчерашнего дня, проспав свой век? Положительно, они не дойдут до улицы имени великого поэта, не будут они долго торговаться и выбирать и удовольствуются тем, что предоставит им в двух шагах с л у ч а й.

Вы всегда успеете свернуть ровно накануне такого впечатления, которое уже могло бы и подавить вас своей убедительностью или последовательностью. Вряд ли еще где-нибудь можно найти такие уютные переходы для обветшалой или изношенной психики, как в этом городе. В нем вы не сойдете с ума, в него поместится и ваше сумасшествие. В этом городе еще сохранилось место для городского сумасшедшего, всеобщего любимца и баловня.

Этот огромный город бесконечно сбудется для вас. Он будет сбываться, как пожелание, как сон, — за каждым поворотом. Вы всегда окажетесь в пространстве малом и уютном, чтобы обернуться и увидеть даль и гору. И этот постоянный выход в новое, чуть в то же время прежнее, пространство успокоит, утешит, умиротворит.

Город повиснет на левом отвесном берегу мыльной широкой реки действительно как гнездо: балки и балкончики будут торчать за край, как прутьики гнезда. Он плавно и вечно поползет вверх по правому пологому берегу, обвивая ближние склоны, как виноград, и какие-то листья будут крупнеть, темнеть, грубеть, какие-то желтеть, краснеть, какие-то свежо зеленеть, и весь этот коврик будет — город. А сверху он предстанет как этажерка, как один разросшийся спичечный коробок: полочки, терраски, лесенки, галерейки будто соединят дом с домом, — все это скрепит то ли общее дерево, которое, растя в одном дворе, нависает над другим, то ли общий виноград, перекинувшийся с балкона одного дома на балкон другого... Все разрослось, запуталось, срослось — все это живо.

Вы бредете по нему, ничего не предполагая, как в лесу. Однообразие и постоянное изменение, неоткровенность закона — дерево. И это неотомительное однообразие, незаметное разнообразие — этот живой ритм — город начинает совпадать с вашим дыханием, пульсом, шепотком крови. Но даже если сумеете что-нибудь еще пожелать от жизни (как от избытка любви можно хотеть любви еще и внутри взаимности), то и блажь может сбыться в этом городе, тут же, за поворотом...

Мы свернули с улочки, на которую нам как бы не удалось попасть... Как пояснить?... Мой приятель хотел мне показать живопись одного художника, и я стоял, рассматривая домик за решеткой, садик, заросший какими-то лопухами, с сухой неровной чашкой недействующего фонтана, погруженной в траву... Я так стоял и переминался, пока мой друг пропадал внутри, договариваясь о визите. Но вот он вышел наконец, сокрушаясь: вдова художника оказалась больна и не могла нас принять. Подобного рода неудачи вдохновляют меня — мы свернули с улочки, на которой не побывали, и попали на еще более удивительную и небывалую. Она уходила из-под ног влево и вверх, как взмах, именно как жестом руки наведенная. Булыжник, травка между камнями; домик с лесенкой посередине на второй этаж; человек, несущий связку веников... все здесь было устроено, как в чистой душе праведный отдых... Вот только доска с названием улицы казалась мне как бы лишней. Такая, с современным вкусом, литая доска с пояснительным текстом. Буквы были хотя и грузинские, но даты — мои. «Вот только эта доска и лишняя, — сказал я приятелю восхищенно, — сними ее — и времени не прошло». И тут же вышел мрачный и небритый человек, оставив толстую жену в окне, с выражением на лице как после крика, примерился и — содрав доску гвоздодером, скрылся в доме

с нею под мышкой. Жена что-то кричала нам в спину. Приятель мой смеялся: «Вот видишь...» — «Неужели?!» — сказал я. «Ей надоело, что все в ее окна заглядывают...» — ответил он.

Такой город. Таким он вырос, таким он был до сих пор. Все ли в нем благополучно насчет коммунальных удобств? Достаточно ли теплых туалетов и горячей воды? Безопасен ли он в противопожарном, так сказать, отношении? Нет, нет, тыщу раз нет. Его необходимо снести весь до основания, а затем... Другого выхода из него нет.

Если вы хотите и сейчас видеть город таким, каким он был всегда, то теперь это возможно только из трех точек...

Хорошо поселиться в центральной высотной гостинице, которую слишком видно отовсюду, — зато с ее высокого этажа замечательно ее не видно: город разбрелся вокруг гостиницы, как коза по лужку — на длину веревки. Отовсюду вы увидите этот кол, лишь только выйдете из гостиницы и обернетесь.

Так же хорошо смотреть на город сверху, поднявшись на гору, где стоит дюралевая тевтонская мать с мечом. Вы увидите этот длинный, просыпавшийся из-под вас город в синеватом табачном дымке. Отсюда, столь уж сверху, даже высотная гостиница не покажется такой уж большой. От переизбытка чувств вы задерете голову и увидите над собой клепаные ноздри алюминиевой женщины; как раз над нею прочертит небо Ту-104, ее брат, равный ей по росту.

Хорошо было бы проверить и еще одну точку, хоть сам я этого не успел. Надо перейти на левый высокий берег, подняться на утес к монастырю, повисшему над рекой, встать возле недавно воздвигнутой под ним лошади, на которой, с мечом же, простирает руку очередной, еще более древний, чем прежде, основатель города, и глянуть вниз на место, где наконец-то снесли злокачественные трущобы, где будет сквер и пионерский бассейн. Это будет вид на город, в котором поместится все, кроме лошади, — я такого не видел. Я бродил, там, внизу, по снесенному курятнику, по свалке кирпича, тряпья и консервных банок, отшвыривая носком своего ботинка другой стоптанный ботинок, бродил, как выразились бы археологи, по современному культурному слою и слушал рассказ о том, какие тут еще недавно уживались языки, ремесла и народы, в этом местном вавилончике. Какой здесь был необычный и ни с чем не сравнимый водоворотец языка — филологический цветок, клубок наречий, неповторимый, невосстановимый. Диалект жив, пока на нем говорят. На нем говорят, пока есть с кем, пока — вместе. Теперь этого языка уже нет, он расселен с удобствами.

Странно было представлять себе это: сносимый бульдозерами пласт человеческой речи, соскобленный языковой слой. Я не поднимался на уровень лошади, зато ее я хорошо видел: спотыкаясь на этой свалке, где город будет и саду цвести, оглядываясь, я все видел занесенным над собой ее победное копыто. Эта кобыла уникальна по архитектурному тщеславию: для того чтобы она соседствовала с украшением, господствовавшим веками над городом, потребовалось «подровнять» (подорвать) утес, на котором стоял монастырь, потому что места для лошади на отвесной линии не было. Но тот, кто, столь на зависть скульптору, выбрал именно это место, видел именно эту линию утеса и из нее вырастил вверх свое сооружение, как прививают культурную ветвь к дичку. И она прижилась. Вот этой-то суммарной линии монастыря и утеса вы больше никогда не увидите: там стоит лошадь, причем стоит нарочито на луче взгляда, так, что всегда постарается заслонить храм своим тяжким крупом от вашего взгляда снизу вверх.

В эту цельную глыбу города, в это живое тело вогнано три точных клина, как в старинной рабьей каменоломне. Трещины эти ширятся по ночам. Скоро уже, скоро город развалится на три части, треснет на дольки, а каждую дольку уже не трудно будет быстро раздробить мелкими клинышками.

Все это благоразумно и целесообразно, хотя иногда и, как кобыла, неэкономно. Но что-то неразумно ноет в душе: дайте дожить! Живое же... пусть живет. Скоро, скоро умрет само.

Есть в этом городе, есть и в людях вот что: он живет, а не выживает, они как бы не упорны. Выжить можно лишь в новом качестве, а прежнее качество — это ваша душа, а другой у вас нет. Верность обрекается на умирание, измена — на жизнь. И раз люди иначе жить не могут — они исчезнут, они не выстоят внутри поменявшихся значений, ибо не захотят их поменять. Может показаться: по лености, по нежизнестойкости. Но какая же это стойкость: вымереть таким, каким ты рожден! Они кичатся перед соседями, трагически распыленными по миру, но всюду выживающими, что у них нет эмиграции, что они нигде больше жить не могут. Они нигде жить не могут, но и здесь их становится все меньше. Ибо то, что не захочет себе изменить, вымрет. Поголубеет кровь, и не свернется, и вытечет по капле из легких царапинок, почти случайно нанесенных...

Кто мне объяснит, куда подевались все этажерки? Какому объяснению я поверю?.. Если даже от блокады у нас в доме уцелела бамбуковая этажерка, по-видимому, потому, что всем было очевидно, что тепла она даст, вспыхнув и тут же прогорев,

не больше, чем спичка... если она даже блокаду пережила, то куда потом подевался ее бесплотный желтый скелетик, оставив во мне на всю жизнь свое поскрипывание и шаткость, когда я вытирал с нее порученную мне пыль?.. Кому однажды надоело эту пыль вытирать, кто не вытерпел, что на нее нечего положить, и что же все-таки клали на этажерки в то этажерочное время? И если никого не удивляла необходимость вытирать с нее пыль в течение десятков лет, то на какое утро вдруг это стало так раздражать? В какой миг мы сообразили, что если бы ее всю жизнь не вытирать да перемножить время вытирания на число тряпок, то получится сервант? Куда мы так заспешили, что стали, чертыхаясь на бегу, зацеплять карманами за ее нелепые полочки и палочки? Когда будильники наши нервно затикали, отменив мерный ход почти неподвижного маятника, не торопившего стрелки? Когда я заменил визиты на письма, письма на открытки, открытки на телефонные звонки, а телефон отключил? И почему сейчас я с умилением вспоминаю эту глупую этажерку, когда даже мне очевидно, что этажерка на самом деле необычайно неудобная, нелепая, никчемная вещь, не только утратившая, но и не имевшая назначения?.. Что за слезы на свалке?! Не унывай, не стоит.

Так мне скажут...

Выживет — живое, слабое — отомрет. Что за странная страсть к обреченному? Будто если что-нибудь хорошо, то обречено, а все, что обречено, — хорошо. Это не так. Не стоит. Нечего.

А — жаль.

Здесь можно жить, здесь живете не вы. Здесь приживается даже злой, угрюмо, никому не делая зла. Здесь — оседают.

...Как будто вы уже жили однажды... Такое мирное и любовное узнавание во всем, словно вам еще раз и ненадолго разрешили посетить... И вы пришли на службу, на которой служили когда-то, переложили официальную бумажку с места на место, сдули пыль со стола, подозвали кого-нибудь к телефону: «Одну минуточку...» День прошел. Домой... Встретили приятеля старого, он вас вспомнил, обнял, трепетно похлопал по крылу, вам по пути... выпили стаканчик-другой, еще кое-кем из друзей обросли, еще куда-то пошли, где именно всех вас вместе «очень ждали»... а вдруг рассыпались куда-то друзья, осыпались, как листья, и вы один — по вздымающейся улочке, по искрящимся камням, по которым уже не цокают копыта и фаэтон не катит навстречу — последняя искра остыла единственной звездой. Ветер повеет то теплом из застоявшегося пере-

улка, то свежестью холмов. Еще за угол — и ваш дом... В руках у вас огромный бумажный кулек, как букет роз, в нем пряники, и макароны, и два граната сверху, — нельзя пустым прийти в дом... но кто же знал, что вы домой вернетесь: ни сеточки, ни кошелочки, ни той авоськи, которые расходятся отсюда по всей необъятной стране, у вас опять не оказалось. Неудобно как-то мужчине — с кошелкой... Ступеньки на вашей лесенке какие-то громкие, дырявые... Да не лай ты, Господи! Совсем старый дурак стал, не узнаешь, родной... я же домой пришел... Одно и светится окно — твое... Жена теребит свою старушечью косу... Посмотрит с нежным неудовольствием — то ли ты уже десять лет дома не был, то ли опять, как вчера, домой не вернулся... Господи, эта женщина — женщина и есть: она так полагает, что ты ее муж, не надо ее расстраивать, она хорошая, наверное, женщина, думает что она твоя жена, так считает, пусть считает... она думает, что ты живой... ну, глупая, конечно... зачем ужинать? тебе ничего не надо, там, откуда ты вернулся, ничего не едят, уже покушал, спасибо... а теперь, обняв тюфяк, будто на крышу идешь спать, на звезду будто хочешь посмотреть, тихо-тихо уходи потихоньку навсегда, пока жена посапывает, и дочь посапывает, и сын выкрутил лампочку под одеялом... тихо-тихо, опрокидывая тазы и фикусы и путаясь в зарослях белья, через балкончик, по пожарной лестнице, туда, на чердак, где коричневый лук висит в коричневом окошке, отменяя живопись... уходишь вверх навсегда, пока не придется тебе завтра тащить сюда же неведомо откуда образовавшийся некрасивый рассыпающийся кулек, прижимая его к растущему, однако, животу...

Вы уходите навсегда, вы всегда возвращаетесь.

Вы сворачиваете. Ах, девятнадцатый век был еще так недавно! В нем можно было случайно застрять и осесть. То есть я хотел сказать, что в этом городе хочется осесть. Но тут же вы понимаете, что это невозможно. Потому что не девятнадцатый век. То есть город — это так, да не про вас.

Как странно понимать, что это чье-то, не ваше дело... А вы-то так почувствовали, так полюбили, так поняли! А это — зависть.

Вы так бескорыстно, так всем сердцем восхищены, что на вас начинают смотреть косо, подозревать в задней мысли. А какая — задняя, когда она впереди и вы гоните ее перед собой, боясь отстать. Ах, эта интернациональная пошлость — чувство стыда за дом родной...

Но ни в одной-то мысли вы себе не признаетесь, ни в одной... Вы так сумеете восхититься и полюбить все чужое,

что не покажетесь себе захватчиком. Вы же не требуете такой же любви к своей родине, какую источаете к чужой, и подлинность этого восхищения будет, по вашему мнению, искуплением более чем достаточным, потому что вы уже не отвечаете ни за род, ни за отечество, вы в нем не виноваты. Именно за это вы кажетесь себе достойными ответной любви. Тиражированный агент Империи выступает как мирносец, совершенно не чувствуя себя хозяином; он все приемлет по незадумчивости, по праву. Про него знают, что он собирает подать, — он один в скромном неведении на этот счет. Он позволяет хозяевам, как бы стесняясь и только чтобы не нарушить обычай и их не обидеть, произнести за себя тост и заплатить за стол.

Выплюньте кусок невинного барашка, отрыгните лишние годы от коньяка, скажите, кто вы такой, в конце концов, нарушьте неправильно понятый вами обычай — пусть вас побьют... Отойдите от гостеприимного стола, размазывая несправедливые слезы по своему лицу, как чужие... Вы сворачиваете.

Вы сворачиваете, переплатив втрое за разбавленное пиво и отравленные вокзальные манты, вы совершенно один, девушки на вас не смотрят, бритва перестала брать шетину, обувь трет, и кислая резь в животе. Вы сворачиваете.

И вы счастливы... Улица поблескивает неровным булыжником, вздымается вверх и вправо, и, сквозь теплый черный воздух, загорается в конце этой улицы одна звезда.

Там кончается город, верхние погашены этажи его — горы, утром они первые зарозовеют.

Как светло в этих потемках!

Что за незадумчивая власть врожденного образа... Будто человек, родившись, раз и навсегда отпечатал первое впечатление на младенческой сетчатке, оттого именно такой потом выткет ковер, именно так построит дом, именно такую выкует решетку, именно такой получит кладбищенский крест. Эта цельность натянута в вашей душе и поет, как струна: вы слышите родную песню, и слова ее — это вы.

ГЛУХАЯ УЛИЦА

Одним из признаков, характерных для многих самовоспроизводящихся систем, которые мы называем живыми организмами, следует считать конечность жизни отдельной особи. Эта «естественная смерть» живых единиц, которые в течение определенного времени служат звеньями непрерывной цепи, идущей от истоков жизни, для большинства видов не имеет большого значения, так как место погибших особей быстро занимают другие.

*Бернард Стрелер.
Время, клетки и старение*

Я иду в магазин, на почту и просто так...
Не забыть купить масло, стиральный порошок, **МУЖИК**
не забыть позвонить в город редактору, а если его нет, то...
забыть купить шоколадку дочке и забыть опустить в ящик
тетино письмо (я все еще потрагиваю его в кармане, чтобы не
забыть, но потом выну руку из кармана); не забыть бы обдумать
по дороге за маслом статью, чрезвычайно насыщенную, о состоя-
нии современной критики, чтобы, вернувшись, сразу сесть за
нее и завтра отослать в Москву, где ее (нет у них других дел
жизни!) страстно почему-то ждут (я не отправлю ее и сейчас,
спустя месяц, за что буду очень ругать себя, вместо того чтобы
похвалить и поддержать в себе еще не до конца вымершую
точность и принадлежность жизни).

Так я иду и что запомню, а что забуду из действительно
подступивших ко мне дел. Я не забуду и забуду про масло,
гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин, про один звон-
ок по телефону, два визита и три прощания... но я наверняка
забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой,
проходимыми и облаками, что сам мчусь в этом потоке, подсве-
щенном солнцем во имя моих глаз, что мне будет когда-нибудь
«мучительно больно за бесцельно прожитую» именно эту секун-
ду, — потому что, забуду или не забуду я ту или иную завитушку

своего долга (кем предъявленного?), я все равно занят не за-бы в а н и е м, а не настоящим мгновением, которое тем временем неотвратимо прошло мимо, и это уже не восстанешь — навсегда.

Мозг мой — насыщенный раствор. Яды и соли памяти проточили в нем ноздреватые ходы, туда с легкой видимостью уходит трепетная влага жизни, поверхность коры — дырчата и суха. Но я еще жив, у меня еще шевелится хоть пальчик на ноге, свободный от некроза, и на нем еще болит мозоль. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет, нет! она коснется меня. Пусть не прильнет, не обнимет; но так, в своей живой задумчивости, где нет еще язвы сформулированной мысли, она, не заметив меня, как девушка, направляющаяся на свидание не со мной, а с другим, счастливчиком, красивым и прочным, в автобусном проходе заденет тебя краем своего облака здоровья и отмытой молодости. И хотя я уже не прямой родственник жизни, и я попадаю иногда, безымянный, на ее именины, и мне находится приставное местечко с периферийной закуской. Так что не всегда прохожу я мимо жизни, неся в руках неудобный, в постыдной рвущейся газетной обертке пакет из каких-то поручений, похожих на выкинутые крышки из-под майонеза, и долгов, напоминающих нестираные носки и неопубликованные рукописи, и хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт, несколькими пуговицами, пробками и дореформенными копейками и множеством мотков бумажной бечевки, там еще и гвоздик один есть... там еще, сверху, телефончик, забыл чей, записан... но газета треплется и рвется, а мне тридцать три без недели года, не доехать до дому и не забыть его никак, не потерять ни дом, ни пакет... что-то все больше сыплется из него. И вот, когда просыплется еще разок, я вдруг испытаю, за ужасом потери, — расслабление свободы; и тогда вижу уголок рта, край воды, клочок неба; а там сразу цветущее поле, и никто не заметил, что ты туда (не туда) пошел, не окликнул, не окликнет... вот тогда, на свободное место в пакетике, на место всего лишь гвоздика, кривого и ржавого, или высушенной пробки — вот на это место — лес, утес, птица... Все-таки нельзя пройти мимо жизни, поднять на нее ненароком глаза и не забыть сразу хоть что-нибудь! Да будет благословенно все то, чего я не совершил, пропустил, обронил, потерял, отпустил, простил и простился. Да будет благословенна моя лень. Да будет проклята жадность, что ничего не выбросил, не отшвырнул, не отпихнул, а все ждал этой милости случая потерять что-либо.

Так и вваливаюсь я в это повествование, раскрасневшийся, потный, в руках у меня сверток, я его прижимаю к животу, в шею мне втыкается проволока от шампанской пробки (почему-то именно она проделала верхнюю дырочку), к штанинам моим пристали фантики и чуждое конфетти, счастливые трамвайные и лотерейные билеты, беспроигрышные магазинные чеки по 2.87 каждый для ровного счета, а вот билет на американскую «Порги и Бесс», что давали на пятнадцать лет назад новый Новый год, и гардеробный номерок в часовом кармане, без стрелок точно показывающий не то день, не то год, не то час, когда все это было... в руке держу несколько экзаменационных билетов по ботанике, конституции и взрывному делу; лифт не работает, ноги горят, сердце бухает в пакет; еще умудряюсь достать из заднего кармана ржавую связку ключей от давно исчезнувших замков, чтобы открыть ими окно в летящем с моста автобусе... Вот в таком виде встречаю я любовь мою, и, как назло, не на что положить пакет, чтобы броситься к ней на шею, к тому же положить его нельзя, даже если бы было на что, потому что я еще удерживаю его и он сразу развернется у любимой на глазах, что стало бы уж совсем некрасиво. Да и как бросишься на шею, если перед тем аккуратно отложишь в сторону сверток? Нечестно. На опустевшей лестничной площадке я бросаюсь на колени, передо мной сверток, свежая царапина от шампанского кровоточит на шее, и я бью земные поклоны помойному ведру... А хотел я сказать то, что если жизнь и заходит по недоразумению в мою клетку, то это значит, что я обеспамятел еще на какой-то отрезок прошлой жизни, ибо, как в насыщенном растворе, добавление соли, даже при постоянном помешивании, ведет к выпадению в осадок такого же количества соли, тут же выкристаллизовавшейся.

И вот такое нереальное существо бредет, как призрак, среди реальных кустов и трав, где щебечут реальные птички и ползают реальные букашки, чтобы купить в сельпо масло и стиральный порошок, но оно, собственно, не делает и этого, не только потому, что скрепки и кнопки поручений не дают ему возможности поозираться и оказаться во внезапной для него, но всегда продолжающейся без него, реальности, но и потому, что и масло, и — что там?... — мыло тоже не являются реальностью для него: наоборот, это что-то чужое и грубое, отторгаемое его душой и тоже не осознаваемое как реальность. В таком разрыве реальности, в самом разрыве, где справа и слева окажутся края его: ворсинки и лохматые ниточки, — в этой мертвой зоне бредет тень моего существа, переходит гнилой ручеек, что

подымается в гору, и оказывается в таком светлом коридоре из заборчиков и берез, в конце которого, уже меж соснами, голубеет провал... мыло и масло выскальзывают из головы его, и я вдруг ощущаю острую боль счастья: небо опрокидывается на меня, редкой голубизны и светлости — давно не было такого денька! — зашелестели листья, закричал ребенок, ласточка чиркнула под ногами, и на палец села божья коровка...

Божья коровка улетела в небо, с неба упало три яблока: мне, тебе и рассказчику... Голубой провал отворился меж двух бесконечных сосен — там было озеро. Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора озарения, и я расплылся на берегу. Расслабленный, припомнил я потускневшие слова: вынутые по случайности, поодиночке, они ничего уже не значили, они высыхали и серели, как камушки из моря... Да и как уловить эту тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя?

Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро», озеро вообще. С лодками, черными, полузатонувшими и легкими, цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым, пришивая его к лесу, мелькал меж сосен, стежком, железнодорожный состав, и болотным ковром слева, с еловым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое, и холмами, там, вдаль, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне, стоит, не отличимая и слитная в деревьях, роща, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок с редкими кривыми сосенками, к нему вплотную подходил тот болотный ковер, и на нем, все более сливаясь в сплошной белый цвет, светились декадентскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото, все более пунцовея, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловела, потом золотела, аела и синела, а там, совсем вдаль, у противоположного берега (где «замок»), вдруг — чернела. Взгляду было не на чем остановиться — это была невесомость взгляда — он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что — где ты, где озеро, где, тем более, дом, где вообще все, чего здесь нет, не было.

Где бы мне и смотреть на него и не быть собою и быть этим озером хотя бы столько, сколько позволял закат?

Надо же столько гнаться и преследовать замысел, чтобы он тебя догнал?..

Вот что, наверно, думал я на берегу:

«Я никогда не думал о смерти (не боялся?), но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени, — мое активное (врожденное?) желание небытия?? Я бы мог быть счастлив (не знать) и в своей нереальности, гамаке между прошлым и будущим, если бы принял эту нереальность как свою. В конце концов, я всегда был такой и никогда не пребывал сознательно в своем «программно-желанно-реальном» смысле — так на кой мне окружающий мир? Но если любовь и счастье — это, в опыте, только те мгновения, когда меня не бывало: не было — младенчество, не было — не помню, не было — акт, не было — смерть, — то, значит, прежде всего именно желание исчезнуть владело мною всю мою «сознательную жизнь».

А где же мужик? Мужик где?

Все это время он идет ко мне по берегу озера.

ТРИДЦАТЬ ТРИ
ГОДА

Он идет ко мне уже очень давно, и вот сегодня проснулся, похмелился и потом выпил, поскольку праздник сегодня, День Победы, а он воевал-воевал, до Берлина дошел (до Берлина — это отклонение, конечно, от маршрута, но — строго продуманное, чтобы поспеть именно сегодня, в тот момент, когда я буду сидеть у озера и подумаю о том, что...).

И тут уже можно поставить точную дату: проходит, вот прошла помянутая неделя, и мне исполняется, вот и стукнуло... тридцать три года. Гвозди нокут в новеньких набойках, и, в этот памятный для Христа день, я занят приблизительным вознесением из кудрявого и цветущего то ли Дилижана, то ли Боржомы к своему озеру, навстречу мужику-апостолу, в мой студенистый край... Я переносу себя, упирающегося и нарочито-тяжелого, на тот берег и вдавливаю новенькие набойки в плотный сырой песок. Ясно вижу себя со стороны, растерянного и трусливого, стоящим на берегу в краю непуганых тем и ухмыляюсь злорадно. Но — поздно. Будто в копченом и мятом котелке (в данном случае соответствующем утренней форме головы) на чадавшем фитильке начинает разогреваться некая вчерашняя смесь из выдохшегося пива, кофейной гуши, растаявших окурков, любит-нелюбит лепестков, и восходящий ток выбрасывает на

поверхность то окурков, то плевков — и опять на дно, по кругу. Творческое кипение. Иди же сюда, мужичок... я тебя здесь вы... пишу.

Он приближается ко мне справа. Выходит не то из кочегарки, не то насосной станции, что у железной дороги, щурится на свет, уверенно покачивается в добросовестном, положительном опьянении, видит меня... А я, стало быть, сочиняю автобиографию три года назад. Как же уловить мне тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа, и без того придавленного осмыслением и формулой, огрубленную пьянством судорожного бытия?

Ну да, это он. Он клал мне печку прошлой осенью. Таковую же старательную, кривоватую и честную. Ничего, горит... Я ему тогда вдруг понравился ни с того ни с сего. То ли от нежелания писать (сегодняшнего), слишком охотно приготавливал раствор и подавал кирпичи, что от меня совсем не потребовалось, то ли разговор у нас получился: о том, как можно и выпить, но надо знать сколько, и вот он никогда, чтобы с ним что-нибудь такое, хотя, конечно, бывает, но все в свою очередь и меру, или о том, что надо было тогда, в сорок пятом, не останавливаться в Берлине, а дойти до Америки, и теперь бы у нас никаких таких конфликтов, как теперь, никак бы не было, или о евреях — осторожный с ощупью, разговор... Так или иначе, но туповатое лукавство, лукавствующая тупость — весь этот мужицкий прищур много раз обманутого человека однажды исчез, и с пятерки, данной ему на водку сверх договора, сдал он мне два рубля, на поллитра возьму, больше не возьму. С тех пор нужен я ему бывал для разговору, когда выходил он со своего двора, вставал посреди Глухой нашей улицы и так стоял, уверенно покачиваясь, как на палубе, но всегда сохранял равновесие и никак не отступаясь, и смотрел в вечеряющую улицу, где уже в сумрак сплеталась коса тропинок. Так стоял он, терпеливо ожидая, с извечной тоской общения в глазах... а прохожих никогда не было. Ты мне вот что скажи, Андрей, по батюшке, кажется, Егорович, правильно? вот что ты мне, Андрей Григорьевич, скажи... Я улыбаюсь, тоскуя от собственной неискренности, склоняю как бы ласково голову к плечу, выслушиваю. Отвечаю старательно, подбираю слова, и тогда: ты вот учился, институт кончал, вот мне не пришлось... выслушает, пожует, вдруг — точно — именно обида зальет ему глаза, крикнет он, оторвет в раскачку каждую ногу в отдельности от земли и пойдет, не оглядываясь: обидел ты меня, Андреич, почему

отказался, у меня еще полмаленькой стоит, — пойдет допить, а там, поди, крикнет и еще раза два махнет рукой с досады...

Вот он идет ко мне и опять надрывает меня по линии отрыва, как листок с календаря... Только что шел я за мылом, погруженный в суетливый список небытия, вдруг озарение снизошло, слился с миром и настоящим временем на секунду, тут же вырвало меня из жизни снова в небытие, но как бы во вдохновенное, поэтическое, и опять, на тебе... какого черта идет ко мне этот мужик?!

Девятое мая сегодня, День Победы, вот что он говорит, а я до самого Берлина, трижды ранен и контужен, двадцать лет прошло, почему не выпить, нельзя не выпить, про него никто ничего, безусловно, не скажет, чтобы он или что-нибудь такое... Он шел ко мне, стало быть, от рейхстага, ать-два, двадцать-ать лет и ровно так подгадал, чтобы я сидел вот здесь у озера и думал в эту секунду, что...

Я окончательно об этом забуду, когда он подойдет. Соседи пластинку заведут, звуки вращения, сматывая пейзаж в серый, сумеречный клубок...

— Ты чего тут... — скажет он мне ласково. — Стоишь...

— Думаю, — скажу я грубо, и с тех пор уже ни одна одинокая мысль не посетит мою голову, и такое примечательное чувство разойдется по мне горячими волнами стыда — я заизвиняюсь тут же, завру. — Понимаешь... шел... закат... подумал... озеро... жаль... земля... небо... птицы... куда там...

И так, примазываясь к честности его опьянения, не глядя в глаза, выражающие радугу вина, перламутровый закат разума в глади вечеряющих глаз: расплывчатость и пристальность, лукавство и виноватость, преданность и хамоватость, самодовольство и желание угодить, уважительность и сильное сомнение в моих, своих, твоих, в их словах... подбирал я в себе народные мысли, чтобы навсегда в них усомниться и уценить.

— Нет, ничего уже нет! — восклицал я, чуть не плача от неискренности, погрязая в апофеозе и пафосе. Именно так однажды взглянул мне глаза один медведь в зоопарке!.. Пощадили бы хоть видимость...

Мужик уперся в меня взглядом и подналег.

Как бы так... Пьяный катил по дороге тележное колесо, чтобы не пропало; такая полезная, почти целая вещь, которая всегда при случае, мало ли что бывает вдруг, обязательно пригодится, на память о лошади, которой не может быть. Колесо имело неправильную форму круга и неправильно катило за собой пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от

него; переваливаясь, раскачивало его ровно в противоположные стороны; ему налево — мне направо, — подло приостанавливалось боднуть и резво упрыгивало снова вперед — ах! — опять валилось набок. Тут уж чувство, владевшее, начинало перерастать: это же черт знает что! — когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы и польза была: и выпил, и колесо, — вдруг так обернулась? «Ну, так я тебя!» — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая как раз для того, чтобы оно, в этот раз, ни с того ни с сего встрепенувшись, на него наехало. «Однако и ты... — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая и надежно ухватываясь. — Р-раз!» Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина: может, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло. «Однако врешь! — (Выразительно подкрадываясь с другого боку.) — Дудки, я протрезвею или тебя брошу!» — на этот раз имея в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом вкатится наконец во двор, толкнувшись о крыльцо, а она не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласке, что задохнулась в его груди... Он, она, оно — графический образ переваливающегося колеса. Ононаоно — наивное племя, пережившее цивилизацию. Ритуальный танец колеса усилий, живота смерти, слова с человеком... И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдясь, кружа и меняясь местами, гоня перед собою свой общий взаимный образ...

...Мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя, на дно живота своего, уцеплялся за запасенное впрок, дождавшееся случая тяжелое одно слово, приподнимал его за край, с упреком взглянув на засохшее в канаве колесо...

— Что точно, — сказал он. — Если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан, вместе со зверем: чтобы и зверь был, и человек... То придется ему, раз зверя уже не будет, достать его из себя. Чтобы опять поровну было.

— Да, да! — восторженно подтвердил я. Мир еще был прекрасен, он еще был, если припасал мне, неблагодарному и изменившему, опять подарок! Кто это прервал мои мысли? Какие, к черту, мысли! Из них состоял сам воздух, вода и лес — они нас, по случайности, выбирали...

Мы стояли на берегу, сросшись головами, как телята, двухголовое семя радиации и профсоюза; его химия перетекала мне в голову, моя мысль перетекала ему; мы покачивались на

бережку, на стебельке иссохшей пуповины, по которой вдруг побежал слабенький ток земли.

— Спасибо тебе, Господи! — вознес я. — Каждый из нас двоих еще не один на земле!

— Так ты и в Бога веришь? — сомневаясь и льстя, сказал мне мужик.

— Как же в него не верить, когда вот... — сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас...

— Я вряд ли верю, — сказал он. — Я в природу верю. Если бы Он над ней был — как бы допустил ее гибель? Ни один хозяин такого себе не позволит.

И он прав — и отказаться нельзя... Говорю:

— Вера не есть единомыслие с Богом, вера есть несомнение в нем никогда, в любом случае...

— Тогда, значит, уже Страшный Суд идет, так, по-твоему?

— Ну да! — подхватил я, обрадовавшись логике. — Дожили.

— А мне своего сынишку жаль, — сказал он. — Это ты как рассудишь? Если я его люблю и мне его жаль, тогда вот как? Тоже, я тебе скажу, не получается... Ты вот да я, может, и заслужили, а мальчонка — чем виноват? Опять неровно...

— Вот ты про зверя правильно сказал, — говорил я, выпутываясь, — так же и дети... Мы же детей в них убьем, себя в них вырастим.

— Ага, — сказал он. — А пока он такой, махонький, как быть?

— Пока он такой, еще конца быть не может, — заявил я ему уверенно.

— Тогда правильно, — подтвердил он.

— Вот как ты сказал, — все более приблизительно говорил я, довольствуясь его согласием, — когда зверя не будет, то человек его из себя, чтобы поровну, извлечет. Так, значит, его-то, человека, сразу станет вдвое меньше. А потом, когда дети подрастут, совсем мало останется. Так, постепенно, на нет и сойдем.

— Тогда правильно, — согласно кивал мужик моею головою, — если сначала вдвое меньше, потом вчетверо...

Так мы стояли, обнявшись, на последнем берегу, способные к арифметике и удовлетворенные этой своей способностью.

— Человек — всегда меньшинство, — глубоко сказал он, достав последнее словечко с самого дна и споткнулся. — Нас — вдвое, пошли во мне к кочегарку...

Кочегарок был баленьким человечком...

**ВОТ В ЧЕМ
ВОПРОС**

Мы сидели в кочегарке, которая была скорее насосной станцией. Она стояла на берегу озера, под насыпью, над нами проходили поезда. Здесь было уютно. Помещение было настолько глухим и изолированным, что надо было бы помнить, где оно помещено: под насыпью, между озером и густым зеленым водоемом, вроде воронки от бомбы, из которого, впрочем, трудно было бы предположить, что берут воду... Когда проходил поезд и чуть превышал ровное техническое гудение и дрожь помещения, можно было вообразить за стеной море, себя — на берегу, оттого еще, пожалуй, что здесь было очень тепло. Я забывал, где я, и когда вспоминал, то проходил какую-то стадию предвоспоминания, что будто бы я ночью посреди большой воды на барже или что-то в этом роде, изолированное и безвольное, как маленькая волна или воздушный шар.

Вокруг помещалась именно та техника, которую, в отличие от лайнеров, реакторов и лазеров-мазеров, именно и можно обозначить словом «техника», по-детски. Мохнатились в углах толстые трубы; кудрявились большие, как штурвалы, вентили; приземистые, зеленые, как лягушки, чавкали два насоса, и, в центре, очень большая, громоздко сливаясь с темнотой углов, сидела некая прабабушка современной ракеты с двумя недействующими манометрами, как в подвязанных ниточками очках, и тихо посапывала, открыв опустевший рот топки.

Мужик хорошо за ней ухаживал: она вся налилась надежной старостью и поблескивала редкой надраенной медью. Ей было здесь хорошо, здесь вообще было хорошо: тепло, чисто и темновато от экономной лампочки. Пахло... Господи, как тут пахло! Ветошью, углем, маслом, мелом, остывшим теплом, темнотой утренней смены и синим цветом металлической стружки... В пустом ведре стоял веник, на полочке над раковиной — кружечка: на мохнатом колене трубы — полмаленькой... Все знало свое место, всякий шесток...

Я ему все здесь похвалил, и он терпеливо выслушал.

— А как же... Пролетариат... — непонятно сказал он, и мы выпили. — Ты вот образованный, пишешь книжки, ты мне вот что скажи. Почему плохие книжки издают, а хорошие не печатают?

«Не может быть! — радостно думал я. — Откуда он и это знает? Ах я неблагодарный!..»

— А все потому же, — заявил я.

— Вот, например, «Кавалера Золотой Звезды» кто написал?

— Бабаевский...

— Правильно, — сказал он. — Знаешь. Вот почему ее не издают?

— Так ее ж издавали! — удивился я. — Даже премию давали, первой степени!

— Ну да, издавали... — усомнился он. — Я ее от руки читал.

— От руки?!

— Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там ведь про хозяина написано. Про землю. Вот ты объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать?

Я уж и не знал, что ответить. Апокриф «Золотой Звезды!» Это же надо...

— Там ведь про хозяина написано. Ты вот мне еще объясни, почему к хозяину так несправедливо отнеслись? Ведь всей вины у него, что работал, не разгибаясь, неба не видел... Пролетариат, тот что... Отработал смену, делать нечего, прочел роман, голова стала — во! — Он показал шире плеч. — И — пошел!..

Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой.

— Ну как голландка? — сказал он. — Топит?

Значит, это был именно он, кто мне ее клал...

— Топит-топит! — закивал я. — Только кирпичи вываливаются.

— Не дымит?

— Не дымит.

— Значит, ничего. Еще немножко повываливается — позови.

→ Да ты не беспокойся! — говорю. — Топит.

— А жучок не беспокоит?

— Жучок?? — не понял я.

— Помню, беспокоил вас жучок.

— Да нет, не беспокоит... Какой жучок?

— Древесный. Дерево ест. Меня очень беспокоит.

— Такой маленький? темненький? тверденький?

— Да ты видел ли жучка?! — всполошился он.

— У родителей видел. Он у них ножки стульев ел...

— Да ты не того жучка видел! — вдохновился он. — Ты мебельного видел! Ты настоящего жучка не видел! Я тебе покажу!.. — Он вскочил и скрылся в случайной двери.

Появился вскоре.

— У меня тут несколько еще осталось. — (Бережно раздвигая такой маленький в его слесарных руках коробок.) — Две-три особи. — Он так и сказал — «особи». — Две... — сказал он разочарованно. И, совсем уж непонятно как, бережно, не раз-

давив «особь» своими плоскогубцами большого и указательного (так в киножурналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчато-уэллсовской руки, ловко разливавшей из хрупкой колбочки по пробиркам некую жидкость, служившую символом Радиации), торжественно протянул мне...

Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня поразило, что мягкое. Для того чтобы грызть дерево, жучок мог представиться черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой...

— Мягкий!.. — сказал я.

— Мя-ягкий... — ядовито пропел мужик. — Ска-ажешь...

Мокрый!

Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавно и пьяншая, как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола... Это была ритмизованная проза о том, как он (жучок), сначала с крылышками, вылетает, 날етает, кладет яйца, теряет крылышки; потом все показалось мне наоборот: сначала кладет, потом вылетает, — у самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой, у самочки — скважина: все, как в сейфе, дудки чужим ключом залезешь... но главное, то ли когда он кладет, то ли когда вылетает, он особенно быстро пожирает дома, причем пожирает прежде всего самка, а самец безвреден, хотя, может быть, и наоборот... но пожирает прежде всего его (мужика) дом... Мужик прикрыл глаза, и речь его приобрела, переросла в иной напев, сказово-былинный, и сага была о том, как против тьмы-тьмушей вышел он, мужик, сам-один, бросил вызов и кинулся в бой; как он рубил им головы дустом, хлорофосом, керосином, дезинсектаем, а они отрастали; как он залепливал дырочки-норы воском, заливал смолой, замазывал дегтем; как менял венцы своей избы и погибал в неравной борьбе — жучки питались дустом, размножались с особенной быстротой в дезинсектале и особенную губительную закаленность и силу приобрели от керосина... Он писал письма в газету «Сельскую звезду» и «Красную жизнь», «Медицинскую правду», «Вчерашку» и многие другие, выписывал несколько специальных журналов, испробовал сорок советов, но — не сдался... Он начал выжигать их каленым железом (буквально — гвоздем) — сгорело крыльцо... И апокалипсические тучи сгущались над его рассказом, снова обретая неистовую силу апокрифа... Саранча брэн-

чала сталью крыл, имея в себе потайное и живое, мокрое, жирненькое тело.

Если бы несчастье, о котором он поведывал, не было столь натурально и велико, я бы залюбовался сейчас его фигурой, вдруг выросшей и монументально разгоревшейся, выразившей такую страсть и гибель борца, что ей бы позавидовал Вучетич. Но тут сверкающая и драгоценная сущность его очей снова сузилась и замаслилась...

— Но сейчас я понял, — сладострастно шепнул он, — с ними можно бороться только поодиночке!..

Легкая дрожь пробежала по моему телу.

— Не веришь?..

Он мягко и требовательно взял меня за руку, я нагнулся пройти под мохнатой трубой, показавшейся мне живой и насекомой, как брюхо шмеля, и, так уменьшившись, мелким мушиным шажком, прошли мы в случайную дверцу, и это была такая же прогрызенная дырочка в твердом, как и у жучка, только человеком и для человека...

Я стоял в маленькой лаборатории, где, в средневековой тесноте, обусловленной, по просторности тех веков, лишь характером самого дела, — бился, терзался и подвижничал истовый от чистоты логического долженствования огромный пульсирующий лоб в непосильном труде материализации идеи; где, уравнивая тяжесть мира с собою одним лишь напряжением мысли, даже без архимедовых ухищрений рычага, готов был он преодолеть ее и каждый раз бывал сражен внезапностью обморока, предательской комой, как раз у врат, на пороге, коснувшись рукою цели... где, однако, приходил он в себя сквозь вечность обморока, не заметив приключившегося безумия, и приступал к счастливому и разрозненному легковесному изяществу самоцельного изобретения предметов, когда-то служивших Идее, — и так, обретая через изошренность линз, точеных бронзовых втулок, гнутой тонкости реторт навик к продаже самого оборудования идеи, то есть от невыносимости напрягать более дух, на полпути сворачивал к техническому прогрессу, и далее, с легким проскоком, тиканьем, позваниванием соломенных, водяных, хрустальных микро- и макроцефальных часиков, подвигал время к производству, где уже кулибинско-ползуновская предприимчивость саморудка, изобразив собой народную пыливость ума, скрутила время в пружину, давшую толчок производительным силам вплоть до наших дней...

И где наивный камчадал изобретает сейчас интегральное исчисление в сладостном состоянии гения для усмешки про-

фессиональных творцов бесконечно малого — там стоял мой мужик, недавно изобретший часы, приводимые в действие проходящими над кочегаркой поездами; там же сейчас, сквозь эпоху, вдруг очутился я, и — что часы! — мужик держал в руках шприц и, прицелившись, как хирург, на узенький фонтанчик, втыкал иглу в дырочку-нору жучка-точильщика... несколько чурбаков, напильных из бревен замененного в прошлый год венца, были аккуратно составлены в углу для опытов...

— Сейчас я пока впрыскиваю хлороформ, но скоро уже у меня будет изобретен мой собственный новый состав... — И он лукаво подмигнул мне на месте слов «и тогда».

Я глянул на прозрачный ряд пробирок на верстаке, на громоздкий ряд толстых банок с ядами на длинной полке, на висящую под стеклом вырезку из «Вечерки» (читатель И-ов, житель станции Т-во, спрашивает... и «И-ов» — подчеркнуто красным карандашом...), на бронзовые стройности опрыскивателей, на застывший, сверкающий кончик вертикально поднятой шприцевой иглы, раскаленной точечкой обозначившей средоточие (средостение) мгновения и выразившей весь окружающий объем... пауза затянулась, молчание нависло, длинный и тонкий звон протянулся от уха к уху.

Я взглянул на уколотый чурбак — мириады дырочек, сфокусировавшись, отчетливые, представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимирры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием космической пустоты, где дерево каким-то образом висело в дырье... миры, дыры, дыры-миры...

— И так в каждую дырочку? — робко, дыханием, спросил я.

— Конечно, — вдруг очень нормально и естественно прозвучал его голос.

Над головой прошел поезд, пробирки нежно звякнули в стройно-зыблемом ряду, тишина порвалась, головокружение покинуло меня, и, как тот анекдотический селянин, что спросил заезжего лектора, как кладется повидло в конфеты-подушечки, обретая норму в тупости и привычности, теряя страшный мир, обретая нестрашную обстановку... я спросил:

— Слушай, а как же ты бревна из-под дома вытаскиваешь? Ведь он же на них стоит?..

Он взглянул на меня сначала остолбенело и, зримо, пешком, возвращаясь из бездонных далей сознания, увидел вдали меня...

— Эх ты! — сказал он с ласковым превосходством. — Дом подымаю. Голова садовая... Ученые люди... — усмешливо сокрушался он. — Да не весь целиком! а сначала один край, потом другой... Ну и чудак! — Он рассмеялся истинно весело. — Пойдем лучше выпьем. У меня там еще полмаленькой осталось...

— Так мы же выпили!..

— Ничего ты не понимаешь. У меня там всегда полмаленькой стоит...

...Я вышел в ночную ночь. Она была большая и темная, как медведь. Луна просвечивала безумным бельмом. Мир закрыл свой светлый глаз. Бельмо стояло как раз над трубой дома хозяйки коровы, у которой мы берем молоко, — этот дом был еще темнее в своем упорстве быть хозяйством с целью проживания за счет собственных трудов, кормя себя и свою землю, устроив подобие круговорота на площади в десять соток, где мирный сок коровы просачивался сейчас парами земли к недремлющим картофельным клубням, а в подполе стыло снятое молоко, а сливки варились в спящих выше людях, — но корова была в этой еще большей темноте участка, и ее сон и дыхание более осуществляли сейчас мир, чем бессмертные расположения физических объемов и тел. Она подышала вокруг меня, я окунулся в теплую лужицу воздуха, застоявшуюся между двумя стогами, и мне понравилось бы так, чтобы в этой ночи было больше коровы, чем медведя. Здесь было неравенство, но не было растраты уравнения...

Нельзя сказать, чтобы я вспоминал того самого, вышеупомянутого медведя. Но все было одно и то же. И мужик, и жучок, и луна. «Не забыть рассказать дома, чем мужик не отличается от аристократа...» — так сообразительно нес я фразу вместе с кринкой молока, прихваченной с крыльца: Кринка была полна, нога на узнавала микрорельефа бывших луж, подошва ботинка потеряла чувствительность, молоко бежало по пальцам и в рукав, обозначая, мне в утешение, что коровы сейчас — все-таки хотя бы чуть больше...

Не забыть сказать о симпатии к кулаку-миroeду... Изъеденный жуком мужик, он бесконечно не изжит, и вот корова еще дышит, хотя ее никто не слышит, прикинь ухом к злобе дня, оглохнешь, жизнь свою кляня, благодаря всему на свете поймешь однажды связи эти, тебя, Господь, благодарю за равенство календарю... календарю, календарю... календарю тебя, Господь...

Бабка еще в детстве была — тетя Поля, Пелагея Павловна, кулачка, старушка добрая, как котлета, — похоронили, похоронили уже, не заметил, что умерла, не помню когда... Рассказывала, как сейчас помню, как не помню когда... Рассказывала, как сейчас помню, как лошадь на пахоте понесла, а молодая Пелагея поводев не выпустила, не могла отпустить, боялась за коня, боялась мужа, — сильнее боли, сильнее крови была земля, земля была еще кровью; «камни растут», говорила она, и — какое может быть в том сомнение?! И рассказ этот, столь литературный, что, кажется, исходил из черной тарелки репродуктора, под которым она резала лук, был, оказывается, правдой, надышанной коровой сегодня в ночи...

Молоко текло по моим пальцам в ночи сумасшедшего медведя, не забыть сказать... Кому? что? не забыть...

Что?

Вот что, оказывается, не забыть. Вот что, оказывается, думал я тогда на берегу, когда подходил ко мне и рвал мою ниточку мужик...

Забыть или помнить? Вот в чем вопрос.

Именно, именно! Вот я не живу, потому что помню вчера и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем... Значит, надо забыть, чтобы быть живым, реальным, сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить? Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы, противная баба, помнит же о своей корове! как тащила коня бабка Пелагея — так помнить!

Но помня — не живу, погибаю во всем, со всем: забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая — погибаю совсем, чтобы бояться умереть и не жить вообще. Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому, или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда, не быть в нем сейчас?

Так катил я домой пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец — гостинец от полочки.

Забыть или помнить? Гамлет...

Памяти Николая Рубцова

СУДЬБА Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму...

Это странная улица. У нее нет ни начала, ни конца; она вдруг раздается вширь из тропки в болоте, затем тянется оправданно и солидно, в домах, садах и соседях, — и вдруг обрывается светлым, стремительно сузившимся тупичком. Там зияет пусто-

та, голубая дырка меж деревьев... И кто здесь не живет и впервые окажется, никак сразу не догадается, что же это там, куда улица делась? А там обрывчик, спуск и — речушка, луг, пойма. Но для этого надо подойти вплотную, до последнего шага вглядываясь в расширяющуюся пустоту конца улицы — и только тогда поймешь... Может, потому и Глухая, что без конца и начала. И там, в этом зеленеющем сквознячке, приснившемся в легком, после непоправимого горя, сне, вижу я написанным, снова смытым и снова написанным слово «судьба». То есть при слове «судьба» перед моим мысленным взором рыбкой блеснет именно этот уголок... И я даже не замечу...

Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими... Это они захватили пол-улицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, а им надо было жить вокруг дома. Да и дом — какой дом! — чья-то бесхозная баня, в которой поселился без памяти давно один пришлый, никому не знакомый человек, да всех и пережил, так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди, позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера — но эти поздние так упорно строятся, вырастают, пускают толстые и тупые, как морковки и пальцы, корни, что, конечно же, это он и тут живут: он с такой-то, она с таким-то, — не он. Домик вытеснен на край улицы, как спихнут. Весь его неравномерный участочек сполз с нее, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку... Банька кое-как, по мере надобности, обросла клетушками и сараюшками, потому что время идет, семья растет — и никто не уходит, захватив пол-улицы и уголок падающего берега; они обнесли свое хозяйство, свой лужок, волнистым, прозрачным, из жердей, заборчиком — и их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и неузнаваемая: висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая, как могилка, так, для порядку, чтобы «отметиться» в этом мире за население, грядочка со всем на свете: две морковки, три укропа и один подсолнух, — на правах клумбы: ее надо полить, как дать котенку молока или шенку, что осталось, — есть с нее нечего и, главное, незачем — никакого производства.

Там ничего не слышно: не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют... кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет босой на лужок, посмотрит на таз... и все. Дудки, не дознаетесь, кто это был. И всему остальному, полнокровному и напряженному, утверждающемуся вокруг бытию пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы

своих посягательств как невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона — как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущей (трудно поверить в такое счастье...) внутри застывших и неудобных, утвердивших и насадивших себя форм... Смотрят сквозь нас, мы — сквозь них. И это единственное место на земле, где что-то случается.

Именно его и переехало ночью, пьяного, поездом, что я и узнаю той весной или этой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого, осенью, без ноги, и удивляюсь, что не замечал раньше, что он безногий... но это два разных рассказа и неизвестно, который сначала: сначала ли он был без ноги, а потом его переехало, ну а совсем вчера — я встретил его целехонького и живого, или, наоборот, время идет в обратном направлении у них на участке, нам, навстречу или вспять от нас, — у нас-то оно не идет; их время проходит сквозь нас, и скоро у внучка наконец появится дедушка. Там, у них, иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит — чур я тут! — и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал наконец от нас. Там все любят — какое кому дело! — пролитое мимо молоко...

Но и они тверды, не для нас — для себя, а в их твердости, как они в нас, что живет? Не там ли то облако, откуда приходят любимые мертвые договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться, только ты никому не говори, а ты и не успеваешь, лопаясь от немоты любви, сказать, что хотел — «до завтра», и палец к губам — ни-ни! наша с тобой тайна... Чтобы утром, плеснув воды в лицо, заметить утро и — что же такое было? что же было?.. Вдруг вспомнишь, что нельзя вспоминать, — и улыбнешься: твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю?.. Может, там... где эти любовные и живые люди «не мы», так вот там, для них, до сих пор живет та единственная девушка, неповесившаяся, незастрелившаяся, но которую я убил, которую он во мне убил, под именем которой кто-то продолжает жить со мною снаружи своей глубины, с выставленной за дверь душою, неуклюже подражая бывшим ее жестам и словам, загримировавшись под убитую: ах, видно, что оттуда торчит не та, так я ведь для того душно и загримировалась, чтобы было все для всех видно, мы ведь так живем, у нас — так...

Это вот так все страшно, если быть среди них, в любви, там, за прозрачным условным заборчиком, и оттуда, из собст-

венной подлинности выглянуть на собственную улицу, собственное жилье, на себя самого, как на вампира, который надел на себя одежду высосанного им мальчика и имечко его к кармашку приколот, чтобы не запечатовать. Там мы все, Господи благослови, оттого так тесно в том домике, что уйти оттуда страшно и нельзя и он один на всех, да и дедушка, когда-то уголок этот нашедший, все еще жив из-под поезда, отрезав паровозу два колеса... Он у меня сегодня на маленькую попросил, а вчера отдал, хороший человек, хоть зачем уж меня так обижать, хоть я и переряженный в убитого мною мальчика, я бы ему с радостью рубль-то забыл, но не хочет он ничего со мною общего, отнимает у следующей маленькой рубль, отдает мне. Грустно. Что бы им такого приятного сделать? Ничего, никогда. Поджечь, разве?..

У них и пожар, у них и убийство, у них и тюрьма, у них и дети один за другим, у них и коровы нет, и огорода, у них это есть, чего у нас нет. У них — все, даже отсутствие того, что у всех, у тебя — ничего. Можно к вам? Не слышат. Калитка всегда нараспашку — никогда не перейдешь туда. Совесть не позволит. Вот то, что не позволит попроситься к ним, — это еще, значит, совесть...

Тут еще новая весна — мальчик, сынок, красивый такой, что прошлой весной женился на такой славной девушке (именно она прибавилась тогда за оградой в озерце их сползающей к речке пустоты)... мальчик, сыночек, вчера нынче ночью зарезали пулею ножом в висок; он с бандой связался, а потом развязался, завязал, как женился; то ли это, то ли еще как... нашли послезавтра его, милого, в кустиках зарезанного, у Финляндского вокзала.

Так, так! Все не со мной! Никогда, ни почему, по природе — не со мной. Самоубийство в запасе. Судьба в отставке. Душа на пенсии. Совесть на приколе. Тело в ремонте. Ум в кладовке. Ищу дверь в поле.

Семейная чета, соучастники, съели в тиши ребеночка; его потом нашла в огороде бабушка, теперь поет ему колыбельные; идет чета к речке, муж корзину несет, полную белья, снятого с убитых ими людей, подошедших им по размеру и качеству для убийства. Вот как в зрачках отражаются перевернутые колышки в заборе — так и я... и лужок опустел, провожая меня взглядом брошенного таза. Как все кинулись в свою баньку со страху — таз забыли.

В доме том — судьба. Она происходит с теми, кто не смог стать нами, даже если хотел, а так и остался, присев на краешек

наших глиножелезных форм, поместив себя так же ненарочно в этой жизни, как кому-то мама, чья-то бабушка или просто дальняя тетя.

Это и есть понятие народ — и уж не песенки, не березки — народ, то есть божья судьба, которая с кем-то еще на земле происходит. Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю еще по своей остаточности, все, что у меня было, и все, что у меня осталось — очень мало, — но это теперь уж все, что я люблю. Судьба — народ, народ — судьба; я, отлученный, сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загребущую ладонь — до тех пор никогда не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настезь...

ОСЕНЬ В ЗАОДИ

Р. Г.

...Мы спустились в Алазанскую долину. В воздухе стояла осень, равная весне. С той прекрасной разницей, что она на тебя не претендовала и мог ты так легко и напрасно, без претензий, существовать в том хрустальном пространстве, как павший лист, повисший на паутинке. Мы проехали городок, гнездом примостившийся на отроге; из колокольни без креста, повисшей над обрывом, взорвалась стая ворон — перед нами открывался вид необыкновенной глубины. И пока мы безвольно спадали по серпантину — туда-сюда, как тот же плавно падающий лист, — отворялся взор, становилось свободно жить, не надо было преодолевать. Прозрачность мира была устроена иначе и наоборот: она начиналась с непрозрачности, а не кончалась ею. Не вдали набиралась дымка — она была где-то накоротке, перед глазами, а дальше, как рывок, над долиной следовала решительная пустота, а за ней, в виду гор, стоял остывший, отстоявшийся, замерзший воздух, несший в себе то изумительное качество прозрачности, что было уже доступно не зрению, а вкусу, как та прозрачность, которую мы ощущаем, глотая из вожделенного родника. Там стояли чистые, белые горы, а мы падали, как лист, на дно огромной чаши, где жили, поселившись, люди, где внизу рождались и помирали, и синенькое, как дымок папироски, стояло над ними дыхание их жизни: от очагов, от костерков, от мангалов, прелых листьев и отживших лоз.

Крик осени, когда растаял дым
И тени улеглись от эха по равнине, —
В расщелинах тесней, темней от взмахов крыл,
Давно уж пролетевших, журавлиных...
И нету крика. Костерок потух.
Меж звездами пустеет воздух ночи...
Как голос петушиный пустоух —
Вне тишины и птичьих многоточий
В конце долины,

где стоит гора,
Которая стояла там вчера, —

так сказал замечательный грузинский поэт, брат другого великого грузинского поэта.

И мы попадаем в строку его осени. Так уютно жить, когда можно почувствовать в своей стране, что в той же точке и в том же времени года, отсюда же, смотрел и так же чувствовал из букваря тебе известный поэт, и родина припекается к вам таким тесным, ноющим швом, где вид окна, строка из букваря и лицо матери, — и, не поднимая глаз, побег от невыносимости и первый глоток такого же вина в духане... И в осеннем прозрачном вине — идея того же воздуха, той же мутной прозрачности, того же запаха поражения и любви, что позволяет нам жить дальше, — запах долгоденствия и смерти; листик сожгли, желание начали загадывать — и не загадали. Точно так: в воздухе было — после дымка, после пролета стаи, после падения листа, после только что оборвавшегося петушиного крика, которых мы не застали, что только перед нами отзвучали, — это даже не эхо, а после эха, только что, когда оно ушло уже в не слышимый нашим ухом диапазон — но мы слышим его! — это осень. И тень — можно ли сказать лучше — эта тень, чернея, голубея и тая в расщелинах и гребнях, столь далеких, там, за долиной, что маленьких, как пятна, как следы пальца в глине при лепке, — эта тень была следом истаявшего звука.

Мы искали завод. Что это такое, я не знал. Друзья мои спрашивали дорогу — их не понимали. Это становилось как-то таинственно: из такой подлинной осени, которую я догонял, убегая от зимы, и нагнал наконец, — из такой осени... искать такое, не к месту, слово — завод, да еще и не находить его. Друзья мои спрашивали дорогу — на нас смотрели. Этот взгляд скользил по нашей горожавости, неумичимо усмеялся в себя и уводил в пейзаж, окунался в него: там, там был завод. И будто пейзаж возникал от их взгляда, был их взглядом — они же не видели его... В селе никого не было. — старики. Они не торопились жить, как и сама осень не торопилась умирать. Они не торопились понимать и не торопились отвечать. Я не знал, о чем они умудрялись каждый раз вступать в беседу с моими друзьями; но каждый раз оказывалось, что уже не друзья их спрашивают, а старики расспрашивают моих друзей. Я не понимал, чему они начинали улыбаться, но эти две позы, посмотри я со стороны, были красноречивы без перевода... Старик, прозрачноглазый, с двумя цветущими старухами, и запуганная молодуха, перетаскивающая свой живот через порог, пользовались нами как не Бог весть каким, но все-таки зрели-

щем на этом проселке, куда свернуть можно было разве слиш-ком добросовестно воспринимая все объяснения, как ехать... А наш водитель пытался их понять, но как: приоткрыл дверцу своего «мэйд ин юэсэсэа "фиата"», одной ногой встав на дорогу, а другую — как бы сохраняя на газу, одной рукой держась за дверцу, другую освободив для жеста, входящего в грузинский алфавит на правах буквы — в позе не теряющего секунды, чтобы снова сесть и ехать, лишь бы знать куда... И снова взглядывал я в эти чистые лица, вымытые временем и разглаженные его недостатком, что были не настолько рассеяны и суетливы, чтобы терять что бы то ни было из того, что попало к ним в хозяйство: время и достоинство в том числе, — не роняли и не теряли. «Завод? Завод... — раздумчиво вставляли они в свою речь непонятное мне слово. — Завод?» Они обсуждали это: «Заоди?... Ах, заоди!..» И нам указали дорогу, которую мы спросили еще трижды.

«Надо было это слово по-грузински сказать, — смеялись мои друзья, — по-русски они его не понимают». Но мне «заоди» тоже нравилось больше.

Тут мы достигаем самого невзрачного, на первый взгляд, за все наши поиски места. Черный и мертвый овраг пересекал шоссе (то есть наоборот). Казалось, он был еще дополнительно разворочен, разрыт, вскрыт. Не было ни травинки (ни кровинки) в его пейзаже (лице). Он был даже не мертвый —дохлый какой-то. Края его приготовились превратиться в ад при первом же дожде. Дождей давно не было.

— Смотри, — сказал мой друг, — это настояще е!

И по тому, как он оживился, ускорился, посветлел, можно было с внезапностью обнаружить, что все это время, что мы ехали, болтали и он слушал, соглашался, и кивал, и был доволен, — все это было чужое, не та посуда, и хоть он и прихлебывал из нее, но лишь как добрый и мягкий человек. А сейчас он чувствовал приближение своего мира, как подлинный охотник — добычу... Мы отпустили машину — мой друг уже шествовал впереди, не скрывая возбуждения и радости; он вел меня уверенно туда, где сам ни разу не был, с точным, однако, знанием того, что там нас ждет то, что нам надо. Впереди, на краю оврага, примостился некий сарай-навес, и несколько самосвалов стояло перед ним, еще подчеркивая это впечатление, что овраг — не овраг, а некое буйство земляных работ...

Избушка эта стояла к нам спиной, и до тех пор, пока мы не приблизились вплотную и не зашли с тыла, я не мог все еще, до самого конца, гадать, в чем же дело.

Вот где мы очутились.

Навстречу нам вышли два здоровых поросенка странно нетвердой поступью. Они не обратили на нас внимания и, заплетаясь, проследовали к корявой куче коряг, чтобы почестаться о дрова. Мы прошли две ступеньки вниз, мой друг на секунду закрыл вход спиной, и еще секунду, даже поменьше, глаз привыкал к убавлению света, чтобы различить, что в тени...

Мы были в настоящем. Мне трудно доказать это чувство: как всякое чувство, оно — недоказуемо. Могу только поклясться, что внушение и самовнушение тут ни при чем. Чувство, с каким я очутился в этом полупомещении (полупомещение — точное слово: тут была крыша и две стены, а двух стен не хватало; архитектура была самая необходимая: четыре столба под крышку от дождя и две кое-как зашитые разной дрянью стенки, чтобы не просматриваться насквозь с дороги, — вид на долину и на снежные горы был открыт взору, как и вид в овраг, в яму), — так вот, чувство, с каким я здесь оказался, трудно описать, не с чем сравнить, а можно разве уподобить... Так шарик носится по Колизею рулетки, стучаясь, налетая, выписывая большие круги, пытаюсь вылететь за пределы, — так мы живем! — но слабеет; уменьшает круги, болтается все нерешительнее между лунками, будто еще имея независимость выбирать себе номер, даже, быть может, по инерции выскочит из какой-нибудь, будто бы неподходящей, — но на это истратит уже все свои силы... и тут — бульк! — свалится наконец в свою, которой теперь другой уже быть не может; еще чуть дернется, как бы с боку на бок, как бы устраиваясь поудобнее, — и замрет, успокоится: хорошо! Вот точно так, будто болтало и носило меня всю жизнь и принесло наконец, и вот я тут и даже не вполне знаю, куда попал (в какую из лунок), — но попал, и это точно. Запах тут, что ли, сразу такой, дымок. Но я — здесь, и это правда, и наконец ничто не вызывает во мне сомнения и стремления дальше, и поскольку я уже здесь, то можно и оглядеться, где я, среди чего мне предстоит, теперь уже окончательно, быть.

Очень трудно описать эту уютную лунку последовательно, очень хочется, чтобы ее было видно сразу, но это — не в возможности слова, да к тому же так оно и было: сначала я видел то, потом это, разбираясь в постигшем меня с порога (вот что значит «с первого взгляда») чувстве. Сердцем этого мавзолея (поскольку, как я уже сказал, это был конец моего трудного жизненного пути) был очаг. Это было горячее, пы-

шущее сердце! Оно кипело и булькало, захлебываясь будущей моей (чего я пока не знал) кровью и радостью жизни. Это сердце (этот очаг) в свою очередь напоминало мавзолей из тех, что я повидал недавно в Хиве. Этот обмазанный глиной куб венчался медной надраенной крышкой, как золотым куполом, на котором еще сверху пупочка была и только что полумесяца не хватало. Эта медная крышка была самой богатой здесь вещью — и потому так сверкала, потому была так надраена (потому мы и видим ее здесь в первую очередь), как солнце. Она была, впрочем, заслуженно помята, но и все вмятинки ее столь же ослепительно сверкали, посылая отдельные, отломанные от света лучики в самые разные стороны, — но общего впечатления сферичности этот купол, несмотря на измятость, еще не потерял. Он сверкал так же кругло и так же медно, как и тот, кто, по-видимому, его и начистил, — как «заводчик» Гоги, орудовавший у топки.

— Нагнись, — сказал мне друг, — посмотри! Видишь, как решетка прогорела!..

Действительно, толстые прутья над огнем прогнулись вниз и висели пузырем. Из топки несло таким ослепительным жаром, так вспухли на поленьях круглые узлы углей, такая никогда не надоедающая, жизнеутверждающая драма открытой печной дверцы разыгрывалась в этом театре, что, покажи мне сейчас атомный реактор, — я бы плюнул в его ничтожную и бездарную, раздражительную форму.

— Веришь ли, — сказал Гоги, не переставая орудовать, но успев ясно улыбнуться, так, что его округлившиеся медные щеки послали зайчики, отразив свет очага. — Веришь ли, — сказал он с гордостью пацифиста, — три месяца уже не гаснет огонь в этом очаге.

Я верил.

Да и чему тут было не верить? Этому огню? Этой половине поросенка, висевшей на крюке на том единственном столбе, которого не касались стенки, — на колонне этого храма? Этой пьяной свинье, матери моих шашлыков, копавшейся на узкой полоске между заводом и оврагом, однако в овраг не падавшей? Этим мирным труженикам, устроившим свой заслуженный пир за узким столом, уместившимся в уголке храма, как притвор? Этим трудовым мирянам, пившим и беседовавшим так ровно и достойно, как не мог бы быть достоин ни один лорд, столько же выпив? Тому шашлыку, отрезанному на моих глазах от ноги недавно бегавшего здесь же поросенка? Этому вину цвета осеннего листа? Тем более

что это было даже еще не вино, а материал вина, то есть натура невинная, не сказанная обучением и выслугой лет. Не верить «материалу» вина? Этим четырьмя столбам? Этой медной крышке? Этой крыше от дождя или этому небу в дырке этой крыши? Тому виду сквозь отсутствующую дверь на Высшие грузинские горы, не упрекавшие нас, однако, ни в чем, потому что мы ни на что не посягали? Этим горам? Моему другу? Гоги, наконец? Нет, я не мог не верить Гоги!..

Потому что единственная вещь, которой я мог бы не поверить, которую все-таки отыскал мой завистливый глаз, — был розовый выключатель, приспособленный к столбу: на электричество Гоги все-таки пошел, с электричеством как-никак удобнее стоять ночную вахту. И вот этот единственный предмет, четкой и окончательной формы, был груб и как-то неровен, что ли, в этом наспех, криво и кое-как сколоченном корабле мира, этой углой ладье счастья, в этом дирижабле после седьмого стакана! Я не буду обращать более свой взор на тот предмет: жизнь так прекрасна — пусть мелкой души человек так же не любит нас, как мы его жалеем! ибо его нет с нами.

Именно здесь, в этой точке, завершался круговорот годовой жизни, если у круга можно найти начало или конец... Но круговорот вертикален, в отличие от бессмысленного вращения по поверхности. И здесь было начало того конца... когда, разогнавшись с горы летнего полдня, приходим мы в касание и слияние с землей, с той инерцией, которая с особой силой прижимает нас к земле. Отработал зной, отработала и теперь отдыхала земля, рыхлая и пустая, как мама, дети которой разъехались по семьям и городам; отработал виноград, ставший вином и даже жмых свой вручивший Гоги, чтобы тот выгнал из него смертельную чачу; ибо то, что так таинственно кипело и бормотало под сияющей крышкой, был самогонный котел... даже жмых отработал свое, но, став некрасивой рыжей кашицей, и он пошел в дело, потому что именно в нем с упоением паслись поросята на узенькой полоске между заводом и обрывом, и были и они от него счастливы и пьяным-пьяны, так что, по-видимому, переход в шашлык происходил для них безболезненно и безбоязненно, а их невинные души, легко отлетев, беспрепятственно вступали в круговорот души в природе, где, в зависимости от одаренности и греховности, ожидало их повышение или понижение по служебной лестнице эволюции: стать душою курицы или лошади... Отработали и люди, пившие сейчас «материал» вина, и были они

так же честны, как этот «материал», — это был честный материал людей: они не перебрадили и не закисли, и в них не добавляли ни спирт, ни сахар. Все отработали: осень. Один Гоги работал.

Вот уж «не покладая рук»! Был он красив в работе: стремителен и непрерывен, но настолько несуетлив, что казался лениводвигающимся. Он кочегарил, колол дрова, заправлял котел, строгал шашлык, жарил шашлык, накрывал на стол, подливал вино, был любезен и светел — все это одновременно, в свое время и все в свою очередь. Как заботливо и мгновенно — фокусник — создал он нам пространство для пира, ибо единственный стол был уже занят; как газетку подстелил — скатерть; перцев соленых на нее плеснул; горсть соли высыпал, драное одеяльце на лавку постелил и ласково разгладил — садитесь! — и никакого рабства, прислуживая, — одно достоинство, и никакого хамства — одна любезность. В банке из-под консервированных огурцов вина подал (и она не пустела, как волшебная, и не заметить было, когда он подливать успевает или заменять...); в миску собачью алюминиевую с треском и шиком стряхнул шашлык, выхватив из него шампур со свистом, как шпагу из ножен (и миска не пустела, но тут я замечал как, потому что именно над моим плечом просовывалась волосатая рука Гоги и шампур взвизгивал над моим ухом...). Такой сервировки и такого «обслуживания» я никогда не видел и другого никогда не помечтаю... Нет, положительно, мужчины делают все лучше — жаль только, что рожать не могут... Здесь было так хорошо и ясно, среди мужчин. Столько нежности и чистоты возможно между друзьями — где, кроме Грузии, это еще и понимать!

Никогда еще нам не было так вкусно... Это было даже не пожирание — мы дышали мясом. Поглощать в таком количестве жирную, полусырую, раскаленную свинину, всю обмазанную крупной кристаллической солью и зажаренную на открытом огне, и запивать литровыми банками «материала» сухого вина — лучше было сразу выкинуть свою печень пьяным свиньям. Но легче было умереть, чем отказать себе в этом наслаждении.

— Ты пойми, печень... — говорил я. — Ты должна меня понять.

Мой друг парил, мой друг царил, сверкали его глаза. Он все прямился, все ровнее и торжественней держал руку со стаканом; все вертикальней становилась национальная линия его плеча, ее прямой угол с шеей; и вот он уже сошел с кар-

тины Пирсмани «Пир князей». Наши столы давно слились; человек, так похожий на моего отца в молодости, легким, не фамильярным объятием закреплял это наше кровное фотородство; нашу лодочку отвязали, и мы неслись вниз по оврагу на встречу с Главным Кавказским хребтом; свиньи, то ли чтобы протрезветь, страстно чесались о покрышки самосвалов, которые, уж видно, сегодня так здесь и заночуют... Мой друг говорил тост, который мне не надо было уже переводить с русского на грузинский, я и по-русски-то теперь не хуже понимаю, чем по-грузински... И так счастлив он был, мой друг, что я понял, что и ему, обладающему даром именно этого мира, в котором мы сейчас находились, куда как легче и приятней попадать в него со стороны, чем настойчиво пронести с собою.

Ах, жизнеутверждающей может быть лишь чужая жизнь!

И здесь именно, на слово поверив моему другу, что я того стою, подарили мне книжку, единственную, какая случайно оказалась у моего названного брата, все более похожего на моего отца, и была это — помечтать такое трудно! — биография Пушкина на грузинском языке. Я разрыдался от такой символики.

Нехорошо пить с горя — вредно, но не напиться от счастья — невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти мне волевые люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго, оттого что упустили его!). Не может отвернуться от счастья человек, а время течет, и точит, и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло — куда?.. Неужели такое, ради чего всю жизнь жили, может кончиться?! Нет! Никогда! Никогда не предадим мы этого счастья сами! Просто — разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало.

И Гоги скоро перепечатает весь жмых в огонь и изведет весь огонь в жмых. И решетка в очаге совсем прогнется, прорвется и прогорит. И тогда свернет Гоги свой завод, скапает в трубочку: котел вынет и домой унесет, столбы выкопает и тоже домой унесет, во дворе прислонит; остальное — так оставит, как мусор. Так мне рассказали, что будет после того, как мы уедем...

И такой печальный конец... Гоги уходит вниз по оврагу, как бродячий актер, свернув свой балаганчик: сгибаясь под тяжестью бревен на плечах, неся медный таз под мышкой,

отражая своим боком солнце... Так он уходит в бесконечную перспективу, унося с собой мое счастье, будто это не я к нему по случаю попал, а он — в меня.

Если бы не сказал другой, правда русский, великий поэт, но тоже сотканный из братьев: «Юнкер Шмидт! Честное слово, лето возвратится!» — то я бы не знал, чем утешиться.

Все здесь заработали себе осень. Одним нам досталось даром кем-то заслуженное счастье. Добрые и растроганные, мы заедем еще на базар, купим кувшин и рубаху, презирая свои бумажные деньги и завидуя их нажитым.

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: «Нет даже винограда».

Анахарсис-скиф, VI в. до н. э.

К холоду человек привыкнуть не может.

Рольд Амундсен

МОИ ПОГРАНИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Издалека начинается это движение... С Петра! не то благодетеля, не то антихриста. Моя мама до сих пор опускает предлоги в телеграммах, «не любит» такси и в поезде едет лишь четвертым классом (так называемый «плацкарт»), носильщика не возьмет. Если бы она подсчитала, сколько при этом экономит, то разница ее бы рассмешила. А я помню, что после войны, еще года три-четыре, она непременно съедала и вторую тарелку супа, налитую до краев, с толстым хлебом и лишь после этого могла считать себя сытой — хрупкая интеллигентная красавица... В Европе и суп, и хлеб стали пережитком: суп еще надо поискать, а хлеб вам принесут отдельно, когда вы удивитесь, что его нет. Не экономят — берегут фигуру, научно питаются — люди, которые давно сыты. Покупается (без очереди) 100 гр того, 50 гр сего — чтобы тут же съесть, свежее. Вчерашнее выбрасывается. Какой барьер надо перейти, чтобы мочь выбросить в помойное ведро! Голод и холод пронизали до костей. Холод и голод... Мы еще не пережили вторую тарелку супа, добавку. **ДОБАВКА!** — дополнительная порция, усиленное питание — представьте, что эти слова перевод с английского... Когда у моей мамы очередной приступ печени — я с уверенностью могу сказать, что она «пожалела» залежавшийся продукт. И фигуру ей так и не пришлось «сохранять»: всегда такая. Голодные люди не станут есть вкусно, да ведь и книги перестают читать во время книжного голода. Их достают.

Голод и холод до костей... Был я в союстране, завелись у меня местные, полувалютные деньги — решил купить шубу.

Возникли волнения и проблемы — на что же они похожи? — да на покупку коровы, вот на что! Когда мой спутник, специалист по русской литературе (естественно, именно он таскается за мной по магазинам, расширяя свой профессиональный горизонт...), сказал: «Все-таки у русских писателей до сих пор комплекс гоголевской шинели», — я обиделся (тем более что комплекс у меня был — главным образом перед ним, таким предупредительным и воспитанным, что я как русский, имперский человек легко мог заподозрить его в иронии, насмешке, а там и в презрении...). Я сказал ему в сердцах, что он мог бы как специалист быть в курсе, что это сказал не Достоевский, а Тургенев, а во-вторых — не все (не все из нее вышли...). Однако, потихоньку остынув, умерив комплекс пришельца (тем более что я не прервал свой поход и не отказался от его услуг), я понял, что и сам неоднократно так говорил, только не хотел бы слушать из иностранных уст. И впрямь, барская шуба... царская шуба... царский подарок... то есть с царского плеча... Гринев дарит Пугачеву заячий тулуп... наконец, «Шинель» — не поймешь, не истолкуешь его — гений!.. Мандельштам «в не по чину барственной шубе»... Конечно же, шуба переросла себя, стала символом благосостояния, удачи. Потом, что, как не шубу, продают и пропивают?.. И грабят, естественно. «...Силы, снявшие шинель с Акакия Акакиевича...» Или вот еще, один мой приятель, бывший московский прозаик, прикатил на гребне успеха в мой город, «знакомый до слез», — заключить договор на Ленфильме. Поселился в «Европейской» и, натурально, запил. Я познакомился с ним незадолго до этой славы: он был прекрасен, дрожаше обнажен, обуглен в своем дровяном московском домишке, — теперь я его навещал в новом качестве: в номере люкс, при входе висела мандельштамовская шуба (бобровая, по неясному впечатлению), из реквизита Ленского. Может, я и напел ненароком «Паду ли я...», а может, мой приятель своим остропьяным взглядом художника и выходца тут же подловил мой взгляд, может, я был зря с утра трезв, но беседа наша, против последней встречи, потекла спотыкливо и вкось. Он мрачно посмотрел на кнопку и с презрением ее нажал — официантка впорхнула с такой скоростью, будто ждала под дверью. Ее подобострастно-хищные глазки наводили на мысль, сколько он ей уже переплатил. Тут же была подана икра, бульон с яйцом, и не без бутылки, конечно. Он выпил, выбросил в угол мешавшееся яйцо, захлебал бульоном и, слегка расправившись, бросил взгляд на шубу (тут я и понял, что мой взгляд не прошел мимо его сознания). «Мы, скобари! — вдруг тонким голосом

театрально вскричал он (в его сложной биографии была и бытность драматическим актером). — Все «Войну и мир» написать хотим... А — не получается, не получается!!!» — закончил он на крайне пронзительной ноте. И ушел спать. Он был, безусловно, человек: шубы я у него больше не видел. Как была, мол, куплена — так была и спущена. «Жилетов много скопилось», — пожаловался он мне однажды. А имелось в виду вот что: каждый раз, выйдя из запоя, пошивал он себе дорогую тройку, а когда пропивал, то пиджак и брюки брали, а жилет — кому теперь нужен. Жилетов много скопилось... Люблю я его за эту фразу. Я не отвлекаюсь: жилет — тоже в лыку... Гоголь — тоже насчет жилетов... Было у него тяготение к жилету — об этом имеются разнообразные анекдоты, один из которых пересказан Буниным в каких-то воспоминаниях. Куда-то делись и калоши, куда жилеты и шубы — об этом свидетельствует Булгаков. Но шуба дамская — никогда у нас не умрет. Возможно, шуба и комплекс... Возможно, она в нашем ассортименте и есть роскошь и символ роскоши... Но ведь — холодно!! Этого забывать не надо. Когда я ничего не боюсь, уверен в себе, своей звезде и прухе, когда все несчастья происходят только с другими, но никак не со мной, — даже тогда есть одна вещь, от которой я всегда поубавлю спесь и уверенность, — воспоминание о работе с металлом на сорокаградусном морозе... Синий иней. Этот локальный в моей биографии эпизод червоточит в моем бесстрашии.

А я и сам не люблю расплачиваться в такси... И в поезде еду, правда не четвертым, как мама, но третьим классом. Выше третьего у меня произвольный спазм. И я понимаю свое социальное положение, когда расплачиваюсь: когда неловко заплатить меньше, когда не хочется заплатить больше... Роскошь, видите ли, меня не привлекает. Яхта и вилла мне не нужна («берег турецкий и Африка...»). Мне нужна отдельная комната и джинсы, без кофе я не обхожусь. Не то нужно, что — может быть, а что — следующее. Ездить первым классом давно мне доступно, но никак не перепрыгнуть третий...

Как-то раз оказалось, что мой друг А. едет в Ленинград в тот же день, что и я. Решили ехать вместе, а я согласился взять билеты. Я волновался, что их не будет, а он почему-то нет. Он «всегда едет на вокзал прямо к поезду» и берет «международный» (1 класс). Я не мог согласиться с таким риском и поехал за билетами заранее. Отстоял очередь — билетов не было. Ни на те поезда, которыми ездят «приличные» люди («Стрела», Хельсинки...), ни в купе, ни даже в международный... И тут мне

подфартило: я купил два билета с рук, в купе, на дополнительный поезд. Мой друг остался недоволен моей деятельностью: приедем за полчаса и купим билет, утверждал он. Я прибыл за сорок минут, он опоздал: за двадцать. Он подошел к кассе и взял два билета, как привык: они почему-то были. Мы зашли в вагон, и поезд тронулся. Сдать билеты я не успел. Они вспотели у меня в кулаке. Так мы и поехали, на четырех билетах... Я стоял и потягивал в вагонном буфете коньячок, между двумя арабами и потертым контр-адмиралом, и привыкал к происшедшей со мною роскоши, убеждал себя, что мне это нравится. Это стоило мне усилий... Все-таки мне это не совсем нравилось. «Адмирал не обязан вызывать восхищение...» — сказал я. Мой друг повел меня в купе. И, раздеваясь, я понимал, что это он едет в международном, а не я: другие ботинки, другие носки, другое белье... Пишем мы, может, и не хуже друг друга, пили не меньше, любили... Но вот надо же! Он — раньше. Раньше меня проскочил в первый класс. Был в Париже, в Японии (в Америке, правда, еще не был, но теперь ведь — будет...). Был в странах, в которых я активно не был. Был знаком с людьми, о которых я слышал, а они обо мне скорее всего нет... Я здесь, конечно, пережал в признаниях: моя оценка самого себя, по-видимому, секретно от самого себя, чрезвычайно высока, и я никому не завидую... но не уверен, что вспышка комплекса — не сестричка зависти. Конечно, я провинциал, ленинградец; конечно, мысль о том, что бедность — это не отсутствие денег, а качество, мне понятна и близка; богач и в разорении тратит несравнимые средства... Но разорившийся — это не разоренный. Разориться можно несколько раз, быть разоренным кем-то, чем-то — необратимо. Нет, не быть мне богатым!

И чего я на себя наговариваю! Мне ведь нравится бедность. Я не люблю лишнего, правда, не лишнее хочу высшего качества. Домик мне нравится бедный, но там, где мне нравится; костюм мне нравится один, но по мне... Так ведь это и есть богатство, чтобы время свободно и никто не мешал!! Это же и стоит дороже всего. Оказывается, я достатка не люблю, а богатство — гонится. Просто — либо богатство, либо уж нет. Паче гордости.

А ведь вагон этот мне с детства нравился! Я любил заглядывать с перрона на эти застекленные двери с медными надраенными веточками русского модерна. Мне нравилась его дореволюционность, этого вагона. И вот я еду впервые — что же я? А мне не нравится, кто в нем едет теперь. Себя я вычитаю. А. — тоже. ИХ из купе не вижу. Значит, все-таки это я себе не нравлюсь в новом социальном обличье «совбура».

Любопытно, что вагоны такого класса перестали производиться после революции. В этом была своя справедливость: некому ведь на них стало ездить. А когда стало кому, то все еще хватало старых. Хорошо, значит, их однажды сделали.

Я утвердился в своем произвольном зароке не ездить первым классом, но вот и еще раз пришлось... Мы с женой возвращались из южных краев. Билетов, конечно, не было, а уехать было надо. И тут, ученый первым опытом с А., я осмелился спросить в «международный» — эти были. Заранее наслаждаясь комфортом, я шел по перрону с неподъемным чемоданом, перенапрягаясь в усилие показать пустым носильщикам, что несу его, как перышко. Наш вагон, конечно, был в конце перрона. Пять, четыре, три... вел я счет вагонам, которые мне предстояло еще пройти. Один... за ним не было вагона, а потом — снова были. На месте нашего вагона был обрыв, провал. Это показалось мне настолько странным, что я не успел построить никаких смелых предположений, как такое может быть, и понял, лишь подойдя вплотную. Наш вагон между вагонами — все-таки был, оказался. Просто он был значительно ниже и, заслоненный, пропадал для взгляда. Это был новый, новехонький вагон, я таких еще ни разу не видел...

Обсосанный, как леденец, он сверкал, как коронка в развалившемся рту, вмиг заставив устареть соседние вагоны, которые казались еще такими годными. Испещренный никелем иноязычных надписей на всех трех языках, кроме русского, такими фирменными, новенькими буквами, что их хотелось тут же украсть, свинтить и еще куда-нибудь такое приспособить. Деталь воспринималась игрушкой и не шла в сознании по назначению.

С робостью подходил я к дверям, вспотевший, с оттянутыми руками пассажир, который сейчас начнет рыться по карманам, забыв, в какое надежное место в очередной раз переложил свой билет... Чем я отличался от той бабки, которая лезет в чулок за узелком, куда это все наше достояние из нескольких купюр, железнодорожного билета и справки из сельсовета увязано? Я жалел, что не нанял носильщика. К этим дверям следовало подкатить в ином социальном обличье. Неприветливое лицо проводницы отчасти возвращало все на свои места — я остановился на нем с благодарностью. Тут как бы снова было все понятно. Эта милая аккуратная женщина, прославившаяся, по-видимому, более чистым вагоном и более крепкой заваркой, была приставлена к уникальному СВ в виде повышения. Вручая наконец найденный билет, я попробовал

польстить ей, восхитившись ее новым хозяйством, и — задел за живое (почему-то живым именуется именно больное место?..).

Нисколько на нее не обидевшись, потому что тут же понял, что сказанное ею относилось более к вагону, чем ко мне, я уже смелее вошел внутрь цивилизации. Сначала нога моя ступила на череду щеточек, а с них на пухлую ковровую дорожку — это было «ах!» и «ах», — постичь я еще не был в силах. Мы отыскивали свое купе. Тут была своя сложность в дверях, ибо открыть и пройти вы не могли, а могли лишь пройти и открыть; так же и разминуться с соседом в коридоре можно было, лишь вобрав себя назад в купе, как улитка в раковину, но это мы преодолели и оказались в купе, чуть стесняющиеся своим в нем пребыванием, но и чуть стесненные тоже. Все это посверкивало особым дорожным уютом, гарантированным нам уровнем дизайна. Казалось, тут продумано все до мелочей — так оно и было. Но сначала нас интересовали не мелочи, а как раз крупные вещи: два наших утяжеленных чемодана и мы сами. Мы не сразу нашли этому место.

Все здесь откидывалось, разворачивалось, складывалось, все превращалось в самое себя, минуя, кажется, именно назначение. Обеденный столик превращался в умывальник, умывальник утаивал в себе биде. Обидное это слово «биде», почти такое же, как и «кондиционер»! Когда они действуют, мы еще не умеем ими пользоваться; когда научаемся — они уже не действуют. Биде, возможно, еще не действовало, но кондиционер, точно, не действовал уже. Фанерный этот апофеоз был раскален до предела. «Ничего, — отстаивал я цивилизацию перед женой, — он включится, когда мы тронемся...»

Я не был уже в этом уверен: какие-то ничтожные намеки я уже успел уловить в новеньком совершенстве этого осмысленного пространства. Оно было слишком освоено! Усвоено и переварено — оно исчезло. Да, все здесь было осмыслено, продумано и сосчитано дотла, до слов «рациональность», «экономичность» и «эффективность». По-видимому, здесь должно было ехать столь же разумное существо средних размеров, экономное в движениях и помыслах. Если бы наше повидавшее виды супружество вдруг пробудилось бы в столь романтическом железнодорожном интиме... одно лишь это соображение окончательно развеселило меня. Интересно, как бы здесь развернулась та пресловутая шпионка!.. из того, читанного под партией рассказа? Зато здесь много чего куда можно было спрятать: стена походила на соты чрезмерным количеством разных полочек и ящичков, по идее, имевших-таки свое назначение. Я не

удержался положить на одну из них зубную щетку и поставить в бар бутылку пива. Далее моя фантазия иссякла. Хотя, при желании, я мог разложить, как в комод, все содержимое чемоданов, с таким трудом уплотненных... там рубашка, здесь полотенце...

Тут меня осенило: я ощутил себя Гулливером, пересекающим границу Великании с Лилипутией — холодок равенства самому себе пробежал по спине: когда я набивал чемоданы так, чтобы у нас было меньше «мест», втайне гордясь своим «умением укладывать» перед женою, не был ли я озабочен той же мыслью, какую и конструктор вагона в отношении меня?.. Немец встретился здесь с немцем: я его узнал. Пожалуй, гениальный этот конструктор сумел втиснуть в свой вагон еще одно купе против предыдущей конструкции, причем соблюдая все саннормы, «чтобы все было», — вставил как раз то купе, из-за которого всем стало одинаково не по себе. «О нет! — воскликнул я самому себе, — только немец способен довести нищету до богатства, а богатство до нищеты!..» Это был третий класс, доведенный до первого, да как! — не отличишь... но куда же подевался тогда сам первый класс? Это был диалектический вопрос. Щеточка в начале ковровой дорожки стала мне вдруг понятна: никто не стесняет вашу свободу: никто не заставляет вас вытирать ноги, вы сами, «неволью», пройдя по щеточкам, свои ноги вытрите и ступите на дорожку уже поневоле чистыми ногами. Значит, экономится сразу и ковровая дорожка, а скорее — пылесос и труд проводника: один метр ковровой дорожки — на десять тысяч километров пробега, полкило пыли на сто пассажиров... Все это не шуточное, между прочим, дело, помноженное на все километры и все вагоны и деленное на всех пассажиров! Ах, хочется сложить руки, лечь к стенке и, в очередной раз, ничего не совершить полезного, а подумать понапрасну: кто это едет? и куда? и зачем?..

Кондиционирование в вагоне было продумано, по-видимому, безотказное, так как окна не были приспособлены к открыванию... Однако купе своею тщательностью все еще гипнотизировало нас, мы сидели на краешке как бедные родственники — никак нам было не расположиться: в руках держали образовавшийся при распаковке мусор, не зная, куда приткнуть, хотя столько было пустых, хотя бы для мусора пригодных отделений... Я вышел в коридор в поисках мусорного ящика. В привычном для него месте топтался, вроде меня, пассажир, с тем же мусором в руках. То ли этот ящик превращался в шахматный столик... мы не знали этого уже вдвоем. Тут, суро-

вая, выглянула проводница: «Ведро в тамбуре!» — сказала она. Вот эта понятная вещь там была! Мы порадовались и, облегченные, стали допытываться о кондиционере. «Не знаю, ничего не знаю!.. — огрызнулась проводница. — Вот придет инженер...» «Как инженер?.. — изумились мы оба. — В поезде есть инженер?» «В вагоне». — отрезала проводница. «Инженер вагона?»

Но — жизнь наладилась. Приданный новому вагону инженер кондиционера не включил, так как тот был отключен в принципе, более главным инженером, чтобы не испортили. Зато наш инженер сумел включить титан: проводница подобострастно сторожила единственный освоенный ею вентиль, на всякий случай не подпуская вообще никого к титану. Дорожку она скатала в рулон и убрала в свое купе. Один из пассажиров, по складу бригадир и умелец («глаза боятся — руки делают»...), сумел не то открыть, не то взломать одно окно в коридоре — во всяком случае, закрыть его обратно инженеру не удалось, — в вагоне образовался сквозняк, мы вздохнули. Наконец на одной из станций подглядел я картину, окончательно меня умиротворившую: проводница открыла дверь на другую сторону и высыпала ведро с мусором на пути. Значит, приспособились, едем!

Обретаем возможность посмотреть в окно... Там только то, что мы видим. То, что мы уже видели, унеслось. И опять — только то, что мы видим. Будка, баба с флажком, дети с коленками, лошадь уперлась мордой в шлагбаум... почетный караул путешественника. Переезд, перестук, перелесок... пошли шелкать. Какое вечное, тоскливое счастье! Невнятное, родное, не твое... Задержка в пути, остановка в поле. Раньше, в детской послевоенности, сколько их было, таких остановок! Пассажиры расползлись по насыпи, даже паровоз, пользуясь остановкой, будто шипал траву. Назад — бегом: кто с букетом, кто с ягодой, кто с грибом. Теперь такая остановка редкость, да и выскочить нельзя. Однако стоим. И вот что случай выбрал остановить теперь перед моим вытертым взором... Насыпь, распаханную под картошку. Не всю, впрочем, еще распаханную. Как раз сейчас ее и пашут. Два мужика, впрягшись в плуг, третий правит. Плуг, между прочим, деревянный. Деревянный легче. Лошадки, значит, нет. Неужто так легче, чем лопатой?.. Значит, легче. Мужики-то еще соображают. Упираются, как репички бурлаки. Но лицо не несчастное; не несчастное лицо у мужиков, говорю. Не преувеличивал ли Илья Ефимович? Общее, спокойное, семейное у этих трех мужиков лицо. На себя, стало быть, пашут. Без угнетения. Поле на насыпи выкраивается узенькое, зато длинное. Два мотоцикла лежат себе на боку на краю пашни.

Один «Ява», другой «Иж». Хорошие машины. В них двух — «лошадей» так под пятьдесят будет. Увидел-таки мужик, что я на него смотрю. Может, и не один я из вагонов глазел... Тпруу-у! Приостановились, на нас глянули вроде и без раздражения, но — выпряглись. И то правда — перекур, по закону. Сели степенно возле мотоциклов, достали бутылку «Камю». С молоком. Передали по кругу, нам на зависть. Закурили. Полулежат они удобно на насыпи, в вольных позах, которые дарует лишь физическая нагрузка, и на нас изредка с равнодушием поглядывают. Добавить, что в это время Ту-144 как раз над всеми нами пролетел? Перебор?... Но белая стрелочка истребителя ползла, как букашка, по небесному своду — это точно. И мы тронулись наконец. Мужики вслед за нами поднялись: мол, хватит разлеживаться, пора кончать. Тот, кто правил, теперь к лямке пошел. Его, стало быть, черед. Допашут, стало быть, это они друг на друге, сядут на своих стальных коней и помчатся к дому. Плуг, наверное, под кусточком замаскируют, чтобы завтра вернуться. А нет, так в коляску он вполне влезет... Помчатся эдак они, и пыль за ними хвостиком завьется, как старое за новым.

Даже просторно стало. Я к своей зубной щетке электробриту «Эра» приложил и в буфет сбегал. Вдруг, думаю, там в буфете «Камю» есть. Бывает же такое. Теперь реже, и все-таки бывает... Не было. Выпили мы только с попутными мужичками в тамбуре пива да портвешком отлакировали. Уютно в тамбуре! Площадка под ногами лязгает, плевки, окурки... Подавленное желание дернуть наконец за стоп-кран. Дверь хлопает, проходящие с пониманием и тактично взглядывают. И в вагонном оконце солнце сверкает, будто это Россия, и за окном свет белый мелькает, будто это Россия, и два грозных попутчика меня приласкали, будто это Россия, и я их обожаю, будто это Россия. Но это и есть Россия.

Другое дело Германия. Делают же немцы! Совсем в купе просторно стало, и даже пейзаж в окне стал помещаться. И покачивает меня уютно на моей полочке в этом шкафчике, в этом домике, и становлюсь я собранный, упакованный и знающий свое место, как моя зубная щетка, мне параллельная. И мысли у меня в такт, складные и складные — о чемодане. Вроде бы известное дело — чемодан... Но если даже крохотную толику о нем как об опыте, как об данном нам в ощущение рассказать — безнадежно в сторону зайдет все повествование, застрянет на подъездных путях и ожидании встречного, а там как начнет их, встречных, пропускать одного за другим...

Опоздаем. Впрочем, вот великое успокоение и разрешение: УЖЕ опаздываем!

Итак, ЧЕ-МО-ДАН... Слово-то какое неожиданное, не менее, чем «бегемот». Или «крокодил». Крокодиловой кожи. А что, может, и крокодиловой, радуюсь я воспоминаниям. Есть у меня и такой, в моем арсенале. От легендарной тети Фриды, Эльфриды Ивановны (Иоганновны), двоюродной моей бабушки. Лежала она у нас на кухне после войны, как вещь, и было про нее известно, что красавица была писаная и был у нее в Париже РОМАН или роман в ПАРИЖЕ, не знаю, как уж и передать восхитительное и жуткое звучание этих слов в ослабленном блокадой воспаленном среднем ухе сорок девятого года. Себя мы любим. Сейчас меня более изумляет не то, что тетя Фрида там была со своим романом, а то, что я мог себе тогда под этим представить. А роман в Париже — это что. Теперь-то это что. Всех и делов. Сейчас это роман В париже. В — тут теперь с большой, буквы, даже не Париж. Так вот, в те годы это был даже не чемодан, а — огромный сундук тети Фриды. занимал у нас в квартире пол-передней, как тетя Фрида на кухне полподоконника. Огромный кожаный сундук с двумя по бокам ручками. Кожа была НАСТОЯЩАЯ. В те годы кожа воспринималась не как там какая-нибудь кожа на лице, а как кожа на подметке. Настоящая кожа — это было такое цоканье языком, и вздох, и закатывание глаз. Потому что был еще КОЖИМИТ и ЛИМИТ. Лимит на кожимит. Златая цепь на чемодане том! Этаким бронзовенький замочек на цепочке запирали его, и ключ был у тети Фриды на шее. Я подкрадывался к кухонному окну и трогал тетю Фриду за ключик. Тогда она открывала глаза.

Я не знал, что в сундуке. Интересоваться чужими вещами считалось столь неприличным в нашем доме, что я так и не осмеливался на это вслух. Этот кожаный сундук был окован по углам толстой кожей, перетянут двумя могучими ремнями, медные шляпки гвоздей... Я гулял вокруг да около сундука, потрагивал да позвякивал то замочком, то цепочкой: «Тпру-у! Но-о». Лошадь приходила мне на ум, тогда они еще в Ленинграде были. У лошади сбруя была тоже с медными шляпками, Да и как увезешь такой сундучище, не иначе как в санях... Крышка сундука была гофрированной, что скорее всего и могло быть «крокодиловой» кожей. Лошадь впряглась в ремни сундука, сундук летел по снегу, снег запорашивал спину крокодилу... Тпру-р-у! Ничего в том сундуке не оказалось: сломанный зонтик с заплесневелыми рюшами да связка писем, не по-русски

писанных, да букетик со шляпки, — все это на дне: казалось, дно было усыпано измельченными крылышками бабочек. Тетю Фриду вынесли и положили на сундук. Раскрыли обе створки дверей, чтобы все это прошло, проехало. Я был уверен, что их, наконец соединившихся, так вместе и вынесут. Но вынесли одну тетю Фриду. Сундук остался. С парижской пылью. То, что старшие называли его чемоданом, было, безусловно, для меня шуткой, а поскольку чем люди старше, тем меньше у них остается шуток и тем чаще они повторяются, то шутка эта вызывала мое смущение как «несмешная». Какой же это чемодан! Это даже и не сундук, настолько он как бы уже и «мебель».

Через много лет один философ, грузчик из мебельного магазина, пролил мне свет... Это была потрясающая личность, самородок, недоучка, могучий провинциальный интеллект, он меня безусловно «подавил». Впрочем, такая была у него и цель. Как только он на меня взглянул, его уже ни мой гарнитур, ни его гонорар, ни я сам не интересовали, — он видел во мне «жертву» и дрожал от нетерпения. Этот его быстроватый, лукаво-ватый взгляд его выдавал. Конечно, он меня заинтриговал и «достал». Я тут же попал в комплекс и зависимость от этого самобытного человека «из народа». Беседовали мы за тем самым столом и на тех стульях, которые только что привезли. Он нашел во мне восторженного слушателя, думаю, что его даже разочаровывала легкость моей сдачи, без «борьбы». Я тут же признал его первенство. Теперь мне становится понятно, что в этом была-таки доля социального высокомерия, и она его задевала. Так что, внутри внешнеочевидной победы, он меня подозревал и теперь хотел добиться победы не снисходительной, не формальной, а действительной и полной. Ему надо было, чтобы я его не просто признал, а признал его выше себя — иначе какое же признание?.. Я признал его и выше, пожалуйста... Он меня заподозрил еще больше и удвоил давление. Мы же еще и выпивали! Интеллект его рос и разрастался. Конца ему не было. Наконец эта бездонность смутила его самого, и он меня «добил», как бы сжалившись над поверженным. «Вот скажи, — сказал он, — что есть первомебель?» — «То есть?..» — «То есть от какого предмета произошла вся она и до сих пор обратно к нему же и сводится?» Я с недоумением обвел глазами вокруг — по гарнитуру, как бы для наглядности урока расставленному. Как двоечник, останавливал я затравленный собственной тупостью взгляд то на одном, то на другом предмете, а он снисходительно покачивал головой: нет, нет и нет. «Сундук!» — наконец провозгласил он и, насладившись моим недоумением,

разъяснил: «Сядь на него — будет лавка, накрой — будет стол. Приделай ножки — стул, поставь на попа — шкаф...»

Так пристрастие мое к чемодану обрело запоздалую теоретическую базу. А пристрастие, если проглядеть всю жизнь под этим чемоданным углом, таки было. Сначала мечтой был такой чемоданчик — кто его помнит, с ним даже дамы послевоенные как с сумочкой ходили: коленкоровый, с круглым зеркальцем внутри, на крышке, и кармашком, стянутым резинкой. Все такие вещи приходят к нам, конечно, необратимо поздно: после того, как мы о них первыми помечтали, после того, как они вошли в моду, даже после того, как они из нее вышли. Не будет у меня ни первых дубленок, ни первых джинсов! И все-таки они приближаются. Разрыв между воображением и обретением по-прежнему вмещает в себя и рождение, и смерть моды, но в то же время и — сокращается. Правда, сокращается он лишь тогда, когда слабеет желание, которое эпитет «страстное» так точно когда-то отражал. Так, следующий мой чемоданчик, так называемый «тренировочный», появился у меня уже быстрее, не тогда, когда с ними еще никто не ходил, но и не тогда, когда с ними ходить перестали, а ровно тогда, когда с ними все ходили. Прогресс! Господи, в какие бездны ввергаешь ты своим возвышением! Этот рыжий, с металлическими уголками, этот кирпич с ручкой, — как он пропах моим потом, пролитым во имя будущего, когда я стану стройным, сильным и красивым!.. когда я одним из первых пройду с так называемым «дипломатом».

Как быстро я перескочил! сколько пропустил еще чемоданчиков и чемоданов, мимолетной мечтою отметивших мой жизненный путь! Из всех них родился и вырос в моем ущербном... образ некоего суперчемодана, чемодана чемоданов, самого своего, самого удобного, самого персонального — чемодана, заменяющего мне все. Недавно, в бумагах, наткнулся я на его многочисленные наброски, перерастающие в чертеж и проект. Он сочетал в себе идеи мольберта, кульмана, верстака — кабинета и типографии. Его можно было бы сложить в одну минуту, чтобы двинуться в любом, волею случая подсказанном, направлении, и там, в неведомом углу, единственным требованием которого являлась крыша, в ту же минуту этот чемодан раскладывался в столик с пишущей машинкой, собственной конструкции членистой лампой, пепельницей, кофеваркой и чуть ли не даже (спорная деталь проекта) таким небольшим скромным кюотцем, в листик уместившем мою потребность в семье и даже Боге. (Зачем же я только что так возмущался немецкой конструкцией?..) И так, в минуту, сплетал я на любом чердаке свою

творческую паутину и, изловив крупницу замысла, высасывал некий ТЕКСТ, присваивал его и, тут же сложившись, опять перемещался, имея в руке столь удобный чемоданчик, содержащий в себе все, без чего я якобы не мог обойтись. Означали ли подобные перемещения неумолимое стремление к цели, именуемой назначением, или очередное поражение в очередном жизненном пространстве — неизвестно, однако сама идея чемодана, столь быстро и необходимо уложенного, очень напоминает побег. Обидная эта идея, по счастливой лености автора, осталась в проекте. Да и могла ли быть окончательной столь совершенная идея? Представление о материале и исполнителе останавливало меня. Идея казалась мне слишком современной, чтобы быть выполненной на отсталом нашем уровне.

Это я-то полагал себя прогрессивным! Не мог я еще осознать, что современен-то как раз уровень исполнения, а идея — отстала. Устарела. Как понятие «умелец», «ремесло», «заказ»: нерукотворность теперь другая — не божественная, а машинная. Вещь может быть своей только как собственность, только как стоимость экземпляра — она никак не твоя, твои только были деньги. Возможность овеществить свой индивидуальный вкус подорвана прежде всего тем, что вещь перестала носить на себе печать индивидуальности того пирожника и сапожника, того чемоданных дел мастера, который был да сплыл, едва побарахтавшись в волнах нового времени под кличкой кустаря-одиночки. Как не понять этого на собственном примере!

Вовсе не худшие вещи не выдержали конкуренции, а как раз отмеченные печатью неповторимого мастерства. Как и мамонт вымер не оттого, что стал слаб и плох (и самый последний мамонт — тем более был величайшим животным, раз всех пережил...). Мамонт вымер, так и не встретив последнюю мамонтиху. Два прекрасных и могучих зверя не нашли уже друг друга в пришедшей им на смену новенькой геологической эпохе. Миф об ущербности и вырождении уходящего всего лишь лезть выживающих самим себе.

Прервем же эту жалобу пишущего кустаря реальным впечатлением жизни... В городе имени Петра I — Амстердаме — посетил я чемоданный магазин. Так он был доверху забит именно моими чемоданами, причем такого разнообразия индивидуальных назначений, такого «количества наименований» не рисовало мне и мое изголодавшееся воображение. Не могу сказать, что это меня восхитило. — это меня разочаровало. Моя личная, моя индивидуальная идея оказалась отнюдь не нова,

а вполне серийна и даже модна. Ну, то-то ладно, что «они», особенно в области ширпотреба, нас перегнали; что то, о чем ты только еще подумал, что такое теоретически как бы может быть, — так оно у них уже есть и вот-вот уйдет в прошлое; это-то пусть, что любая идея находит себе форму товара, утилизируется и исчезает, как бабочка-однодневка, оставив после себя мертвую форму, как та же бабочка свой хитиновый покров; это-то ладно, что она уступает тут же место следующей форме и иному помыслу, тут же превращающемся в промысел... Куда такая гонка?

Ведь вот что примечательно в российском увлечении импортом: он нам подменил кустарное производство. Обладание каким-нибудь магнитофончиком или джинсами — выделяет нас из толпы как носителя вкуса и социальной привилегированности, как индивидуальность. Какою тоскою разочарования, каким бездушным могильным холодом может повеять от очевидного представления, что таких джинсов или таких магнитофонов, идентичных до пуговки и винтика, одинаковых до молекулы, — миллионы! В том-то и прелесть обладания западными вещами в России, что они нас отличают, что мы их одушевляем. Чудовищная спекулятивная цена за джинсы обеспечена этим одушевлением продукта: это стоимость подлинного рукодельного труда на том же Западе. Сколь патриархальна идея джинсов в России! столь же, сколь прогрессивно вырождение кустарничества и народных промыслов как отсталых форм производства.

Нет, не дикарское уподобление обмена золота на фальшивые бусы (хотя и оно имеет место) здесь у меня на языке, а — ностальгия, парадоксальная двойная ностальгия русского человека: одновременно по прогрессу и патриархальности. пожалуй, уже не один раз полностью продиффузировавших друг в друга. Никогда порознь и всегда одновременно, в ногу — эти две идеи, патриархальности и прогресса, так измучившие Россию своим непобедимым сосуществованием, преграждающим переход из состояния времени в состояние истории и из состояния пространства в состояние культуры. У нас и джинсы — это икона (причем ковально, в денежно-товарном выражении), и ракета — это ковер-самолет.

Великая страна! У нас сломают или употребят любую игрушку цивилизации без особого восторга или удивления. Сочетание «старого и нового», столь характерное для революции, не является моментом перехода из старого в новое. И старое само по себе, и новое само по себе. Слезая с мотоцикла последней марки, мы падем обочину деревянным плугом и, от-

валившись в очередной перекур, затягиваемся «Мальборо», которого нет в Москве, но которым раз в столетие оказывается завален наш сельпо с запылившимся на верхней полке «Наполеоном» и очередным отсутствием хозяйственного мыла и «Беломора» на полке нижней; а затянувшись «Мальборо», смотрим мы в небо, в наши стиранные-перестиранные небеса, где тклет свою смертельную нить сверхзвуковой истребитель, наш летающий в стратосферу плуг. И космический наш корабль не так далек в сознании от телеги, и затеяли его в свое время столь же хитрые и умелые мужики, что могли когда-то веревочкой подвязывать колесо, потому что ехать надо дальше... Потому-то и способны мы до сих пор, хотя и реже раз от разу, к небывалому-то как раз и подойти с чрезвычайною простотою, невзначай взяться и в одночасье сделать как само собой разумеющееся, а то вдруг такую фантазию вбок наворотить, что и самим по три столетия не разобраться.

И, переводя взгляд с нашего «отсталого» на их «передовое», с бурлачков на насыпи на безукоризненный интерьер купе, не так уж я бываю расстроен и смущен... Не приведи, Боже, нам этому научиться — какой будет кошмар в наших масштабах, какое исчезновение души... что не одушевить нам уже наше пространство вовек, как не удастся же и мне за целые сутки одушевить вот это образцовое купе... Не то страшно, что мы еще так не можем, а то, что уже так хотим.

Кстати, об Амстердаме (в смысле, что я там был...)... то есть о Петре... То есть о них обоих (или о нас троих...). То есть что-то мне его напоминало в самом себе (я не сравниваю, естественно) — некое узнавание себя в нем. Надо сказать, Петра там и до сих пор хорошо помнят. И не то чтобы специально для нас, русских туристов. Помнят. Он произвел сильное... Своими размерами, представлявшими, в масштабе, саму империю, о которой они понятия были тогда небольшого. Они и сейчас расскажут про потолок, в который он плевал, покажут и дерево, под которое он падал после «ассамблеи». Он произвел, но и на него произвело... Впечатление было сильное, в мозгу гениальное, но как бы иногда немного расплывчатое. Чем-то схоже то, что он завернул в России по возвращении, и с моими воспоминаниями — с этим шоком сравнения — на фоне заграничных приемов, с тем отличием, что у меня не появятся возможности и желание впечатление это воплотить и воспоминанье сделать явью.

Начав с Петра, Петром и кончим. Кстати, и о пальмах первенства... Мой друг В. С., из лучших ныне здравствующих

русских поэтов, когда мы очнулись после новогодней ночи в какой-то новой местности и, колотясь от ранней утренней стужи, провели пристанционный ресторан, где, однако, ни пива, ничего не оказалось, глядя на пустые прошлогодние скатерти и пальму в кадке, побеждавшую законный двенадцатиградусный мороз, сказал так: «Пальмы, старик... Россия!»

Смена исторических эпох на самом деле значительно круче смены геологических эпох, поражающей умозрение своей непоправимостью. Разница в том, что история происходит на наших глазах. Легкое сожаление по поводу монтажа и саблезубого тигра, по сути, не более торжества выживших: мы жизнеспособны, раз их нет. Всякого рода кладбище и пепелище демонстрирует нам прежде всего то, что мы-то целы. По этой причине так победоносен человек на Земле.

**ПОЧЕМУ
Я НИЧЕГО
НЕ СМЫСЛЮ
В БАЛЕТЕ...**

Мой дед родился еще при крепостном праве, моя дочь была зачата к столетию его отмены (1961), которое никак у нас отмечено не было. Психологическое основание было глубже идеологического: слишком это, оказывается, было недавно! еще твой дед вполне мог быть рабом. Для нас, родившихся при новом строе, понятие «до революции» было отодвинуто так же далеко, как и «до Рождества Христова». Между тем я родился, когда Советской власти еще не исполнилось и двадцати лет. Тогда еще оставалось много вещей ТОЙ эпохи, еще больше людей, но я уже не мог воспринимать их: и вещи, и люди уже доживали, а не жили, ибо жизнь — это именно воспроизведение, а не замкнутые жизненные процессы. К тому моменту, когда я стал способен об этом задуматься, из бывших вещей воспроизводились лишь папиросы «Герцеговина Флор» (их, как оказалось, курил дореволюционный человек), почему-то печенье «Мария» (правда, по новому правописанию), да еще балет (при мне происходило вытеснение привычного «Мариинский» новым «Кировский», теперь произошло)... не сразу я понял, что в подобном ряду наиболее значителен сам город, в котором я живу, — город, по-новому названный, новыми людьми населяемый, но все тот же — Петербург. В этом городе все соотносено с чем-либо, до него бывшим: Северная Венеция, Северная Пальмира, второй Париж, но не вторая Москва... Тут я учился ходить по второй в Европе площади (Дворцовой), видеть самый большой собор после Св. Петра (Исаакиевский), наблюдать

одну из самых больших мечетей (на этот раз почему-то не вторую, а третью в мире)... Если уж не первое, то самое большое. Да что говорить! Напротив моего отчего дома росла, по нашим сведениям, самая большая в Европе пальма (из растущих в оранжереях), в нее, как и в единственного слона (наверно, тоже самого большого, по крайней мере из живущих на шестидесятой параллели), угодила во время блокады бомба... Пальма и слон погибли на периферии детского сознания, а Петербург опять уцелел — и Петропавловская крепость, и Зимний дворец, и Медный всадник, и ростральные колонны, и сфинксы (хотя и древнеегипетские, но уж, безусловно, самые северные) — в общем, ПЕТЕРБУРГ, в котором, «может быть, родился и я», в котором жил и Пушкин, который основополагал и Петр, Петербург, в котором классицизм и барокко будут как бы чуть поточнее, чуть более классичны и чуть менее барочны, в котором стремление догнать означало подавленное «превзойти». И есть такое ощущение, что этот придуманный и навязанный России город — вечен, что с ним уже не вяжется его юный возраст (каких-нибудь двести-триста лет). (Кстати, из черного архитектурного юмора: «Что останется, если на Ленинград сбросить Н-бомбу?» — «Петербург».) Он вечен не древностью и жизнью, как Рим, — он был задуман как «вечный», вечным он был уже в голове Петра, до первого топора: он неподвижен в сознании. Оттого каждый в него приезжающий попадает не в город своих представлений — не в город Петра, Пушкина, Ленина — он попадает именно в тот же Петербург, вечный, в котором и эти люди, составившие ему славу, лишь бывали, — так же «блистали в нем и вы». С человеческой точки зрения Петербург не город Петра и Пушкина, а город Евгения и Акакия Акакиевича — те же чувства породят в вас эти великие декорации, какими волновались души этих героев, какими, надо полагать, хоть и не нам чета, были взволнованы умы их создателей. И в том Петербург, второй и третий в своих площадях и ансамблях, — наконец и навсегда первый и единственный город. Загадка его, заданная Петром, не разгадана от Пушкина до наших дней, потому что ее и нет, разгадки. Фантом, оптический эффект, камера-обскура, окно в Европу, в которое вместо стекла вставлен воображаемый европейский пейзаж... И тут все мои упоминания, столь бессвязные: о мамонте, крепостничестве, пальме и слоне, барокко и балете, — сходятся в одно: «Может ли быть материализован идеал?» Не может. Но вот же он! Петербург, сам по себе произведение — возможно ли символизировать символ, абстрагировать абстракцию, идеализировать

идеалы, фантазировать фантазию, допустить условность внутри условности? Окажитесь в Петербурге зимой, осенью, белой ночью (желательно в ясную и безлюдную погоду) — вы войдете в картину Кирико, вы окажетесь в положении литературного героя даже не читанного вами, даже не написанного никем произведения и, сами того не заметив, ощутите то ли на плечах пелерину, то ли на голове цилиндр, то ли ноги ваши обтянуты трико, и вы вылетаете из-за кулис на авансцену под углом героев Шагала, перебирая в полете ногами, ощущая на себе, как пастернаковский Гамлет, «тысячу биноклей на оси». Человек, родившийся в Петербурге, родился в балете — как же ему воспринять эту пыльную неуклюжую условность, когда его впервые поведут в знаменитый Кировский (б. Мариинский) театр? До сих пор в моем сознании это первое тошнотворное головокружение от условности внутри условности, от условности, подражающей условности... В те времена условность в декорациях была недопустима, они были «как настоящие»; зрители особенно охотно аплодировали смене декораций (теперь мне мерещится в этих аплодисментах искренность облегчения, род разрядки при встрече с понятным и доступным сознанию...): мы видели настоящую Петропавловскую крепость, которую уже сегодня видели настоящую, падал настоящий снег... под наши аплодисменты выпархивала под этот снег голая балерина, в белоснежной же пачке... Своими прыжками через сцену она «выражала» горечь встречи с любимым человеком, о чем мы все успевали прочесть в программке в кратком изложении содержания во время антракта; так мы сидели не дыша, совмещая только что прочитанное с только что увиденным, и в нужном месте догадывались хлопать по выражению лица примадонны... так и не удалось мне отделаться от этого жгучего и непобедимого детского чувства стыда и неловкости, в котором еще и никому нельзя признаться, от этой всеобщей повинности до нас рожденной славы... стул проваливался подо мной, и я снова и снова сидел. невидимо красный и потный, зудящий от стыда за себя, неравный в своем эстетическом развитии всему зрительному залу, так до сих пор никому в этом и не сознавшийся. Я и сейчас воспринимаю все это почти так же, слегка порастратив способность к стыду, слегка обучившись просвещенному виду: «Так называемая вторая позиция, столь неэстетичная, к несчастью, чаще всего встречается в балетном танце. Движение ног в сторону — это самое вульгарное движение. Что может быть некрасивее расставленных ног? Какое может быть движение при этом естественным? А ведь на этом строится

большинство рас, например: глissад, ассамбле, эшапе, все антраша и т. д.; отчего же к этому уродливейшему, плоскому телосложению сводится главным образом техника балета?» или: «Самым типичным, самым балетным и самым любимым всеми почитателями «классицизма» считается знаменитое фуэте. Для меня это самая ненавистная, самая лживая выдумка балета. Балерина, вертясь в этом фуэте, выражает какой-то экстаз, стремительное движение должно выразить веселье, подъем... а что же выражает в это время поза балерины? Совершенно противоположное. Балерина ищет в своей позе равновесие, и к нему сводится весь смысл позы, корпус держится прямо, голова тоже, руки симметрично, глаза устремляются в одну точку. А что выражает лицо? Погоню за равновесием и страх потерять его». Уж в чем, в чем.. в чем-то мы, может, и занимали второе и даже третье место, но в балете — неоспоримо первое. Как петербургское, в чем-то более совершенное барокко, так и балет наш, позднее европейского выколоченный из крепостных актрис, был, наверно, в чем-то более совершенен; но почему же в мире, поменявшем и изгнавшем все прочие значения и знаки старого мира, один лишь балет уцелел на прежнем своем неискоренимом уровне? Крепостная природа актрисы, теперь недоступной и свободной богини новой жизни, сменилась новой природой зрителя, возвысившегося до того, что, «принадлежащая народу», она танцевала «для нас». Нет, нам никому не были известны закулисные тайны, отчасти позволившие именно этому искусству всегда выживать и выжить... все эти уксусные соображения могли принадлежать лишь будущей эпохе. Но как же именно самое условное, самое господское, самое элитарное искусство стало и самым «народным», не подвергавшимся не только остракизму, но и сомнению, было мне и тогда непонятно. Я рожден любителем балета, и я его уже не полюблю. С той же грубостью и примитивностью я не выношу теперь всеобщее парное катание по телевизору — хотя это и впрямь примитивно. Теперь, в эпоху распределения, балет наконец занял более или менее свое место: и билетов в Большой театр вы не достанете (в Кировский — тоже), и бриллианты неплохо будет надеть... фигурное по телевидению — это то же, за что выдавался нам балет, но наконец-то для всех. «Нехороший я человек, злой...» Но и сейчас меня злит то же, и нам не понять друг друга. Запад быстро называет явления, находит до обидного краткие и точные слова... «Poor eating habits», «Poor look fashion», — по-английски это хорошо сказано и прекрасно выражено, но по-русски это до сих пор звучит возмутительно. Вот я там и сижу, все

тех же семи своих лет, с недогрызенным сухарем в кармане и опережающе модно одетый. Мне и сейчас куда доступнее понятия, никогда не переводимые на английский: «дополнительная порция» и «усиленное питание»... и вот я там сижу, и мама, отстояв две морозные ночи, достала на гастроли Улановой, на непонятную ни уму, ни сердцу, ни желудку «Жизель», и я не даю маме смотреть. толкаю ее в бок и тереблю за рукав на каждом выходе: «Это она?» И мама досадует, и одергивает, и шикает. Я ее извел. И вдруг я забыл, чего жду... Больше я не спрашивал, Уланова ли это. Ничего более прекрасного я с тех пор не видел. Но, Господи, сколько же мне предстояло еще увидеть, узнать и понять! И ни в чем из того, что мне предстояло, Улановой больше не было.

ГРУЗИНСКИЙ АЛЬБОМ

То ли грузины плохо помнят свои адреса?.. Все мысли о нации — слабы. В который раз я взбираюсь по той же крутой улочке, на которой зря ступенек нет. Не нарочно же, диктуя адрес, перепутывать номера дома и квартиры? Я старался не подключить мнительность. Очень было бы обидно. Хотя что и говорить, знаменитое гостеприимство, перекочевав в эпоху наших коммуникаций, может стать для хозяина зловещей традицией. На память, кстати, приходит эпизод из «Дрозда», в котором, в апогее суеты и неуспевания, к герою является погостить туристская пара. Кажется, герой не может вспомнить имени их рекомендателя. Какой точный эпизод, думаю я. Тем более что Грузия у нас одна, Тбилиси один, твой дом один, а ты-то сам, ты-то! Бесспорно, что один такой режиссер — Отар Иоселиани. Однако я склонен объяснять эту чаще, чем у нас, встречающуюся путаницу в цифрах иначе: для них все еще естественнее произнести «дом такого-то», чем «дом номер такой-то». Надо было мне, чем искать неправильный номер дома, спросить «дом Иоселиани». И толстый усатый лентяй в майке, свесившись с балкона бок о бок с полосатым матрасом и, может, поэтому имевший смешное сходство с тигром, рассмотрев меня и взвесив, совершил бы наконец подвиг перемены позы, чтобы ткнуть пальцем в дом напротив. Я бы дернул за сохранившуюся медную пуговицу, и где-то в пыльном неведомом удалении, которое мне предстояло, прозвякал бы, к моему удивлению, колокольчик... Долго бы никто не открывал, долго бы рассматривал я глухую дверь с чувством, с каким рассматриваешь внутреннюю сторону век, долго бы шаркали шаги, открывалась бы дверь — я бы опять думал, что не туда попал, извиняясь за себя перед высоким худым стариком, извиняясь, что я такой: не туда все попадаю. — он бы смотрел на меня с тем любопытством, которое особенно живо на лицах людей, всегда сохраняющих собственное достоинство. «Здесь живет Отар Иоселиани?»

«Это мой сын», — с некоторым удивлением отметит отец и впустит меня. Мы проследуем по небольшой лестнице на

бельэтаж. Он предложит мне пройти направо, а сам уйдет налево, и больше я его не увижу. Отар (это его почему-то характеризует) расцелует меня, глядя мимо, будто не меня целуя. Так он спрячет взгляд сначала слева, потом справа, а потом пройдет вперед. Получится, что я его просто чудом застал — он как раз уезжает. С одной стороны, выходит, удача. Я присутствую при сборах кинорежиссера в дорогу. «Русский товарищ навестил грузинского режиссера накануне его отъезда по приглашению эстонских кинематографистов».

Собирается он с удовольствием. Его дом его окружает. Мне, рассмотревшему его фильмы, интересно здесь озиаться. Вот выцветший гобелен, вытканый из сумрака и пыли, вот знакомая мне бамбуковая этажерка, рассыпавшаяся в прах в моем детстве, вот не то фарфоровая борзая, не то пастушок со свирелью, теперь уж и не помню что. Вот его дочка, которая лепит, рисует, играет на пианино, — вот то, что она слепила, вот, что нарисовала, вот — песенка без слов... Все то, что уцелело от эпох и торгов в силу того, что не имеет стоимости (никто бы и не купил), в этом доме еще стоит, служит и узнается как бесценное. А вот на стене фотографии, и будто я их уже видел... Очень уж любили когда-то сниматься. Доверяли граммофону. Задние стоят на стульях, а самые передние — уже лежат на полу, опершись друг о друга головами. Беспечные, однополчане и земские, выпускники и присяжные, будто пытаются остановить время, которое проходит. Знали бы, что совсем уйдет, знали бы, как кстати успели сфотографироваться... Как много было мужчин когда-то... Так это же первый эпизод «Листопада»! Очень много мужчин на фотографиях, и только женщины сидят вокруг стола живые. Я видел эти фотографии в кино, я вижу их на стенах. Единственный мужчина в доме — персонаж времени, персонаж Отара.

Так я озираюсь, примитивно знакомясь с миром художника, удовлетворяясь сходством по первому слою. Имея такое лицо, думаю я, глядя в Отарово и действительно необычайно длинное лицо, не мудрено знать и понимать в лицах... А понимать лицо — это все для кино. Может, всего два-три режиссера понимают... «И те носки, — говорит Отар, прерывая и разматывая мои соображения, — которые, помнишь, я в прошлый раз из Москвы привез, — диктует режиссер жене, — красные, с зеленой полосой, шерстяные, толстые, и шнурки длинные, белые...» У режиссера мозоль. Значит, так, он берет с собою свитер черный, туристские ботинки, рубашки —

одной хватит: эту он на себя наденет, — больше он ничего не берет. Детали его сцен лаконичны и отобраны, как вещи с собою; содержимое саквояжа лаконично, как сцена. И опять то же удивление: я ли видел Тбилиси и раньше таким, каким отснял его Отар, или теперь я вижу его таким, после того как Отар мне его показал? Отар ли живет, как его герои, или его герои живут, как Отар? Тбилиси ли такой, как Отар, или Отар такой, как Тбилиси? Отражен его мир или выражен? Что мы узнаем и в чем? Мир — в отражении или знакомое нам отражение — в мире? Мир, которым нас поразит художник, находится на расстоянии вытянутой руки. Сличая мир, им выраженный, с миром, его окружавшим, я обнаруживал, что Отар ничего не искал, а это означало, что все нашлось само, сунулось под руку, всегда было. Казалось бы, просто... Надо было только родиться в этом доме, на этой улице, в этом городе, в наше с вами время — нет более исключительных условий для рождения конкретного, именно этого таланта. «И положи в саквояж ту мою, такую длинную, записную книжку... — вспоминает Отар, вдевая длинные шнурки в толстые ботинки. — Как бы я хотел, — кряхтя, говорит Отар, шнуруя и взглядывая на меня снизу своим длинным лицом. — Как бы я хотел, чтобы ты ко мне приехал...»

Вы приходите — вас не ждали...

Зато окажется, что когда вас позавчера познакомили на улице, а вы не запомнили имени, то «заходите» — было сказано всерьез, а ваше «да, да, конечно» стало обещанием. Окажется, что это очень трудно — выкроить время в своем полном бездельи на этот внезапный вечер — целая деятельность. Суета подымает случай на уровень мероприятия. Вы идете «в один дом, послушать музыку»...

(Незримый дух Отара ставит мне этот эпизод...)

Вы ничем не обладаете, кроме доверия к вашему спутнику, — ни временем, ни представлением. Эта система доверия и неведения будит воображение. Вы не можете вспомнить какой-то воздух, какую-то оскомину: что-то напоминает вам ваше ощущение с великой степенью неопределенности, с неподтвержденной конкретностью... Вы погружаетесь в детство. Вас за руку ведут. Вы идете «в один дом» — перед вашими глазами встает такой «вообще дом» почему-то с маленькими колоннами, балконом, деревом, черт знает почему — не такие дома выстроены в вашем опыте, а представляете вы себе всю жизнь именно

такой; он уцелел в одном лишь вашем мысленном взоре, на грани сна... Эта инфантильная неопределенность — романтична, даже романична, то есть откуда-то вычитана или вычтена. В вас выделяется позитивизм. Но вы подходите наконец к вашей цели — и это именно такой дом и есть, даже какое-то подобие колонн... не то чтобы колонны, но все-таки... Напротив, за забором, и ночью строят: там рев бульдозера, слепой луч прожектора, как в зоне, растворяющийся в небесной черноте недостроенный небоскреб, грузинский СЭВ. Значит, по соседству с вашим огромным недостроенным современным опытом все же уцелел и этот домик, как младенческое воспоминание: то ли вы сами его помните, то ли вам мама рассказала. Вы идете «в один дом», «в одно славное семейство», и в вашем голом, вычитанном воображении — гостиная, картина, скатерть, вишневое варенье и размытые лица хозяев вокруг стола, выражающие сердечность и достоинство, свидетельствующие почему-то о любви именно к вам, — с чего бы это? И во всей этой приятной приблизительности на вопрос: «Куда же мы все-таки идем?» — особенно сладко увязает: «Нана — замечательная девушка». Это мнение подтверждает и встреченный по дороге еще один приятель: он присоединяется к нам. И хотя «замечательной» можно лишь стать, а девушкой — надо быть, эта невеста заждалась именно вас.

Чего вы ждете?

Все оказывается таким. И даже еще более таким, чем вы себе несознательно воображали. Вас впускают. Неужто горничная?..

По маленькой лесенке вас проводят и оставляют в маленькой промежуточной комнате, где есть большое зеркало, и мягкие кресла, и прикрыты двери, ведущие вглубь. Комнатка не вполне ясного мне назначения — для прихожей слишком обставленная, для комнаты — нежилая. Сюда вынесено кое-что лишнее из дальнейших неведомых мне комнат: рояль, на котором нам будут играть, шкафы со случайными книгами, старинный письменный столик на трепетных ножках, на котором только и можно написать что три строки на четвертушке бумаги — стол выдержит еще один почтовый поцелуй, и будто случайно лежащий именно здесь фотоальбом.

Мои друзья стоят, держась за тяжелые портьеры, курят в темное высокое окно, будто после тяжелого для них разговора, обо всем, однако, договорившись: им-то что. Я пересидел во всех креслах, много раз отразился в зеркале. Со жгучим интересом и небольшим стыдом пролистал фотоальбом... Вот бабуш-

ка, бывшая бабушкой еще до революции, в чем-то вроде фаты, прижатой круглой черной шапочкой, напоминающей бубен из ансамбля пляски; но что-то неуловимо другое есть в том, что этот убор для нее естествен, это ее одежда, а не национальный наряд. Она смотрит на вас с неосуждающим неузнаванием, и можно незаметно смутиться под взглядом этих молодых глаз на старом и мудром, как земля, лице. Удивляет этот взгляд — словно только чистота, выдержавшая век, все знает. Вот — горный орел, выпятив грудь, не спутав темляк с аксельбантом, смотрит на вас, за роскошными усами скрывая необязательный для мужчины ум. Дедушка? Папа? Может, это на него глянула так весело и прямо, будто ее окликнули внезапно, но пугаться было нечего: ничто не таилось в засвеченных выжелтевших кустах и деревьях сада, чего бы могла она бояться, — молодая женщина в длинном платье с высокой, неряшливой прической, с огромной брошкой на высокой груди?.. Чего ей было бояться в своем саду, склонившись над стоящей в траве плетеной корзиной, в которой лежал еще не обиженный будущим, насо-савшийся ее младенец, сын фотографа, не иначе. Ибо на кого же еще можно с такой открытостью посмотреть? Он отстегнул аксельбант, сдвинул саблю, поборолся с треногой и, улыбаясь в неудобной позе... Птичка выпорхнула, женщина с дикарским любопытством и сознанием, что все у нее навсегда в порядке, взглянула, бесстыдница, прямо в глаза мужчине-фотографу, да так и осталась, так и смотрит до сих пор, сквозь разлучившую их страницу, на того, усатого... Чтобы, спустя несколько пустых страниц, этим же круглым взглядом смотрела на вас девочка, встав на пенек, прижимая к выпяченному пузу неловко висящего длинного котенка, смотрел бы и котенок... Носик у хозяйки дома бабушкин, да взгляд — дедушкин... Нет, она положительно больше похожа на бабушку, чем на девочку, хотя девочка эта спустя еще несколько страниц скорее всего именно она и есть.

Куда подевались эти лица? Никто никогда больше не взглянет настолько в аппарат, так прямо, всему радуясь, ничего не стесняясь. Надо же, чтобы неуклюжий треногий посланец прогресса мог так рассмешить молодую мать! Она совсем не испугалась, не дичилась, диким было только любопытство...

Однако мы уже поселились в этой гостиной; миновал час, еще полчаса. Хозяйка давно должна была бы войти в платье, не иначе как до полу, и переиграть всю эту желтую стопку сонатин и вальсов, проявив поразительную способность читать по

нотам... Мое воображение зашло уже так далеко, что разговор со мной мог пойти только о Пушкине; мои друзья вздевали очи и говорили: «Пушкин, о!» — я должен был немедленно прочесть им вслух «Рыцаря бедного». Я взял томик — как раз эта страничка была вырвана. Но и это восхитило меня.

Потому что, с немалым удивлением и внезапностью, я осознал, что именно, ну, может быть, не совсем так, но именно в таком качестве околачивались в гостиных в те незабвенные времена и отнюдь не считали свое время потерянным, пока я извелся от одной мысли, что время зря идет, а я ничего не делаю. Хотя ничего не делал я, по сути, задолго до этого часа... А они не спеша провели лучшие годы в гостиных, именно те, кто исписал тома и вошел в школьную программу! Это они написали собрания сочинений, которые служат теперь образцом труда, это они написали бездну писем своим друзьям, а я, как солдат Иванов, строчки матери написать не могу... Это они вот так просидели свою жизнь, не считая ее пропущенной, и в жизни их случилось так мало лишнего, что все запомнить и рассказать можно было, и оттого читаются в наш век их биографии — как сказки.

Мне самому покажется, что я преувеличиваю, населяя собою девятнадцатый век, но, в подтверждение своего рода точности этих моих чувств, войдет наконец часа через два хозяйка, милейшим образом улыбаясь, но уж никак не извиняясь за то, что заставила нас ждать. Взгляд ее обласкает меня, представленного и шаркнувшего, отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка или она сама, взгляд ее скользнет по нотам, перевернутым мною, упадет на альбом, и, подавив легкий вздох, Нана поцелуется с моими друзьями, и мы пройдем в столовую... Но — круглый стол, но скатерть, но живопись в раме, но сама рама!.. Все будет точно таким, как неразвращенная мечта, а именно тем, что и представлялось в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сварили Ларины за кулисами, — все не разойдется с таким представлением, а подтвердит его, и вы вспомните, как с самого начала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде чем стало не так.

Как в детстве, с удивляющей необратимостью мгновения катили в прошлое. Только что вы ждали, воображали, а это наступило, сбылось, а вот и прошло, как Новый год.

После такого ожидания мы уже сели за круглый, тот самый стол. И опять не все сразу вам станет понятно: что

после чего, что за чем следует. Нана сама испекла пирог (вот что ее держало все эти два часа), пирог у нее очень мило подгорел, это ей особенно сегодня шло, то, что он подгорел. Как блузка, как прическа... Потому что пирог подгорел специально для вас, иначе бы его домработница пекла и он бы не подгорел; а уж если Нана взялась его почему-то сегодня печь, то это означает такую готовность, такое обещание! Почему-то именно этот уголь на зубах — гарантия неунывного счастья, бесконечного утра, розового, как пеньюар, как бесстыдно-смущенная улыбка. Вы погружаетесь в эти бездны неразоблаченного кокетства, имеющего тот секрет, что обладательнице его все пойдет, все станет к лицу, даже, например, если бы пирог замечательно удался. И такое долгое ухаживание впереди...

Тут появляются, вовремя запоздав, жены моих друзей: щебет, поцелуи... школьные подруги, выравнивающие возраст прекрасной Наны, которая, становясь неожиданно старше своих лет, так замечательно сохранилась. Это начинает ей с подчеркнутой силой лстить, как тот же пирог. Словно ожидание вышло из ее лет тот срок, на который вы запоздали, и она застряла в каком-то одном вытянутом многолетнем дне, с тем чтобы вы пришли сюда завтра. Она обещает подругам продиктовать рецепт этого пирога...

Вот женщина! Во что я в ней поверю — то она мне и даст. Особая пластика — все движения не окончательны, каждое томит, обещает, содержа в себе тот конечный обман высокой воспитанности, когда вы до самого конца не будете знать, с чем столкнетесь, пока не пойдете на все ради утоления этого раскаленного любопытства. Но такое любопытство можно утолить один раз, а там станет трогательно ясно завершение, окончательность всех этих неокончателюстей, этой плавности, по которой вы приплыли, ибо когда она будет истощена, то, словно повторяя именно этот шевелящийся рисунок, чуть дышит фата — вы уже под венцом. И если займется костер, то это именно вы его разожгли, если он и не затлеет, то, значит, ради вас она пошла на все, на то даже, без чего обходится так же легко, как дышит. Ах, как вы будете растроганы этой холодной готовностью и покорностью, сочтя ее за чистоту или застенчивость... И вдруг вспомните хруст угля на зубах.

Нет, нет и нет! Я уже проделал это дважды. Я ничего еще не делал такого, после чего был бы обязан как всякий порядочный человек... Но именно в этот момент я капаю вареньем на скатерть. И это такая мелочь, я так должен не обращать на это

внимание, что, Господи! не расплачусь по гроб жизни. «Да нет же, я совсем не женился, — рассказывал мне как-то грузинский приятель, — просто однажды я обнаружил, что сижу на кухне и ем суп...»

Но, проживя так стремительно всю свою жизнь, примерив столь же не постаревшей Нане траур, который ей был так же необыкновенно к лицу, как и фата, проведив взглядом небольшое шествие за гробом этого огрузинившегося русского, состоявшее из двух моих друзей и их жен, так искренне плакавших... я возродился к новой жизни, поняв, что совсем ее не за ту принял, что это не Нана, а Нина, а Нана — вот она! она входит посреди нашего чаепития с пальцами, измазанными чернилами, так и не разрешив задачи о двух поездах. И пока они, по вине прелестного математика, мчатся на всех парах навстречу неизбежному столкновению, я с умилением рассматриваю свою ошибку...

Что-то произвело на меня однажды крайне сильное впечатление, а я и не заметил... С годами все чаще ищешь причину в прошлом и не находишь. В разреженном просторе детства тогда покажется, что все на виду. Впервые я был в Тбилиси еще в эпоху раздельного обучения. Мне было пятнадцать, то есть эта раздельность имела уже принципиальное значение. С большим волнением стоял я перед могилой Грибоедова. Пытаясь быть честным, могу признаться, что к «Горю от ума» это мало относилось — чувство мое было к могиле, и оно было сродни зависти. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Изяшно коленопреклоненная плакальщица прижалась чугунным лбом к кресту. Гид сказал, что моделью скульптору послужила сама вдова. Я тут же поверил его акценту. И никак не мог заглянуть ей в лицо, за крест, потому что грот был заперт решеткой. «Счастличик!» — наверно, думал я, мечтая о юной красавице жене, всю жизнь после меня проводившей. Это ли значит, что «юность витает в облаках»: быть похороненным и оплаканным на чужой земле могло показаться мне счастьем!.. Я был влюблен в соседнюю, более скромную могилу — самой Нины. Еще не любив, я грезил у могилы о верности юной вдовы... Как сказал один великий русский писатель: только русский мальчик способен, засыпая в мягкой постели, мечтать о страдании, о заточении в тюрьму, о каторге. Не уверен, что он прав во всех словах этого утверждения, но я — мечтал. На этой могиле я хотел умереть от любви. Я вспоминаю об этом здесь, как сказал другой великий писатель,

исключительно «для венской делегации» (подразумеваются друзья Фрейда).

Я не вспоминаю об этом, когда сижу с сестрами за столом. Но возможно, что именно Нина, то есть Нана, должна с блеском сыграть мне своими чернильными пальчиками грибоедовский вальс... Во всяком случае, почему-то именно эта, неряшливая и неуклюжая, подростковая миловидность не исключает абсолютного слуха. Так мне кажется, пока я наблюдаю, как ее корежит за столом, как она обсыпается пирогом и обливается чаем, не то презирая, не то обыкновенно тоскуя от нашей стариковской беседы. Я ловлю досадливый взгляд старшей сестры, будто извиняющийся за младшую: да, она совершенно не умеет вести себя за столом, но вы бы видели, как она преображается, когда садится за рояль, — словно ее подменили, осанка королевы... откуда что берется?.. Старшая вполне могла бы сказать такой текст, но не сказала. Я же мысленно соглашаюсь с этим предположением, киваю и уже верю в поразительные способности девочки. И единственный, внезапный, показавшийся мне необычайно понятливым взгляд, выстреливающий из глубины ее (для меня уже «напускного») равнодушия, свидетельствует теперь для меня не иначе как об остром чувстве юмора, характерной черте неведомой мне, следующей поросли. Пошлый страх отстать от грядущего поколения толкает меня стараться. И продолжая обращаться ко всем, в частности к ее старшей сестре, которая в это время прибавляет к своим достоинствам столь редкую способность слушать, что необязательно и понимать... я ловлю себя на том, что уже жду этого проблеска внимания в ее мальчишечьем презрении, заискиваю перед поколением и жду поощрения, как старый пес... За этим-то недостойным занятием и застает меня их достойная бабушка, вливая в столовую величественно и скромно, высоко неся свою чуть трясущуюся большую седую голову и, на пределе приличия, рассмотрев меня длинным выпуклым взглядом. Ах, много ожидания было скрыто на дне этого взгляда, какое-то количество обманутых надежд, какая-то надежда на необман. Все это было так скрыто, что величественный и гордый, исполненный прежде всего чувства собственного достоинства взгляд этот не выразил ничего, кроме того, что скрыл. Испугавшись меня, бабушка села и позволила налить себе чашку чаю со всей внучатой почтительностью, пить его не стала, лишь освятив чашку поднесением к чуть дрогнувшей навстречу голове. Она еще недолго посмотрела вперед, мимо меня, выпуклым

прозрачным взглядом, великолепно не осудив никого, и, успокоившись то ли насчет угроз, то ли насчет надежд, собралась покинуть нас, и как раз вовремя, потому что младшая наконец прыснула всем чаем и пирогом, увенчав мои старания. (Она оставила меня в некотором недоумении, потому что, все утончая и усовременивая свой юмор, окончательного успеха достиг я без всякой шутки, просто так, употребив не то слово «попугай», не то «дурак».)

Итак, искреннее огорчение, смущение за столь неприличное поведение любимицы чуть осветит лицо почтенной женщины, и она поспешит удалиться. «Она не обиделась?» — спрошу я у Нины, приблизившись на расстояние родственника. «Мама? С чего вы взяли?.. Нет, совсем нет. Вы ей очень понравились». «Мама? — с недоумением восклицаю я, глядя на Нану. — Такая молодая у нее дочь...» «Фу, Нана! — скажет тут же Нина. — Всю меня заплевала». «Я не хотела, мама», — скажет Нана. Мама? Такая взрослая уже у Нины дочь?.. И пока в моей голове разлучатся сестры, перевернутся и встанут на место бабушки и внучки, поменявшись на матерей и дочерей, я буду с недоумением думать, что это решение и с самого начала было наиболее подразумеваемым. «Нана нам сыграет?» — осмелев, спрошу я, потому что фырканье Наны утвердит меня в том, что я добился дружбы. «Я?» — удивится Нана. «Нана?! — воскликнет Нина, теперь ее мама. — Да она чижики-пыжика верно сыграть не может! У нее гениальное отсутствие слуха». Я захохочу — и это станет самой удачной моей шуткой. Потому что засмеются все. Нам станет так вдруг, так беспричинно и бесконечно весело, что я окончательно позабуду, в какой век мне предстоит выйти на улицу. Потому что так весело было лишь на тех выцветших, прожелтевших насквозь фотографиях, среди которых моей-то уж нет...

Нина прогонит развеселившуюся дочь доделывать уроки, что вызовет на лице девицы такую неподдельную печаль, которую я приму за нежелание расставаться с нами. Чашки соберут со стола. Мы с друзьями вернемся в гостиную покурить. Три подруги — Нина и жены моих приятелей — ссядутся поближе, коснутся плечами, сблизятся головами и застрекочут по-родному, как птицы. Я буду их видеть из гостиной... Чувство близости пронизет меня настолько, что я начну прикуривать от сигареты друга, скрыв, что спички — у меня в кармане. «Вот смешно... — скажу я. — Чужой язык. Только что мы сидели все вместе, говорили... И вдруг — раз! — не понимаю ни слова. О чем они говорят?» — «Как о чем? —

скажет друг, не прислушиваясь. — О чем они могут говорить...
О нас».

Обо мне...

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(Тут Отар останавливает сцену, отматывает пленку вспять и репетирует со мной другой вариант: за тем же чаем я начинаю петь хором «Подмосковные вечера»... У меня не получается, и Отар вынужден подыскивать себе другого исполнителя на ту же роль...)

ПОХОРОНЫ ДОКТОРА

Памяти Е. Ральбе

Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы и называем солнечным, — первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце и ни при чем, а именно прозрачность. На похоронах, прежде всех, бывает погода.

...Умирала моя перодная тетя, жена моего родного дяди.

Она была «такой ж и в о й человек» (слова мамы), что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно, но на самом деле она давно готовилась, пусть втайне от себя.

Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка, однако, не сдавалась, привязала к этой «слонихе» (се слова) довоенную тапку и так выходила к нам на кухню мыть посуду, а потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой Институт (экспертизы трудоспособности), потом на заседание правления Общества (терапевтического), потом в какую-то инициативную группу выпускниц (она была бестужевка), потом на некий консилиум к какому-нибудь титулованному бандиту, потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые, по молчаливому, уже сорокалетнему, сговору, не бывали у нас дома, потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжело решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом Тбилисского филиала Института Нектаром Бериташвили: она очень устала (и это было больше, чем так) и не хочет ехать (а это было не совсем так). Втайне от себя она хотела ехать (повторив это «втайне от себя», я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди, очень... живые? чистые? добрые? хорошие?... я проборматываю это невнятное, не существующее уже слово — втайне от себя самого)... И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания, питала страсть к знакам внимания, ко всему этому глазету почета и уважения, и даже, опережая возможную

иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «кавод», которое означает уважение, вовсе не обязательно идущее от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. (У русских нет такого понятия и слова такого нет, и тут, с ласковой улыбкой тайного от самого себя антисемита, можно сказать, что евреи — другой народ. Нет в нашем языке этого неискренного слова, но в жизни оно завелось, и к тому же почему все так убеждены в искренности хамства?..) «Понимаешь, Дима, — говорила она мужу, — он ведь сын Вахтанга, ты помнишь Вахтанга?» — и, сокрушенно вздохнув, она — ехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого — раньше были другие люди.

Наконец она возвращалась, задерживалась она недолго, исключительно на торжественную часть, которую во всем очень трогательно любила, наполняя любую мишуру и фальшь своим щедрым смыслом и верой. (Интересно, что они искренне считали себя материалистами, эти люди, которыми мы не будем; надо обладать исключительно... — тоже невнятное слово... — чтобы исполнить этот парадокс.) Итак, она быстро возвращалась, потому что, плюс к ноге, страдала диабетом и не могла себе на банкете ничего позволить, но возвращалась она навеселе: речи торжественной части действовали на нее, как шампанское, — помолодевшая, раздумянившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло... Постепенно прояснилось, что лучше всех сказала она сама... И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот восемьдесят, что у нее — нога, но нога — была: она была привязана к тапке, стоило опустить глаза. И, отщebetав, напоив мужа чаем, когда он ложился, она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв, «как куча» (по ее же выражению). Долго так сидела, как куча: и смотрела на свою мертвую уже ногу.

Она была большой доктор.

Теперь таких докторов НЕ БЫВАЕТ. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной: мол (с «резвой» ухмылкой), всегда все было — так же, одинаково, не лучше... Я себя легко ловлю и легко отпускаю: с высоты сегодняшнего опыта формула «теперь не бывает» кажется мне и справедливой, и правильной — выражающей. Значит, не бывает... Не то чтобы она всех вылечивала... Как раз насчет медицины заблуждений у нее было всего меньше. Не столько она считала, что всем можно помочь, сколько — что

всем н у ж н о. Она хорошо знала, не в словах, не наукой, а вот тем самым... что помочь нечем, а тогда, если уж есть хоть немножко чем помочь, то вы могли быть уверены, что она сделает все. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть НЕ ВСЕ и эта потребность сделать именно СОВСЕМ ВСЕ, что возможно, — этот императив и был сутью «старых докторов, каких теперь не бывает» и каким она, последняя, была. И было это вызывающе просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь: ты удивишься: при чем тут сон? — она скажет: кто плохо спит — тот зябнет, кто зябнет — тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды (аллергия все еще была выдумкой капиталистического мира), а тебе вдруг так ласково станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов: зя-бнет... что — все правильно, все в порядке, все впереди... померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым... Скажешь: нервы шалят, что-нибудь, тетя, от нервов бы... Она глянет ледяно и приговорит: возьми себя в руки, ничего от нервов нет. А однажды, ты и не попросишь ничего, сунет в руку справку об освобождении: видела, ты вчера вечером курил на кухне — отдохнуть тебе надо.

И если бы некий наблюдательный интеллектуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!.. никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышавших в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит? Именно — ОЧЕНЬ. Никаких «ничего» или «пройдет» она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранники боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен, — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего

и полное чувство. — как тебе, каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, сочувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора, Имя врача. И никакой фальши, ничего найгранного, никаких мхатовских «батенок» и «голубчиков» (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его «давали» по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести... ах, Качалов-Мачалов! Тарасова — идеал красоты... при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа...).

С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватало ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали — втыкался в три приема: туда-сюда, выше-ниже и наконец точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепачный гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие... (Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности: мол, опять, — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия...) и наклон головы были снова девичьими... потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость, — замечать за ней возраст было нельзя.)

Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)... вот при этом позвякивании чашек о кран.

Она сбрасывала пятьдесят или сто рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия... а дальше было самое для нее трудное, но она была

человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках — становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман... и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюар и этюд Скрябина... будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: «Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!..»

Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили...

Дима же, мой родной-разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета — барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.

Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (голова), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), — и над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод...).

Я вижу гребень, прическу, руки... и вдруг отчетливо, сразу — всю тетку: будто я тер-тер старательно переводную картинку и наконец, задержав дыхание, муча собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг — получилось! нигде пленочка не порвалась: проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты (шелковой, стеганой), круглая спина с букетом между лопаток, и — нога с прибинтованной тапкой. Цветы на спине — пышные, кудрявые, китайский род хризантем; такие любит она получать к непроходящему своему юбилею (каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда как у актрисы после бенефиса; каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина...). Цветы на спине — такие же в гробу.

В нашем обширном, сообща живущем семействе был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот, в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные — возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, но стопроцентное молчание всегда говорит за себя: молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а — зналось. Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейкой. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности; в то время как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия.

Мы все играли в эту игру: безусловно принимать все заявленные ею условности, — наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а наша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно, кто кого превышал в благородстве, но переигрывали — все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху — не мы. Не были ли ее, вперед выдвинутые, условности высокой реакцией на нашу безусловность?.. Не оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, была Евдокимовна, наша кухарка: она могла и не играть в нашу игру, и уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж... и то, что детей... что, — смерть близка. Евдокимовна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно точное, с подчеркнутым подбострастием обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения, и за это свое молчание, с суетливой благодарностью, брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками.

Мы и впрямь любили тетку, но любовь эта еще и декларировалась. Тетка была — Человек! Это звучит горько: как часто мы произносим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные; автоматизм нашей собственной принадлежности к роду человеческому приводит к дискриминации. Чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартеидом. Она была человек... большой, широкий, страстный, очень живой, щедрый и очень заслуженный (ЗДН — заслуженный деятель науки; у нее было и это звание). В общем, теперь я думаю, что все сорок лет своего замужества она работала у нас тетей со всеми своими замечательными качествами и стала как родная. (Еще и по-

тому у них с Евдокимовной могло возникать особое взаимопонимание: та ведь тоже была — человек...) Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова-то такого никто ни разу не произнес (слова «еврей»).

Мы имели все основания возвеличивать ее и боготворить: столько, сколько она для всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя: она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку (своего мужа). А сколько она помогала так, просто (без угрозы для жизни) — не перечислить. Этот список рос и канонизировался с годами, по отступающим пунктам списка. Об этом, однако, полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно: как родная... И еще, что я узнал значительно позже, после ее смерти, она была как же не а. Оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных норм. Сами, однако, были зарегистрированы.

Сошло время — илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а — сюжет. Он — неживой от пересказа: годы спустя в нашем семействе прорастает информация, в форме над-гробия.

А я из него теперь сооружаю постамент...

Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения: что же она сама знала о своей болезни?.. То кажется: не могла же не знать!.. то — ничего не знала.

Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт.

От инфаркта у нее чуть не прошла нога. Так или эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила (это в данном случае она как врач могла сказать себе с уверенностью), — так приободрилась и помолодела, и даже ногу обратно уместила в туфлю — что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы («Вылечи убийцу!» — безусловно святой принцип Врача... но нельзя же лечить их старательней и ответственной, чем потенциальных их жертв?.. Однако можно: не забывайте, что именно Англия с парадоксами ее парламента...)... и вот я вижу ее снова на кухне, повелевающую сверкающим солнцем-газом. Однако таз этот взшел ненадолго.

Тетка умирала. Это уж не было ни для кого... кроме нее самой. Но и она так обессилела, что, устав, забывшись, каждый день делала произвольный шаг к смерти. Но потом спо-

хватывалась и снова не умирала. У нее совсем почернела нога, и она решительно настаивала на ампутации, хотя всем, кроме нее... что операция ей уже не по силам. Нога, инфаркт. нога, инсульт... И тут она вцепилась в жизнь с новыми силами, которых из всех встреченных мною людей только у нее и было столько.

Кровать! Она потребовала другую кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций, я плохо понимал ее мычание, но со всем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори». — вдруг ясно произнесла она. И — ах! — с какой же досадой отвернулась она от моего непарализованного лепета.

Мы внесли кровать. Это была специальная кровать, из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской, она утратила не только форму, но и контур — она стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал комнату. Словно бы все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены: на самом деле просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепо-юное ощущение мышц и силы, преувеличенное, не соответствовавшее задаче грузчика: мускулы подчеркнута, напоказ жили для старого, парализованного, умирающего человека, — оттого особая неловкость преследовала меня: я цеплял за углы, спотыкался, бился костяшкой, и словно кровать уподобляла меня себе.

Тетка сидела посреди комнаты и руководила вносом. Это я так запомнил — она не могла сидеть посредине, она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати... Взор ее пылал каким-то угольным светом, у нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перелечь со своего сорокалетнего ножа, она была уже в той кровати, которую мы еще только вносили, — так я ее и запомнил посредине. Мы не должны были повредить «аппарат», поскольку ничего в нем не смыслили, мы должны были «его» чуть развернуть и еще придвинуть и выше-ниже-выше установить его намертво неподвижные плоскости, и все у нас получалось не так, нельзя было быть такой бестолочью, видно, ей придется самой... У меня и это

впечатление осталось, что она сама наконец поднялась, расставила все как надо — видите, нехитрое дело, надо только взяться с умом — и, установив, легла назад в свой паралич, предоставив нам переброску подушек, перин и матрацев, более доступную нашему развитию, хотя и тут мы совершили вопиющие оплошности. Господи! за тридцать лет она не изменилась ни капли. Когда мы, в блокадную зиму, пилили с ней в паре дрова на той же кухне, она, пятидесятилетняя, точно так сердилась на меня, пятилетнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга! — кричала она наконец моей матери. — Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит...» Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в «нарочном», а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно... я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться, неся «последнее», что-то мышинное: не то коробочку, не то крошку. Вот так, изменился, выходит, один я, а она все еще не могла свыкнуться с единственной предстоявшей ей за жизнь переменой: в тот мир она, конечно, не верила (нет! так я и не постигну их поколение: уверенные, что Бога нет, они выше всех несли христианские заповеди... а я, уверенный в Боге, пребываю в непролаз... а Аз — грешный).

Мы перенесли ее, она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутое супружеское ложе. Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него: из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не понимать, вот это, видимо, она поняла необратимо: никогда больше она в ту кровать не вернется... Мы не понимали, мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасно, лучше всех знала: что такое больной, каково ему и что на самом деле ему нужно, — теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долга возвратить. И тогда, устроившись, она с глубоким, первым смыслом сказала нам «спасибо», будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы понимали... «Очень было тяжело?» — участливо спросила она меня. «Да нет, что ты, тетя!.. Легко». Я не так должен был ответить.

Кровать эта ей все-таки тоже не подошла: она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю, бабуш-

кину, на которой мы все умирали... И вот, уже на ней, с последний раз подправленной подушкой, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула: «Наконец-то мне удобно». Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно.

Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет...

Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно...» — повторила она.

Кровать стояла посреди странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешно, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешевые выражения лиц; эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чураются этого железного в середине, они красные, они карельские... Тетке удобно.

Она их не возьмет с собою...

Но она их взяла.

В середине кургана стоит кровать с никелированными шишечками, повытертыми до медной изнанки; в ней удобно полусидит, прикрыв веки и подвязав челюсть, тетка в своей любимой китайской кофте с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях: в одной руке у нее стетоскоп, в другой — американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы; аппарат для измерения кровяного давления в ногах... не забыты и оставшиеся в целых чашки, диссертация, данная на отзыв, желтая Венера Милосская, с которой она (по рассказам) пришла к нам в дом... дядька, за ним шофер скромно стоят рядом, уже полузасыпанные летящей сверху землю... к ним бесшумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте (она его регулярно пересаживает с модели на модель, игнорируя, что тот вышел из моды...), значит, и олень здесь... да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху рыхлым временем, прихватывающим и все мое прошлое с осколками блокадного льда, все то, кому я чем обязан, — погружается в курган, осыпается время с его человечностью, обезьяньим гуманизмом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, со всем, что сделало из меня то жалкое существо, которое называют, по общим признакам сходства, человеком, то есть со мною... но сам я успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато-мерцающую теплоту честной животности...

Ибо с тех пор, как их не стало: сначала моей бабушки, которая была еще лучше, еще чище моей тетки, а затем тетки, эстафетно занявшей место моей бабушки, а теперь это место пустует для моей мамы... я им этого не прощу. Ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже.

Господи! после смерти не будет памяти о Тебе! Я уже заглядывал в Твой люк... Если человек сидит в глубоком колодце, отчего бы ему не покажется, что он выглядывает ИЗ мира, а не В мир? А вдруг там, если из колодца-то выбраться, — на все четыре стороны ровно-ровно, пусто-пусто, ничего нет? Кроме дырки колодца, из которого ты вылез? Надеюсь, что у Тебя слегка пересеченная местность...

За что посажен пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и... позабыто о нем? Чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно не вооруженному колодцем глазу?! Я ее уже усвоил.

Господи! дядя! тетя! мама! плачу...

Я был у нее в Институте один раз, как раз между «ногой» и «ногой», когда она выкарабкалась из инфаркта. Она избегала приглашать в свой Институт, быть может, до сих пор стыдились того понижения, которое постигло ее неизбежно, в последние годы вождя, под предлогом возраста, по пятому пункту. Действительно, Институт со старушками и дебилами был не чета I-му медицинскому. Она не пережила этого унижения, в том смысле, что продолжала его переживать. Однако после инфаркта что-то сместилось, она вернулась в заштатный свой Институт, как в дом родной. Поняла ли она, что и этот Институт не навек?.. Меня подобострастно к ней провели. Просили подождать: на обходе. Сказали так, будто она служила мессу. Сравнение это кстати. Как раз такая она вошла, поразив меня молодостью и красотой. Она была облечена не только в этот памятник стирке и крахмалу со спущенным ошейником стетоскопа на груди, но сразу же надела на себя и свой кабинет, как вошла, — с оторочкой ординарцев по рукавам и шлейфом ассистентов, на плечи были небрежно накинуты стены клиники (кстати, превосходные — отголоски Смольного монастыря...), и все это ей было необыкновенно к лицу. С тех пор она является мне в снах неизменно моло-

дой, такой, какой я ее уже не застал по причине позднего рождения.

Что-то мне было от тетки надо, не помню что, тотчас исполненное бесшумной свитой.

Однако ни на что, кроме поразившей меня тетки, я тогда не обратил внимания.

Солнце. То самое солнце, с которого я начал.

Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал. Особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный (с флагом и Ильичем), слева колокольня Смольного монастыря, — всегда знаешь, что они там, что приезжего приведут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес (оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут...), и — левее колокольни, левее обкома комсомола, левее келейных сот... кривая улица (редкость в Ленинграде), столетние деревья, теткин Институт (бывший Инвалидный дом, оттого такой красивый; не так уж много настроено медицинских учреждений — всегда наткнешься на старое здание...), и — так вдруг хорошо, что и глухой забор вдруг покажется красотой. Все здесь будто уцелело, в тени достопримечательности... Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной решетки... зато ворота еще целы, и старый инвалид-вахтер на месте у ворот Инвалидного дома (из своих, наверно). Кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты, я наконец прочитываю на доске, как точно именуется теткино учреждение (Минздрав, облисполком... очень много слов заменило два — Инвалидный дом), мне приходится посторониться и пропустить черную «Волгу», в глубине которой сверкнул эполет; вскакивает на свою культю инвалид, отдает честь; приседая, с сытым шорохом по кирпичной дорожке удаляется генерал в шубе из черноволги, я протягиваюсь следом, на «территорию». «Вы на похороны?» — спрашивает инвалид, не из строгости, а из посвященности. «Да».

Красный кирпич дорожки, в тон кленовому листу, который сметает набок тщательный дебил; он похож на самосшитую ватную игрушку нищего, военного образца; другой, посмышленее, гордящийся доверенным ему оружием, охотится на окурки с остройгой; с кирпичной мордой инвалид, уверенно встав на деревянную ногу с черной резиновой присоской на конце, толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу, кирпич для той же

дорожки; серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки. — выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев... Трудотерапия на воздухе, солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух; тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев: и уже преждевременный дымок (не давайте детям играть со спичками!) собрал вокруг сосредоточенную дебилную группу... Старинный запах прелого листа, возрождающий — сжигаемого: осенняя приборка; все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок: убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка наново раскраснелась; утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние (спозаранку, раны...) калеки, осенние старушки — выступили в большом согласии с осенью. «Вам туда», — с уважением сказал крайний дебил. Куда я шел?.. Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину, в кучу листьев, приятно провалившихся под ногой, дебил сошел на другую сторону: между нами проехали «Волги», сразу две. Ага, вон куда. Вон куда я иду.

Тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно, покойно и красиво, но как бы чуть насто-роженно. Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вяло перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов — ни одного живого слова. «Светлый облик... никогда... вечно в сердцах...» Первый генерал, сказавший первым (хороший генерал, полный, три Звезды, озабоченно-мертвый...), уехал: сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен непочтительно-быстрый, удаляющийся стрекот его «Волги». «Спи спокойно...» — еще говорил он, потупляясь над гробом, и уже хлопал дверцей: «В Смольный!» — успевал на заседание. Он успел остановиться главным образом на ее военных заслугах: никогда не забудем!.. — уже забыли, и войну, и блокаду, и живых, и мертвых. Тетку уже некогда было помнить: я понял, что она была списана задолго до смерти, тогда, в сорок девятом; изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду — и то славно: другие пошли времена, где старикам поспеть... и уж если, запыхавшись, еще поспевал генерал дотянуться до следующей Звезды, то при одном условии — не отлучаться ни на миг с ковровой беговой дорожки... После генерала робели говорить, будто он укатил, оставив свое седоволосое ухо с золотым отблеском погона... И следующий

оратор бубнил вточь, и потом... никак им было не разгореться. Близкие покойной, раздвоенные гробом, как струи носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов. Налево толпились мы, направо — еврейские родственники, не знал, что их так много. Ни одного знакомого лица, однако, кажется, видел мельком в передней... Он поймал мой взгляд и кивнул. Серые внимательно-растерянные, как близорукие, глаза. От чего же я их никого... никогда... Я еще не понимал, но стало мне неловко, нехорошо — в общем, стыдно, — но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. «Были по заслугам оценены... медалью...» Тетка была человек... ей невозможно по заслугам... у вас волос на ж... не хватит, чтобы ей по заслугам... будет металлургический кризис, если по заслугам... Смерть есть смерть: я что-то все-таки начинал понимать, культовый румянец сходил с ланит... Сталин умирал вторично, еще через пятнадцать лет. Кажется, окончательно. Потому что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально честной представительницы, оказывается все-таки, сталинской эпохи...

Тетку все сильнее не удовлетворяло зауспокойное бубнение ораторов. Поначалу она еще отнеслась неплохо: пришли все-таки, и академики, и профессура, и генералы... — но потом — окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показалось, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она нашла бы слова! Она умела произносить от сердца... Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые и градуса ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ: тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут, точно так, как не могла она прийти себе на помощь, умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, как теперь у гроба... и тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно не удовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора. И конечно, я опять подставлял свое могуче-упругое плечо, бок о бок с тем внимательно-сероглазым, опять мне кивнувшим. «Что ты, тетя! Легко...»

Двор стал неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, выразившимся в тех, кто пришел... Сумрачные, непохмелившиеся санитары, впер-

между с калеками, следующей шеренгой как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших в свою очередь старух, скромно выстаивавших за невидимой чертою. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Кисти гроба, позументы, крышка, подушечка с медалью, рыдающие начальницы-сестры... генерал!! (был еще один, который не так спешил)... автомобили с шоферами, распахнувшими дверцы... осеннее золото духового оркестра, грохочущее солнце баса и тарелок... еще бы! Они простаивали скромновосторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины, в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты, — эта антивосставшая толпа. Генерал уселся в машину, осветив их золотым погоном... они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл, как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества: дебилы обтекали справа, более чем нормальные, успешные и заслуженные — слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. «Мы — из них!» — вот что я прочел на обшесте, неоформленном лице дебила. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискни они выйти в люди, как мы. Они — это было, откуда мы все вышли, чтобы сейчас, в конце трудового пути, посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоявшись санитаров; мы его подкупили, а потом подчинили. Труден и славен был наш путь в доктора и профессора, академики и генералы! Многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами, и все эти силы и таланты ушли на продвижение, чтобы брякнула и услужливо хлопнула дверца престижного гроба на колесах... Никогда, никогда бы не забыть, какими бы мы были, не пойдя мы на все это... вот мы стоим серой, почтительной чередой, недолюди против уженелюдей, с пограничными санитарями и гробом последнего живого человека между!.. вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь; мертвые, хороним живого, слепим своим блеском живых!.. «Ведь они живы, дебилы!!» — вот что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодо напряженных мышц. Живы и безгрешны! ибо какой еще у них за душой грех, кроме как в кулачке в кармане... да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы с гробами заслуг и опыта на плечах... И если вот так заглянуть сначала в душу дебила, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, потом, резко, взглянуть в душу того же генерала, да и любого из нас, то —

Боже! лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это уплатили. А уплатили мы всем. И я далек, ох как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу (хоть с большой буквы!..) людьми. И вот в такую, только незаподозренную, нашу душу и предлагаю заглянуть... и отворачиваюсь, испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса! Не только дебилы, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да и не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу... он с самого начала, мудрец, испугался, он еще тогда, в колыбели, не пошел сюда, к нам... там он и стоит, в колыбели, с игрушечными грабельками и лопаткой и не плачет по своему доктору: доктор-то живой, вы — мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза Смерти, и не потому, что страшно, а потому, что уже. Души, не родившиеся в Раю, души, умершие в Аду; тетка протекает между нами, как Стикс. Мы прошли неживой чередой по кровавой дорожке парка; он был уже окончательно прибран (когда успели?..); не пущенные санитарями, остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой, и вот — слились с забором, исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир: за остывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору...

Кто из нас двоих жив? Сам ли я, мое ли представление о себе?

Она была большой доктор, но я и сейчас не отделался всеми этими страницами от все того же банального недоумения: что же она как врач знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала... а вот как обошлась с отношением к этому своему знанию?.. Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе? Как писатель пишет письма любимой? как гинекологу ложится с женою? как прокурор берет взятку? на какой замок запирается вор? как лакомится повар? как строитель живет в собственном доме? как сладострастник обходится в одиночестве?.. как Господь видит венец своего Творения?.. Когда я обо всем этом думаю,

то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты — тоже люди. Ибо те узкие и тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт — есть такая победа человеческого над человеком, всегда и в любом случае!.. — что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к Нему, для пощады нашей состоящему из голубизны, звезд и облак, и спросить: «Господи! сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?!.»

1970, 1978

НЕ ВИДНО ДЖВАРИ...

...Я шел по траве вокруг храма Светицховели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает при полной тишине, и тот глох в этом ватном безмолвии. Шаги мои глохли в траве. Ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови. Птица не пролетела.

Все было удивительно ровным: свет, воздух, трава, тишина. Мир был без тени. Такая была погода — в небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца — и было светло. Не было неба.

Через ущелье, на горе, отсюда хорошо бывает виден Джвари... Так и он не был виден в этом молоке. Не виден Джвари.

Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней — храм был даже особенно объемным: казалось, я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его. Храм был совсем один в этом мире — никакого тела или предмета больше не было в поле зрения — только я, пришелец. Храм молчал.

Однако в этот сон я приехал на поезде, это я помнил. Тем более что состав вел маленький паровозик, а вагончики были старые, с выступающими подножками, я так уже очень давно не ездил. Они — напоминали. Я сидел на подножке, курил, как в далекие уже времена, и под ногами у меня проплывали черепичные крыши, кроны, дворики — очень близко, как на Кунцевской линии московского метро. Иногда поселки проваливались, открывая под собой реку «мудрую такую» — Куру. Тогда я заглядывал вбок, за поручень, и между вагонами, над болтающимися буферами, видел однообразный скол скалы, к которой жался, пробираясь, поезд... Все это я помнил точно, но теперь, когда я шел по траве вокруг храма, в этой полной серо-белой тишине, будто отснятый на очень старую, немую пленку... теперь, из этого сна, тот поезд, мой приезд сюда — казались мне еще более приснившимися, в вялом, полузабытом сне.

И совсем уже не помнил, мимо какого безразличия для взгляда прошел я от станции до храма — миновал. Что-то,

по-видимому, было вокруг, должно было быть... Храм окружала стена, и когда я шел вдоль стены в поисках входа, то еще храма не видел, или не видел целиком, или он был незаметен, или я не обратил... Я миновал стертые ступени и прошел в маленькую дверку в створке больших ворот... Был выходной для памятника день — никого не было людей, на дверях храма висел замок — я оказался там.

Храм был окружен крепостной стеной. (Окружен — не совсем точно, потому что двор был квадратный.) И хотя назначение стены всегда внешнее: она как бы строится прежде всего наружу, чтобы оградить, не впустить, здесь эта стена была построена внутрь. Вот различие крепости и тюрьмы: стена всегда обращена к врагу, в тюрьме стены смотрят внутрь. Но тут было и нечто третье — монастырская стена: она ограждала взгляд. Лишь одно дерево разрушило стену, заглядывая с той стороны, нависая любопытной кроной. Двор же, меж стеною и храмом, был полянкой без единого деревца — сплошь росла трава. Лишь от ворот в стене до врат храма вела дорожка из крупных, серых, как небо этого дня, плит — между ними тоже пробивалась трава. Из трещин между камнями стены росли тощие кустики. За стеной уже не было ничего — ровное отсутствие неба того дня. Возможно, в другую погоду видны были дали, горы. Сейчас — только плоский травяной островок с храмом посреди, понтон с каменными бортами, плававший в белом отсутствии неба, солнца и тени — в молчании.

Белое, бело-серое и зеленоватое — три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка — содержали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но не равными плитами, больше белыми, чем серыми, как то же небо, там и сям симметрично расцветивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую разницу цвета, и тогда: где небо, где храм, где земли в этом взвешенном, бесплотном, небольшом мире?.. Раздайся крик — эта туманная постройка из воздуха, камня и травы задрожала бы и отлетела, оставив тебя на пустом пустыре, — так казалось.

Ничего, впрочем, не казалось — я не был ни предрасположен, ни настроен, состояние мое отнюдь не было молитвенным, ни даже умиленным, когда я прошел сюда. Но не с чем было сравнить постигшее с порога отсутствие. Ни внешнего мира, ни себя здесь не то что не наблюдалось — не было.

В молчании обошел я молчаливый храм по немой траве. Я не был готов к его восприятию — он мне ничего не напоминал. Он отличался от мощных по вере, «бычачьих», как сказал поэт,

армянских церквей. Он не был таким классически законченным, симметричным и не утверждал себя как единственно правильная мысль, неизбежная при приближении к храму, подавляя тебя и растворяя в своей идее. Будто этот храм не заставлял верить, а сам — верил какой-то более нежной, робкой, даже неуверенной верой.

Он не был окончателен в своей идее, даже не был настойчив, как армянские храмы, он не был назначен. Он был трогательно благороден и будто не притязал на вас. Строй, возникший от зрения его, был высоким, но не возвышенным. Человек, утомленный ложным пафосом, мог не обнаруживать внезапных сил для восприятия пафоса подлинного. Храм не был симметричным, он не был и специально асимметричным, дабы отличаться от цельности предшественников. Асимметрия эта тихо набегала, пока я шел кругом, и сказывалась лишь в неподавлении психики, в участии к несовершенному мне — собственно, я и не заметил этого главного нарушения выверенных пропорций... просто, когда я обошел кругом, образ, вместо того чтобы утвердиться и впечататься, ровно отчалил и как бы испарился, и я не сразу заметил, что стал обходить храм вновь. Он словно не был закончен, как бы даже не был увенчан, ибо купол есть часть уже обязательно симметричная — поэтому купол был возведен как-то незаметно, неназойливо, легко, будто основными в этом храме были стены. Я, естественно, не ввязываюсь в данном случае в спор о куполах — именно этот храм был таким, как я попытался его описать, не разрушая сильными словами. Или — тогда он был таким, когда я на него смотрел.

Я не был готов к восприятию, ничего не ожидал — он мне ничего и не напоминал. Но все это вместе: эта погода, эти цвета, эта выключенность, эта немота и тишина, — они мне что-то определенно напоминали, однажды виденное или почувствованное, но совсем не в подобных обстоятельствах, но — что и когда?

Где-то я уже внимал такой немоте, где-то я видел такое молчание, где-то я уже слышал такую тишину...

Воспоминание преследовало меня — это означает, что я его не мог вспомнить.

Очень странно, я искал это узнавание в своей жизни и не находил. Я помнил, что уже пережил это однажды, неузнанная тлела во мне искра опыта, но я не находил место ожога. Я не мог представить, конечно, что воспоминанием может оказаться

и что-то не бывшее в жизни, но с особой силой воспринятое или с особой силой переданное (как не только чтение книги может оказаться событием в твоей жизни, не только твои в связи с этим переживания, но и то, что было в книге...). Не мог я представить, что слышал однажды точно такую тишину, точно такого содержания тишину... не в своей душе.

Нет, нельзя о молчании — словами! Я написал эти страницы за ночь, а замолчал на полгода. Как бритвой обрезало во мне эту возможность — низать слова. Мычание не выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое — само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее — как рассчитывался с жизнью. Что ж, она сделала свое дело: я так ее и не кончил. Но снова свободен.

Попытался перечитать ее, неоконченную, так, будто меня нет, а она есть... Странное впечатление! Во-первых, она и впрямь будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я наткнулся на себя, ощущал оскомины и стыд. По замыслу, даже по конструкции, эта книга — развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились. Но это развалины так и не достроенного храма. Разобраться в этом — для читателя задача сродни археологической. Искать несуществующие обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни прежде, чем догадаться: а был ли купол? Может, купола и не было... И все-таки! Покопавшись, дообразив, кто-нибудь дорисует его в чертеже реконструкции — с куполом, с тем самым, единственным, выроставшим из недо-возведенных стен! Но его никогда не было, он никогда не стоял во времени... Но он был! Раз его реконструировали. Да, он был, и его не было. Потому что он есть. Он был ДО постройки. Его видели до меня и не брались; его, наконец, воочию видел я; увидит и еще кто-нибудь. Культура не пустует; пустует только время вне ее. А она — ЕСТЬ. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии. Ностальгия в лучшем случае возведет развалины как памятник единственному запечатленному в сознании образу. Нет, культура не возрождается; она — творится. Культура не может быть прервана, как не бывает прервана жизнь. Культура вечна и непрерывна, а мы ее либо знаем, либо нет.

Во что обратилось мое усилие — лубочный медведь держит в лапах лубок, на котором изображен медведь настоящий! Так

ровно, так последовательно, мерно, не выбиваясь из реалий, клал я свою краску на каждую в отдельности картинку... чтобы, написав робкую дюжину арабесок, рассыпав этот пасьянс, обнаружить, что вместе, расположенные бок о бок, в невольной общей картине, — они не под силу моему воображению.

Над каждым деньком в этой книге встает солнце, и вот, когда все в порядке наконец, — раздается петушиный крик. Всю жизнь вздрагиваю от этого крика. Никогда не понимал, в чем дело: что плохо, что он кричит? Вдруг понял: петух — реален, он всегда — сейчас. И крик его — сейчас. А я в тот миг всегда — не здесь и не сейчас. Я нереален. Вот и испуг, вот и страх. (Петух родом из Индии... такая же тоска!)

Петух... пустить петуха... потух... пожар... пепел... петел...

Петел... будит... набат... бунт.. мятеж... мятель...

Рывок (отчаянием, насилием) к реальности — вот лицо мятежа.

РОДИНА, ИЛИ МОГИЛА

Пограничник поднял шлагбаум, и мы переехали из Грузии в Грузию. Стало так тихо, что мы остановились. Та же Кура плыла слева.

РОДИНА
ПОЭТА

Она была не та же, как и мы. Она была — выше. Нам еще предстояло привыкнуть к себе. С некоторой глухотой, разминая ноги... Заграница — это где живут другие люди, не мы. Здесь других не было, но как бы и нас — не было. Никого не было. И небо, и зелень стали другого цвета, хотя не могли они быть другого. Другого света они стали. Такой остановленный свет бывает только осенью, когда пробуксовывают мгновения и вдруг чувствуешь, оказавшись впервые, что уже бывал в таком времени и пространстве, именно в этом, в котором ни разу до того не был. Не был, но бывал. Ощущение того света.

До осени было далеко посреди июля. Тот свет был ближе.

И вчерашний день, и сегодняшнее утро оказались куда более прошлыми, чем были. И не нашедший своего лица кемпинг с потерявшими свое лицо туристами, и любезность боржомских властей, с отдаленной лаской взглянувших на нас как на отрезанный ломоть, и непостижимая протяженность ожидания пограничной печати в приемной, неправдоподобно быстро оборвавшаяся, и те же мы, но уже с бумажкой, но уже с печатью, чуть напуганные ошибками в наших отчествах, но не рискующие ничего поправить... и уже чуть-чуть не мы, в последний момент выскакивающие из машины, чтобы купить тапочки в «спорттоварах» («там» их уже не купишь...)... и прыщавый архангел с автоматом, устало отодвигавший от себя робко-нахальную небольшую толпу темнолицых и гортанных «местных», впустил нас по этой бумажке, вполне ею удовлетворенный.

...Из реки, которая там, вчера, называлась Курой, из реки, которая как бы из Куры лишь вытекала, чтобы течь уже без имени, в безымянных берегах под безымянным небом, вылезли наши дети, со смытыми, растерянными лицами, белесо моргая, словно снова родившиеся, нам и себе удивленные, словно крещеные, уже не безымянные, нареченные

Леван и Анна... Кажется, мы ничего не сказали друг другу. Кажется, удержались.

Странно было увидеть собственный след на этом берегу; отнюдь не возмутительно, но дико глядел отпечаток протектора на черном песке. Отдаленный рокот одинокого грузовика с оставленного нами шоссе ничего не разрушал. Мы были так же посторонни, как белая нить истребителя в небе. Другая планета. Пришельцы. Скитальцы. Не странно ли, что «скит» и «скиталец» — однокоренные слова?

Новую модель не изобретешь. Кое-что изобрел первобытный человек: огниво, карман, колесо, простыню, сундук... Современный раздул лишь эти формы: зажигалка, «дипломат», «Жигули»... раскроил простыню, разнообразил сундук дверцами да оконцами, да в сундуке же меж домами, этажами и разъезжает. Поразили в Тбилиси меня эти трубы, к которым прицепляют «Жигули», чтобы не угнали. Как остроумно и находчиво... Но это же просто коновязь! Память о конях — одно поколение... Принято, что человек, по природе, не изменился, а изменились внешние формы. Боюсь, что внешние-то как раз и не изменились; не такое уж абстрактное требуется мышление, чтобы различить за различными насадками все ту же первобытную палку... Не так уж трудно на старинной доске житий и страстей при входе в чистилище разглядеть картинки современной таможни. Скорее все-таки изменился человек, до конца уверовав в прижизненность собственного существования, то есть как раз абстрактное-то мышление и утратив.

Сказка и миф куда менее фантастичны, чем реальность. Они — здравы. Легко не верить, что вас встретит Бог с бородой, но ведь вполне возможно, что — апостол с ключами... В символы веры поверить проще, чем в ее реалии. Скажем, если есть свет этот, как не быть тогда то м у? Школьник знает, что магнит не разрубишь пополам, чтобы в одном был лишь плюс, а в другом лишь минус. Это только для нас тот и этот разновременны (тот — потом, после...), а они — одновременны, тот и этот свет, они никогда не существовали порознь, потому что лишь вместе они — жизнь. У жизни, как и у луны, как и у медали, не может быть лишь одной стороны, жизнь не односторонняя.

Как, однако, там? Не те же ли там проблемы? Перенаселение, Мальтус, экология? Если, по Данту, в чистилище еще надо попасть, и даже ад — для души еще своего рода карьера, и толпа топчется у Стикса, недопущенная ни туда, ни сюда (все люди, не исполнившие своего назначения...), то какова же толпа эта на наш четырехмиллиардный мир? Избранным не пройти

к перевозу... Гениально прозрел современный бард: «И огромный этап, тысяч пять, на коленях сидел...»

У одной парикмахерши на днях умерла мать. Она очень плакала по маме. И снится ей мама. «Только не плачь, прошу, — говорит мама, — мне и так очень тяжело». «Как — тяжело?» — естественно интересуется дочь. «Здесь очень сурово». «Как сурово? — интересуется дочь. — Может, тебе чего туда послать?» — имея в виду теплые вещи и продукты. «Ничего не надо. Здесь все есть, все справедливо. Только очень сурово».

Беседа воспроизведена дословно. Что поймет современный человек под словом «сурово» здесь и что поймет он — там? Не нравственная ли норма человека сурова человеку современному?

Как, однако, там?

А вот так. Отчасти вот так, как здесь, где за границей Грузии оказалась Грузия же, где та же река и те же горы потеряли имена как принадлежность нам. Нам здесь принадлежал лишь арбуз, привезенный с собою, — мы его остужали в реке и упустили. Теперь и он не наш, уплывал от нас, домой — он от нас сбежал. Нам принадлежал укус слепня, слепо обозначившего, что что-то, не знаем что, или кого-то, не знаем кого, мы на том свете, ставшем для нас этим, раздражали.

Мы ехали дальше, но это уже мало что меняло. Мир за границей, однажды нами пересеченной, был ровен и светел: однороден, односоставен. Менялись очертания скал, породы рощ, цветы полян, и — ничего не менялось. Слово один и тот же мир поворачивали с разных сторон перед нашими глазами, а не мы на машине ввинчивались в новый серпантин. Воля наша была условна. Отнюдь не сами меняли мы окружающее пространство. Оно подсовывалось, отодвигалось, поворачивалось к нам и от нас — мы стояли. Не было ни воли, ни произвола. Здесь было сурово.

Не так сурово, а так сурово. Здесь почему-то вставал вопрос, снятый человеческим общежитием, где ты всегда — по отношению к другим, вопрос: кто ты такой? Кто ты такой, что сюда пришел?

Куда — сюда? Здесь было как там. Мы въезжали, под нас подкатывало, мы приближались, на нас надвигалось... И вот мы обнаружили, что стоим и дальше, по-видимому, не едем. Что это?

Родина Руставели.

Не стану утверждать, что я повторял знакомые мне с детства строки. Есть особая убедительность в имени поэта и не

читанного тобою. Ухо услышит звук, соответствующий чьему-то имени, сто раз, и в нем не будет имени. Но стоит раз произнести его человеку знающему, что оно значит, знающему на высоте собственной любви, как вы и услышите и поверите. Слово «Ру斯塔вели» слетает с уст грузина именно таким убедительным образом. Вы уже не сомневаетесь. Вам не обязательно проверять.

Так вот где он жил!.. То ли он жил в раю, то ли вы в аду, то ли место таково, что могло послужить столь высокому рождению; то ли поэт таков, что возвысил его до своего зренья и природа потом вынуждена была соответствовать уровню своего запечатления — стала такой? Нет, однако, сомнения, в силу пограничных или каких других обстоятельств, что природа здесь осталась в том состоянии, в каком была при нем. Его — нет. Он давно ушел в мир еще более тот, чем этот. Мир замер, провожая его взглядом, да так и остался на месте, на этом месте.

«Мир — лишь миг», — сказал друг, возможно, цитируя. Миг этот проскочил между Руствали и нами — мы стояли с ним в одном мире. Миг этот — простирался. «Он лишь взмах ресниц мгновенный...» Мы стояли, боясь сморгнуть.

Соринкой в глазу застряла турбаза, остальное было так же, лишь на его взмах ресниц позже. И отворотясь от турбазы, видели мы.

И не сразу скажешь, в чем тут дело. Красивое, конечно, место. Но — не в этом.

Несколькими гигантскими отвесами, очень музыкально восставшими в пространстве, противоположный берег уходит в небо, подавляя окрестность. Он — желт. А сейчас, в лучах закатных — золотист и розов. В нем чернеют дырки, отсюда почти точки. Так и у нас на речках бывает: обрывистый берег испещрен гнездами ласточек, они стремительно ныряют в них, с криком вылетают, чудом не сталкиваясь, стригут пространство на многие треугольники. Это — жизнь. Здесь нет ласточек. Если бы они были, то это были бы уже орлы, орлы бы показались отсюда меньше ласточек. Масштаб — вот что гипнотизировало. Вы не знали, какое это, — то, что у вас перед глазами. То есть масштаба не было.

И оно молчало. И вы молчали. Молчали не от потрясения, восхищения или еще какого-либо подобного словесного чувства, которое потом словами или возгласами разряжается, не оттого молчали, что как бы на время утратили дар речи, потрясенные. Молчали оттого, что слов здесь и не было. Или их здесь однажды не стало...

Когда-то здесь был монастырь. То есть эти дырки — входы в пещеры, в кельи. Это вам объяснят, когда наутро, после зарядки и манной каши, поведут через реку на экскурсию. Он был основоположен, и он быстро рос, превращаясь в пещерный город невиданного в истории размера. Храмы и хозяйственные службы, кельи обширные и с удобствами и схимнические, недоступные, все выше и выше, лестницы и переходы, выдолбленные в скале и висячие, террасы, галереи и мосты... Духовный оплот и сердце Грузии в упоительное для Грузии время, связанное с именами Тамар и Шота.

Но и века не прошло. «Мир — лишь взмах ресниц мгновенный». Землетрясение, подобной силы не отмеченное ни до, ни после, до наших дней, обрушило скалу в ущелье и с ней — город. Таким образом, то, что мы видим теперь, есть так называемый в черчении вертикальный срез — трагическая наглядность! «Далее посмотрите на эту фреску, — убеждал романтический экскурсовод в джинсах, особенно подчеркивающих узость бедер, в белой свободной рубашке, особенно подчеркивающей ширину плеч, с открытым воротом, особенно открывающим сильную шею и нательный крест, так и не поглядывая на девушку, особенно внимательную и выдвинувшуюся вперед, но тоже на него не поглядывающую... — На этой фреске вы видите уши животного, — говорил экскурсовод, вообще-то охотник, воин, только сейчас, временно, экскурсовод, — животное это, по ушам, конь. Но художник не стал бы рисовать одни уши коня, ясно, что он рисовал всадника на коне. А это значит, что остальная часть фрески упала в ущелье...»

Вопрос «за что?», который, хотя бы однажды, задает себе в истории каждый народ, звучит в этом ущелье. Это то самое «за что?», которое звучит в устах и у русских, когда они пытаются понять свой сегодняшний день в непрерывной связи с днем рождения, когда одни вспоминают Новгородскую республику, другие татар, третьи Петра... Все они, предварительно перессорившись в точке отсчета, забывают в споре, что исходят из общего для всех недоумения. «Художник не стал бы рисовать одни уши...» — снова услышал я от экскурсовода, не менее сурового и романтического, ведущего следующую группу.

Был ли то знак свыше? А как еще его было тогда понять, когда недоступная нашему разуму вера лепила эти гнезда, создавая духовную крепость нации? Катастрофа и есть катастрофа. Что погибло — погибло, а остальные ушли. Надо думать, то было и так неболтливое время: в молчаливом краю,

монахи, пещеры, — отдаленность от мира, трижды желающая отделиться: в самостоятельности, в недостигаемости и в молитве. Мечом, не иначе как карающим, гладко, как бритвой, был обрублен этот мир. Молчание, куда более глубокое, чем без человека, молчание после катастрофы, воцарилось здесь. Это мы и видим, а не пейзаж. Оно и в нас молчит. Не описать его. Молчание не расскажешь, как музыку не нарисуешь, а рисунок не напишешь, сколько бы ни упражнялись искусствоведы, поощряя подобные переходы и взаимообогащения... И я не стану.

Только молчание родит поэта. И хотя биография Шота столь неведома, что дает возможности самых необоснованных заключений... как убедительно именно это место и эта трагедия для рождения в одном из родившихся здесь людей поэта Руставели. Про границу трудно понять, что она от чего ограждает: внутренний мир от внешнего или внешний от внутреннего. Вопрос, с какой мы сами стороны... Но — обрыв. Крепость, которую мы отстаиваем, — родина. Крепость, в которую заточены, — тюрьма.

«Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль свою укрою?
Жизнь мне бремя. Но судьбою принужден я длить свой час.
Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне боится».
Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ!

Вы смотрите вдаль, через реку, на эту мощь скалы, на эти человечесьи соты... Как черви, с необсуждаемым трудолюбием и упорством, без механизмов и взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью, нарыли их люди. Как черви — но и как птицы! Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками — первое, что приходит здесь в голову. И черви, и птицы. Люди. Вы молчите. Смотрите. Не видите и не слышите. Не можете оторваться. Не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и — время. Тут остановилось время. Оно — то же, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. То же, когда отсюда ушли последние. То же время, в какое заговорил из этой каменной невыразимости немоты Руставели.

Мир прискорбный. Рок бессонный. Что ты крутишься, взмятенный?
Чем ты вечно огорченный? Кто уверует в тебя так, как я...

Все в биографии Руставели лишь предполагается, и утверждается в этих предположениях всегда автор гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руставели, кроме самого Руста-

вели. Музей Руставели — под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме его строк. Но ничего не нарушает их здесь звучания.

Все ж нас видит Бог, любя.

К меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть сомненья нет, но — не верю. ДОМ ПОЭТА
 Кончилась война, мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут верить — что я лечу на самолете? что кончилась война? она была всегда, до нее ничего у меня не было... что мне было когда-то девять лет? что сегодня я могу вспоминать события тридцати-, сорокалетней давности? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои девять лет никаким фактом ни осмысления, ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть... Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на нашу квартиру — ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка — про своего брата, но не Антон Палыча, а другого... Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прошались.

(Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. В задаче спрашивается, какое сегодня число и что мы за это время написали?)

Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков, кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбегии, и в доме Пшавела, и еще как-то в Гори... Запомнил в каждом — железную кровать и узкогорлый позеленевший кувшин в углу.

Уже тридцатилетним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу. Меня — водили. В домик Чехова попал

с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей («Дама с собачкой» была уже снята, а замечательная «Дуэль» еще нет...). Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке, рядом с чеховской кроватью, лежала французская книжка по пасьянсам, на отрывном календаре навсегда осталась дата — 27 мая... Я ничего не узнавал из того, что уже видел. «Уже старушки нет...» Директор сетовал на миллион посетителей в год, на план и хозрасчет, и мы разделяли: деревянные лесенки, рассчитанные на поступь немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопой.

...Я много посетил с самой домиков — я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе: то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, все тому же себе. Нелегко это — посещать... Ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже.

Да и посетить их бывает почему-то не так просто: специально — не соберешься, а когда выпадает естественный, как бы сам по себе, случай, который тут же захочется истолковать как знак или судьбу, то и тут... То ли выходной, то ли еще хуже.

Я возвращался на машине с юга и втянулся уже в среднюю полосу, которую и стремился поскорее преодолеть, утомленный долгой гонкой и однообразием представавшего предо мной вида, как вдруг... Что это? Так обрадовался взор!.. Пейзаж поражал культурой и свободой. Разгадка последовала: на указателе было написано: «Спасское-Лутовиново». Сама судьба распорядилась — когда бы я еще так счастливо туда попал?.. Но та же судьба распорядилась и мною: мне нечем было заплатить и скромную входную плату: я не обнаружил бумажника — ни денег, ни документов! — видно, лишился его на последней заправочной, от которой отъехал почти на пятьсот километров... Не навестил я Ивана Сергеевича! А может, и кстати. С чего бы вдруг? Может, я бы еще больше расстроился, чем от бумажника...

Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг не отмечается и еще одна — бесспорная: природоохранная. Сколько истории, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем... Но и — сколько пейзажей! Не охраненные их священным именем, рассосались бы и эти: вырубил бы рошу, растащили усадьбу, будь она просто так.

Ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священно; оно освящено, впрочем, нашим правом собственности НА поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея... тросточка в углу, дуб на бережку, единственно столетний на всю округу... «Вновь я посетил...», «Я помню чудное мгновенье...» и «Нет, весь я не умру...». В наш век природа — такое же камерное, культурное пространство, как и стихи о ней. И если вдруг, проезжая по российскому шоссе, на смену бесконечным выродившимся, беспородным рошицам и порубкам, сплывающимся в общую просеку, на смену вываливающимся прямо на «проезжую часть» ответшавшим избам и заборам вдруг изяшно изогнется дорога, входя в широкогрудый, чистый лес, и даже рельеф облагородится, откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой (ибо и дикая природа, без вмешательства, приходит к своей культуре...) даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и не вырубленный впоследствии парк или сад, прежде, чем мелькнет чистая церквушка с необломанным или непогнутым крестом, прежде, чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок. — можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта, покопайтесь в своей эрудиции, какого... Поэт — последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело.

Может, не надо туда ездить на автомобиле?.. Нам предстояло путешествие — мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и заехать, куда захотим. Свернуть. Но — куда? Скажем, в Гори. Или еще раньше — в Сагурамо. В Гори или в Сагурамо? Не хотел я в музей — куда милее мне был в тот момент простор. И в Гори я был... Когда? Неужто тридцать лет назад!.. Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж в Сагурамо. Там я хотя бы не знал что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятым облегчением, которое рождает поворот: ехать совсем не туда, куда собрался...

Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно: всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз! Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим. заслоняет взор: там в тундре прыгает кенгуру, и петер-

бургский дождик идет на Монмартре... Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на том подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим шатким его лесенкам, светлая память не запомненной мною Марии Павловны печально витала над цементной гробницей, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховский, и не совсем чеховский — лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все еще живая Вера Владимировна пропускала меня по той крутой лесенке наверх: «Осторожнее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михалыч написал. Чтобы гости не стукались...» «Береги лоб» — тщательно на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле, невольно склонился я, входя... Так, рассказывают, устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах!

Это был самый живой писательский музей из всех мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий ее щебет, несмысленному мне пояснявший... Я сел за его стол. «Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали... — И она вставила колобашечку между окладом и рамой, распахнув окно. — Очень удобно». За окном был нехитрый садик, где дрова поддерживали заборчик; с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви вросшей в него бузины... Я, робея и наглея, поднял со стола очки, сложившие лапки, как кузнечик: две пыльных ватки были прилажены для переносицы... Их тоже «сделал» сам Михаил Михалыч, как мне пояснили; очки — натирали! Но натирали они живую переносицу! Ватка касалась! Касалась носа!.. Нет, я не мог больше... Продолжатель Гоголя и наследник Чехова!.. Я крутил в руках бумажку, этакий бланк на пол-листе, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением... ему (Михаилу Михайловичу...) присвоена? присуждена? установлена (вот!) персональная пенсия размером в наши сто двадцать рублей. Вы не представляете, как он обрадовался, поясняла Вера Владимировна. «Теперь я хоть уверен, — сказал он, — что ты не умрешь с голоду. Тебе положена после меня половина...» Она его уговаривала не ехать (он плохо себя чувствовал): успеешь еще

оформить-то, дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием — не мог есть... (разве? как Гоголь? что вы говорите! я не знала...) он сказал: «Ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это...» — и поехал, как я ни уговаривала, вернулся совсем плохой... То есть он ее не успел получить, первую свою пенсию, — тень Акакия Акакиевича накрыла полой своей шубы великого сатирика... А старушка так же звонко (у нее поразительно отсутствовала в речи пауза) рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта, еще в шинели, и носил башлык, а они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит: «Смотри, какой башлык!» Мы так «башлыком» его и звали; потом он однажды к нам подошел. Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской (она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить! ответила!..), чем тем, что стала женой великого писателя...

Так вот же ведь, вот! Она не за писателя и выходила, а за красивого двадцатилетнего офицера, бледного, отравленного немецкими газами, в башлыке, с георгиевским крестом и темляком на сабле!.. Серебряный ее голосок витал и витал, и была она все еще той самой, в которую он и влюбился, и не видел я более трепетной и живой памяти о великом писателе, чем такая!.. Влюбленный в ее колокольчик, расшаркиваясь и не находя внятных слов, покидал я этот никогда не открытый музей, живой ее жизнью настолько, что и Михаил Михалыч оставался жив: вышел в садик или на терраску, пока мы болтали, не утомляя его... И спускаясь по той же лесенке, расшибал я таки лоб, искры сыпались, и смех ее рассыпался: что ж это вы, ведь сам Михаил Михалыч предупреждал меня об этом... Растроганный, покидал я, бредя вдоль глухого зеленого забора соседней ведомственной дачи, за которым не знаю кто бы еще мог жить... И вдоль того же забора, так долго отгораживающего взор от дивных парковых берез, где всюду знак «остановка запрещена», а японцы, не понимая, просят остановиться, им хочется фотографировать березы, им хочется в рашн-лес, они не хотят в музей, а мы им ласково, более, чем они, по-японски, улыбаемся и провозим все мимо и мимо, успокаивая, как малых детей, что уже скоро и сейчас приедем... И впрямь, меж двух сужившихся заборов, как скот в загон, втягивается наш делегационный кортеж, и попадаем мы опять, куда я никак не ждал, — великий отворяется простор и взор и вздох в этой прославленной усадьбе, где природа уже исполнена человеком в той

же мере, как музыка, в том же, впрочем, камзолном веке. Нет, усадьба принадлежала не поэту, а вельможе, но поэты здесь бывали, и одна из их возлюбленных погребена вот под этим памятником...

В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфель моего прапрапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал... Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может... Только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь, в нашем дворце, было предостаточно и которые они (с каким чувством...) трогали своим японским пальцем... с чего это я взял, что способен? Потому ли, что собрался к ним и, по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, и сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они... с чего это я взял, что именно я — настоящий русский, когда особенно возмутился живому хихиканью за спиной, а обернувшись, застал своего кинорежиссера (не менее меня русского, из северной деревни родом...), в ту же Японию со мною намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшегося никак не по менее святой причине... я застал их, японца и русского, любознательно удовлетворявших свои филологические потребности в радостной попытке нахождения общего языка: они тыкали в мраморные частицы тела амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски; они повторяли эти, столь непохожие по звучанию на родные, слова и смеялись с истинной детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т. п. Я тогда чудовишно возмутился.

Сейчас думаю: славные ребята, по существу... лучше, чем воевать... славные ребята! Но вот что же я так зарыдал ни с того ни с сего тогда, на выходе?... Я случайно почти попал, несколько раз не попадал туда: то с дочкой, то с грузинским другом, то

с иноземцем... всегда он бывал для нас закрыт, этот миленький домик, особнячок, даже особнячочек, выходящий своим красным узким бочком на Садово-Кудринскую... то перерыв, то выходной день, то санитарный... а тут иду себе и не собираюсь, и час у меня нечем занять (это в Москве-то!), а домик-то и открыт! Я раздумывал в него войти — слишком неожиданно, решил все-таки не идти даже; Чехов такое чувство вызывает, что как-то то ли себя неловко, то ли людей стыдно, а теперь уже — перед ним самим этот стыд воспевшим и воплотившим «с такою чудной силой»... Не пойду, думаю, а уже — вошел, а уже подымаюсь, гордо не присоединяясь к экскурсии и свое, хоть и скромное, инкогнито не приоткрывая... мне ли объяснять про Чехова!.. фланирую, с миной скромности и величия, по прекрасно, надо сказать, спланированной экспозиции, нравится мне и, симпатизируя Антон Павловичу во всю меру своего знания и понимания, проникаюсь, так сказать...

И, в самом конце, вдруг на подушечке, под стеклом, в крошечной, как пишущая машинка, витринке, вдруг, на подушечке, просто так, безо всякого пояснения — на бархатной... под незалапаным стеклышком... пенсне и визитная карточка «Докторь Чеховъ»... постоял я, постоял над ними, оцепенел тупо... а когда встрепенулся, очнувшись (за спиной уже стояла старушка — подозревала...), то и решил, что ничего больше смотреть нельзя, а надо уйти... Я-то решил, но так и оказалось, что другого — ничего и нет: на выход. Вот и выхожу я, про себя похваливая такт и вкус устроителей, на улицу... и улыбаюсь еще какое-то мгновение на внезапный уличный свет удовлетворенной, расслабленной улыбкой, и что-то все шурюсь и шурюсь, никак не привыкнуть, шурюсь, Садовое кольцо, щиплет, машины, машины, щиплет сильнее, сегодня!! сейчас...и рыдания без мысли, без идеи, от одного лишь этого чувства немного, начинают, как писали когда-то, «душить» меня. И я не в силах ни понять этого, ни сдержаться, ни скрыться, ни провалиться... Мне некуда деться посреди этого рычащего и дымящего бездревесного Садового, безлиственного Кудринского, знакомые вполне могут... что же это рядом-то?.. Союз писателей рядом... сорокалетний, трехлетний, стою посреди, и бессмысленные, непокорные, не пьяные ни в коем случае, потому что не было этого, слезы не просто текут, а льются, откуда столько?.. и отчего? никаких во мне слов, объясняющих, и сейчас не найдется. Просто это я, сейчас, в нашем времени, на Садово-Кудринской, что в Москве, со всей своей... со всем своим... разве так можно?..

Вот как было дело. С чего бы только было им просохнуть, как им было кончиться? Не пойму. Нет, никогда я не поеду в Михайловское! Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот, и прялку Арины Родионовны — не хочу. Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения... Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем мы, мчимся. «Инспектор!» — предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со ста двадцати до шестидесяти прямо под носом засевшего в кустах гаишника, и успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную свою внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах? от чудовишной той его осени?... И гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая, как финиш, противоположную границу, прочитав слово «Болдино» в зеркале заднего вида... Нет, не мог я здесь остановиться! И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетавший, улетающий от меня пейзаж. Какие проплывали, те же самые, что и над ним, облака! Знал бы я, что другое Болдино это было, другой области, однофамильное село... И пронесся я, минуя, как однофамилец самому себе. Так и гримируюсь под Гамлета, а пора бы уже репетировать Лира. И только мы миновали пост ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали, в Сагурамо мы и оказались. Представления невиданного тут же распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты — не предполагал. Экскурсий никаких не было, мы были первые и одни; не было и никакой преувеличенной надстройки над святыней; не осталось ни сестры, ни вдовы... Все здесь было вполне нормально, недоразвалившись и непереобновившись, в той норме, когда можно бы и продолжать жить, как жили... Для нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно, для такой удаленности, породистые; от нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь; для нас одних оторвали от свежей непочатой тетрадки входные билеты... Билетерша же, конечно, была не одна: несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, ожидая его. Кто они были? Сотрудницы, родственницы, а может, и то и другое... Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на

лице каждого, кому гадают, и еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши... И мы прошли.

Там было тихо, чисто, по-крестьянски был как-то не то намыт, не то неровен пол, плетеные же, деревенские, лоскутные половички... Уютно было, будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше пдохать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал и отлучился, буквально перед нашим приходом, и, как всегда, мне здесь, приедем, неясно: хозяин? он что, сейчас будет или через неделю? Другая жизнь у времени здесь... Память о великом человеке не прервала тут жизни здесь живущих. И вот еще от чего мне стало хорошо: трепета у меня не было перед великим Ильей; у друга, наверно, был, а я был не обязан. То есть я относился к нему и с искренним, и с подобающим почтением, но и только. Не стояла для меня за ним судьба моего народа. И слава Богу. Отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху некоей тенистостью в принципе, не только под деревом она бывает... Да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья — человек хороший, мне было очевидно ясно и без страстных пояснений моего друга. Быт человека не врет.

Поднявшись на бельэтаж, на лестничной площадке, в большой витрине, осмотрели мы личные вещи: трость, саквояж, белый жилет — на солидного, как в прошлом говорили, статного, человека... будто он все-таки вернулся, нас догнал, а сейчас поспешил переодеться... а нас пока пропустили прямо к нему в кабинет, поспешно спрятав за спину малиновый бархатный барьерчик... Так и выглядела настигшая нас экскурсоводша, с которой любезно объяснялся мой друг, а я не понимал... так она выглядела, как дальняя, возможно, и бедная родственница, помогающая здесь по хозяйству... Илья ей нас пока поручил... Она спрятала за своей спиной эту малиновую анаконду с крючком на конце, и мы прошли в его кабинет, таким он и представлялся — и мужской, и интеллигентный: почитали корешки на книжной полке — не так и много, но все — по делу, осмотрели не замученный непосильной работой письменный стол, и вполне хорошо вытертый ковер, и мутки на узеньком диванчике для внезапной дремы... Вышли на балкон: прекрасный парк спалал некруто вниз, деревья стояли проторно, так, что особенно трепетали меж стволов, по сухой приземистой травке, солнечные пятна; пятна эти вольно разгуливали по парку, предоставляя то тень, то свет так, что ни свет нигде не палил, ни тень нигде не сгущалась... И деревья все были такие породистые, как и выбо-

жавшие нам навстречу при входе собаки. «Вот здесь, — мечтательно и ласково пояснял мне друг, — обычно ставили стол...» И взгляд его ушел за деревья, будто кого-то там вдаль провожая... Или, может, кто-то уже приближается, кого мы ждем?.. «Вот так... — говорил он с мягкой расстановкой, с круглым жестом. — Прямо здесь, где мы стоим, однажды Илья и Акакий и не заметили, беседуя о судьбах, что съели всего поросенка...» И снова его взгляд пошел кого-то там, вдаль, встретить.

А потом мы и сами съели то, что у нас с собой было там, под балконом, в тенисто-золотистом парке; поели, запили водой из источника; поиграли с Леванчиком, сыном друга, в бадминтон; никто не проиграл никому... только солнце вдруг стало торопиться к закату, и Илья так и не вернулся. Что с ним могло случиться?..

МОГИЛА
ПОЭТА

«За что?» — вот вопрос. За что — Илью? за что — Галактиона? Александра Сергеевича — за что??

«Александра Сергеевича жальчее», — сказал некий крестьянин про смерть Льва Толстого.

За что — они нам? За что — мы их? Им — за что??

Где правильнее похоронить поэта: где он родился? где он писал? где он погиб?

А где он, например, писал? Когда было ему?.. Ему было некогда и негде.

Это теперь мы возводим им дома, в которых они жили. Храмы. И молимся на них. В киотах — фотографии, первоиздания, черновики... портреты отцов и детей, возлюбленных... чернильницы, стулья, зонты... печатки, перчатки, пистолеты... фрак, сюртук... Архалук!

Сюртук мальчика с модной вытачкой. Тоньше пальчика в фалде дырочка. В эту дырочку мы глядим на свет: нам на выручку кто идет иль нет? Жил один Сверчок... Господи, прости! Наступил молчок на Всея Руси.

Вещи. — доказательство того, что поэт был. Будто мы не верим, будто себя убеждаем. Лишь экспонаты — неоспоримы. Будто нам мало текстов... Нужна еще биография. Приятно то, что точно знаешь; приятно то, что всем известно...

...Родился на Украине. Жил в Петербурге и Италии. Не был женат. Путешествовал в Иерусалим. Получил письмо от Белинского. Просил не хоронить. Перехоронен.

...Родился в Таганроге. По образованию врач. Жил в Москве, в Мелихово, в Ялте. Путешествовал на Сахалин. Умер в Германии. Похоронен на Новодевичьем...

Кто такие?.. Хором: Пушкин! Правильно, дети, Горький. Заполним разом все клеточки в кроссворде.

Родился в 1796 — 1828 годах в небогатой помещичьей семье старинного рода, умер в 1829 — 1910, прожив 26 — 82 года. Знал от двух до шести языков. Рисовал. Писал вальсы. Служил в министерстве иностранных дел. Воевал. Был разжалован в солдаты, сослан на Кавказ, в Сибирь и родовое имение. Путешествовал, не был выпущен за границу, прожил 10, 20, 30 лет в Италии, Франции и Англии, где и умер. Погиб на дуэли, был убит, простудился, погиб... Прах его покоится на родине, перенесен из чужеземья, могила утрачена. Написал «Горе от ума», «Медного всадника», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Войну и мир», «Идиота» и некоторые другие произведения. Сто томов писем.

С признанием при жизни у русских писателей обстояло не так плохо, как, скажем, в Америке. У нас не открывали через сто лет Стендаля, По, Потоцкого или Мелвилла. И читатели, и власти более или менее сразу знали, с кем имеют дело. С биографиями похуже, но все-таки лучше, чем в следующем веке. Что поэты сохранили, так это исключительный патриотизм.

Да, биография налицо. Но где же тогда дом, который мы только что посетили? Когда же поэт в нем жил? Он в нем или родился, или умер. Приезжал в гости. Один Лев Толстой... да и тот в конце концов не выдержал и умер в дороге.

Скоро кончится тревога. Верный путник хвалит Бога.
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Нет никакого дома — одна дорога. Путь. И если начало пути, место рождения, имело меньше всего шансов сохраниться для благодарных потомков, потому что новорожденный гений — такой же младенец, как все, не различишь (как поражает доска на одной из московских «высоток»: здесь родился Лермонтов!), то место смерти и могила должны быть куда более отчетливы у человека, столь свершившего... Казалось бы.

«Эти люди обо мне не вспомнят...» «Эти люди вспомнят обо мне...» Между фразами как раз и пролегает поколение, которое все забудет.

И скитания их не прекращаются за гробом.

Как могло так случиться, что пошел дождь, жена слегла, за гробом шли всего четыре человека (один из них Сальери),

а до кладбища дошел один, могила была не готова, захоронили в общей, для бедных, а когда вдова пришла через день, смотритель не мог ей указать могилу? И это был человек, с раннего детства известный царствующим особам главных дворов Европы!.. Не говоря, что — гений, какого не носила земля, причем при жизни признанный гением. «И Моцарт в птичьем гаме...» — там, в листве, — его могила.

И сколько бы ни ссылались на интриги III отделения, опасавшегося народных волнений, никак до конца не понять, зачем же все-таки с такой таинственностью, ночью, в сопровождении жандармов, гнать сани с гробом поэта в Михайловское? Могила, правда, на этот раз известна. Зато с местом дуэли, при жизни ее прямых свидетелей и участников, происходят таинственные смещения... даже слева или справа от дороги, через двадцать лет они не могли установить. Так что, стоя у обелиска на месте дуэли, возможно, вы совсем не в том месте, где пролилась его кровь.

А беспокойный прах Гоголя?.. Он ведь так просил, предупреждал. Чего стоило его завещание в глазах людей, не сомневавшихся, что хоронят гения? Сочли бредом.

И уходит путь-дорога. Хоть людей на свете много,
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Праха поэта беспокоят через сотни лет, находя ему более почетные или более символические места для захоронения. Кости ли не могут успокоиться, мы ли не можем? Прах Колумба и после смерти дважды пересекает океан, так и носится по волнам четыре сотни лет, Чаплина крадут...

Хлебников, вечный паломник, брел по степи со своим другом, и тот начал помирать. Хлебников не остановился помочь: «Степь отпоет...» — сказал он умирающему. И его самого отпела степь. Как отпела она, ледяная, и Цветаеву, и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани. Нет, тут не одна лишь наша неблагодарность! Тут что-то еще, не поймем что...

Великие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти... Кто они такие? Откуда взялись и куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод?..

Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в ночь, как в молчание. Ничего там было уже не различить, но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке — присутствовало. За спиной разгорались танцы. И музыка, и свет турбазы,

бившие мне в спину, туда не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда.

«Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся — так и тело ждет конца».

Руставели ушел в Иерусалим. Все они уходили в свой Иерусалим. И не возвращались. И когда я вглядывался в ночное молчание Вардзии, этого памятника людям-птицам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой сверхмогилой истории и родины, то чем больше я верил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не в то, что ее нет или что ее так и не нашли... А в само то, что он там, под камнем, есть. Его могила была здесь. Родина — его могила. Он — ее звезда.

Жизнь лишь беглое мгновенье.
К миру только отращенье.
Мне с землей соединенье.
В ночь ведет меня тоска.

Поэты — одни и те же люди. Столетия спустя не знавший Руставели русский поэт повторит:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Памяти отца

Как нечаянно вверглись они в разорение! уничтожились, погибли от ужасов.

Сколько раз мы вздохнули и охнули, выйдя на опушку, взойдя на гору, повернув за поворот и увидев море... Множество ли пейзажей и видов открывалось моему взору за бродячую мою жизнь? Нет. Не много. Чем больше я перемещался, тем меньше. Чем дальше я углублялся, тем больше видел пыль под ногами и стоптанные ботинки. Я брел по нерасчлененному уже лесу, выходил из некоего сада... пересекал горы, углублялся в чащу... я шел по словам из самого бедного словаря.

Я оставался при том, что имел. При токовском дачном озере, пионерском финском соснячке, с видом на Петропавловскую крепость. Расстояние в полста километров между ними — несущественно, скрадено памятью; и будто все это друг у друга на фоне, совсем в одной местности. Теперь и это немало: озеро заросло, лесок облысел, вид на Неву высосан почтовыми открытками. Но это — мое. Кое-что сверх этого зацепил я описанием, сделал фактом своей... присвоил. Там, в рукописях, расположен некий армянский монастырь, грузинский городок, ташкентский базар... Я отметил, что что-то видел.

Навидавшись, я по-прежнему иду по улице, вхожу в дом, сажусь за стол — и улица вообще, и дом вообще, и стол вообще. Значит, не мое. Моего же — вот столько. Сколько есть. Хорошо, если столько, сколько было.

Я хочу это видеть. Я ничего больше не хочу. А то опять увижу...

...Возвращаюсь из Москвы, везу анекдотец. «Шаху отрезали ногу...»

Как сядешь, так и слезешь... Если бы не вывеска, что это ЛЕНИНГРАД, — никакой разницы. Чья-то идеальная идея, чтобы Московский вокзал равнялся Ленинградскому: одинаковые перроны, одинаковые залы, по одинаковой клум-

бочке-могилке в начале и конце пути. «Червячок, а червячок?..»

Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро: я все еще в Москве.

Выхожу на Петроградской и... наконец-то! дома! и все понятно. Радостно топчу землю. Причем именно землю, потому что сначала — сквер. Это кратчайший путь. Не могу сказать: узнаю — знаю! И даже «вижу» — не могу сказать. Именно, что — НЕ вижу, а лишь убеждаюсь: на месте, все еще на месте...

Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца с землеройкой: этот недоразвитый зверек прокладывает свой путь лишь один раз, и если в этот первый раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом его убрать, то она так и будет огибать его, уже несуществующее, до конца дней. Сорок лет назад я переходил Карповку по деревянному мостику, а лет десять тому — метрах в пятидесяти — построили капитальный, каменный; некоторое время они еще оба стояли рядышком, и я все еще дохаживал по деревянненькому: он стремительно ветшал, сквозя провалившимися досками, поблескивая пылтертыми до блеска шляпками гвоздей... потом — снесли. А я и сейчас, кратчайшим путем, выхожу сначала к нему, убеждаюсь, что его нет, и как бы ошупью добредаю до нового, совершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой... Значит, я выразился достаточно точно, что НЕ вижу: чувствую я, а не вижу... чего я здесь не видел? Иду я, шурю, будто на солнце, вдыхаю, будто и воздух-то здесь другой, чуть ли не улыбка бродит по моему... Однако взгляни я на себя со стороны, мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноглазо, если можно так выразиться, и под ноги не смотрю.

Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше — значит, до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается: Карповка, Ботанический сад... а так можно и налево голову повернуть — там мой дом: как стоял, так и стоит. Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те, столетние, что вдоль Ботанического, давно попадали — все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали... и решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная — это все асфальт. Но дом мой — прежний, если слишком голову не задирать: наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишней этаж... Но от моего дома вид уже не менялся на всем моем протяжении; тот же Электро-

технический с башенкой, те же часы на башенке и тот же двухсотлетний елизаветинский барак в углу Ботанического... И все это избирательное зрение дается без труда, без сознания, само собой — я все еще в прежнем, своем, неизменном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь.

Как землеройка видит препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам прыгнуть вниз, если они к нему приблизятся... вон я там внизу, мне из-за спин не все видно... три часа длится эта осада... Вот сейчас, когда я миную то место, сердце мое привычно опустится, как тогда, когда, не дождав-шись, повлекся я наконец домой, опасаясь нагоняя за опозда-ние, и тут же за спиной услышал общий вскрик толпы и, обернувшись, увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно-белое и как бы пустое...

А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески... просто я всегда боялся смотреть в ту сторону и так и не знал, какое же из этих сумрачных строений «оно» (я думал о морге в среднем роде), поэтому там расположено именно слово... Наверное, потому я завел тогда с мамой, именно на том повороте с Карповки на Аптекарский, один примечательный разговор... Я тогда в пер-вый класс ходил... мама меня не поняла тогда... а я и теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа: «Мам, а когда я умру, я совсем умру?» Мама спешит, нам надо успеть отоварить карточку, ей надо успеть меня покормить и бежать на вторую службу. «Я тебя не понимаю, о чем ты?» — «Ну, кем я был, когда меня не было? — спрашиваю я иначе. — Я ведь был...» Голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит, могу быть и после. С моими ужасными гландами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь интересует мать именно в этом интервале от «до» до «после». Я каждый раз чуть не плачу, огибая этот угол.

Я на Аптекарском. Карповка остается у меня за спиной; сад справа неизменно хорош, левый бок мой слеп — фабричная стена. До дома два шага, но и на этом расстоянии — отметина: худосочный дубок, с трудом набирающийся жизненных соков из-под заводской стены. Две неравноправные судьбы у деревьев: через улицу он наблюдает счастливую жизнь — там, за решет-кой, в Ботаническом саду... Этому дубку спасли, однако, даже

вот эту его неудачную жизнь. На нем было поселилась тля, и мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно — он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным! Однако вот так, поодиночке, за лето отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок!.. Ремесленник сорок пятого года. Однако листом крепок, тли нет. Если обернусь, увижу отца: рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно-сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплочном пространстве, в том же, где никогда не упадет летящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про «до» и «после».

А вот и Дерево. Дерево значит дом. Деревьев тут полно, но Дерево здесь одно. Оно растет у самого дома, и хоть оно тоже за границей ботанического царства, но — такое же могучее и древнее, из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянулось нижней гигантской ветвью до братьев и последним хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад... Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер. И ветвь загородила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел ту ветвь. Но довольно скоро, точно так же могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все Дерево потянулось туда, к саду. Так и росло под углом... Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под Деревом остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под Деревом». Три года, как его нет. И каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу, как следует остановиться, но спохватываюсь: шоферу Дерево не видимо. Нечего мне теперь ему сказать, на эту секунду выходят лишние двадцать метров, прежде чем я грубо говорю: здесь. Ну, возвращаюсь немного назад.

Дерево спилили — это было СОБЫТИЕ. Долго валялись во дворе его слоновые чурбаки. Отцу мы про дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про дерево так ничего и не знал. Я застал свое сорокалетие в Москве. Он успел меня

поздравить по телефону... Через час... Когда я прилетел первым рейсом и стал одевать отца и просунул руку под поясницу... то было последнее его тепло.

Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика: шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ.

— Здравствуй, мама.

С каким бы постоянством и настойчивостью ни жаловались мы на жизнь, в настоящую минуту мы не будем сознавать, насколько положение наше ужасно. У нас не рак, в нас не стреляют, все, слава Богу, живы. Чем хуже положение собственное, тем оно более и свое: ни с кем бы не поменялся. Другим как бы еще хуже. Настораживает только категорическая недопустимость дальнейшего ухудшения. В этом смысле хуже уже некуда. А так вообще-то ничего еще. Можно. Если не слишком долго.

Зато смерть была мгновенна. Он о ней даже не подозревал. А он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит: котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил: принял поздравления с моим сорокалетием.

Лицо у него было красивое, ясное. Кровоподтек на лбу — ударился, когда упал, — почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было: падал он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал. Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище. А там захоронения уже запрещены. Гроб бы не удалось...

Соображение, которое мне никогда не удается додумать: эти две бритвы, перерезающие жизнь отца... Как бы слабо она в нем ни теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла последней точкой, а оборвалась, вся, какая в нем была, — фронтом, водопадом. Не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое не могу осмыслить: мир, разрубленный, как яблоко. И затем — печь... Куда навывалась его душа на третий, девятый, сороковой?..

Но через год он наведался лично, во сне. Будто на улице встретился. Был он как-то обтрепан и весел. Легок. На брюках

бахрома. Я был с мамой, а он очень обрадовался именно мне. Потрепал по руке. Мама даже приревновала: «А меня?» Потом мы обедали в какой-то забегаловке: отец ел жадно и молодо, мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал (манера, так раздражавшая когда-то мать), рассказывал матери с энтузиазмом о своих литературных успехах. Это было так удивительно и на него не похоже! Вот кто, слава Богу, полагал я, не дожил до этих «успехов»: он бы их не вынес. А тут, на тебе, убеждает мать в обратном... Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о «тамошней» жизни (не американской, а загробной), он отмахнулся, жуя: «Да я там редко бываю...» Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда... но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда эти беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не остановился и спросил его о главном: я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему: «Ну а сколько мне осталось?» Отец глянул и зажевал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен, в таком случае, успеть. Имелось в виду мое Дело (с большой буквы), которое, как мне стало теперь ясно и, по-сыновьи, лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне, даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, — выкинул два пальца. На свободной от вилки руке. Как рога или заячьи уши. Или чтобы не поняла мать. Или это римское пять. С чего бы римское?.. Тогда уж мог выкинуть по-русски — пятерню. Или это означало латинское V — виктория? Конечно, мне сразу показалось мало — два. Я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го... нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался.

Но впереди было по крайней мере два года...

В одном отец уже оказался прав: в той своей мне пренебрежения к моему интересу. Ничего я не успел за эти два года! Жизнь есть жизнь. Ее не поторопишь. Пятилетку в два года я не выполнил. И с предупреждением я прожил, как без него, и, в этом одном смысле, я собою доволен. В этом смысле я оказался свободен и лишней палочки к своему кресту не приколотил. Осталось три месяца.

Если не виктория, конечно...

Так что положение мое не кажется мне скверным. Потому что — куда тут хуже? Друзья покидают... Девушка не приезжает... Дела прикрылись, денег нет; развод, жить негде. И не пишется: плоды зацементировались в моей утробе, ни одного яичка не снес. Так и не снес... зачем было тогда отца выпрашивать? Правда, дети мои — не нарадуюсь. Вот только дочь не поступила и сын опять простужен. Правда, в отношении принятых на себя... до сих пор справляюсь: доедаю автомобиль. И живут они все еще, как будто я есть. Правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке. Убогие, неполноценные, но я им нужен и, слава Богу, с ними еще не знаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них, чем для себя. Правда, матушка — дай ей Бог здоровья!

В общем, устроился...

Блудный сын, возвращаюсь домой. Сорок лет назад меня сюда привезли, и вот проходят каких-то сорок лет, и я опять здесь! Оплот! Мне все еще есть «куда прийти» — это ли не итог.

Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению... говорит, и будто у нее за спиной две гимназические косички прыгают, или два пыльных бабочкиных крылышка трепещут... Обсыпает меня всеми семейными новостями, причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пылью, принимаю вспять форму кокона, спеленываюсь и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой, и пребывать...

— А ты знаешь, нас выселяют! — весело прошебетала мать.

Подробности мне рассказывает сосед Никонович. Мне кажется, он слегка привирает, что ему уже, 89. Но возможно. Паспорт он мне показывал. Возможно, Никонович вечен. За последние сорок лет он не только не изменился, но решительно помолодел. В институте геронтологии он числится как объект. Он высок, строен, легок; на гладко выбритых щеках бодрый румянец; и седины у него не больше, чем у меня. Четыре войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начиная он с унтера, теперь по вызову «Ленфильма» соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уже в царскую фамилию, на уровне Великого Князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон. Но баритон у него удален по поводу рака гортани, операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом

отношении он теперь — объект. И надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь то ли он, то ли мы научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как две рыбы в аквариуме.

Кстати, наш обреченный, как оказалось, дом отчасти аквариум и напоминает — начало века, модерн: что-то есть в его линиях именно аквариумное. Никонович открывает и закрывает рот, и я вникаю: нас выселяют, теперь точно, раз есть решение горисполкома, теперь — в любой момент, но скорее все-таки после олимпиады. «После олимпиады» — это уже формула. Как «после войны». В шесть часов вечера, скорее всего. После дождика, если то будет четверг. Радиоактивненького. Так и слышу его умиротворенный пепельный шепоток.

Аквариум, две большие старые рыбы, теперь еще и дождик сверху. У меня стремительно падает давление, втягиваются внутрь барабанные перепонки и височные кости, будто я сам себя высосал изнутри. А он все говорит и говорит. ЭНЕРГО-ТЯЖКОМРЕМСНАБСБЫТИЗДАТ пишет он мне на клочке непонятное мне в его произнесении слово. Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое. Так, значит, все это, что мы жили и умирали, есть ПРЫГСКОКБРЯКБРЫКСКОПЫТ. Нас уже нет, а он, сожравший уже половину Аптекарского острова, он — есть и есть, БРЯКРЫГРАККОМИСТДАС...

Комната у меня уже покачивается перед глазами; плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая, под определенным углом, толщу — в линзу, то сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу-иглу... Я жалуясь Никоновичу наконец на головокружение и низкое давление, и лучше бы я этого не делал... Во-первых, по его примеру я должен пить перед обедом сухое вино (на десять минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы...), но не много (это намек), а — всегда (и это тоже намек), результат, как вы видите, налицо... а во-вторых, курага (еще пять минут о свойствах и ценах на курагу)... а в-седьмых, бульон (но это уже шутка — Никоныч долго булькает). Шутка вот какая: Декарт (он мне покажет книгу...) советовал страдавшему анемией и тому подобными недомоганиями Паскалю пить крепчайший бульон (а как же холестерин и склероз!.. лучше бы я не уточнял...), так вот, бульон, а во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели, до чувства полной усталости от лежания... Ха-ха-ха! Правда? Декарт?.. Я сейчас при-

несу вам книгу... Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович.

Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная, с шорохом ночной бабочки, летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я хочу не вспомнить, почему я этого не хочу. Я должен был проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку — трубка хорошо покоится на рычаге, не соскочила, не съехала... Не позвонила! Я отворачиваюсь от жизни к стенке. Но сон уже нейдет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не подумать — странное напряжение! О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить... Часы бьют раз. Сколько это? Половина чего? Если бы вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было бы попытаться вжиться в него, вернуть... Но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма... Часы бьют, и опять — один раз. Значит, полчаса я сам просопротивлялся в стенку... С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если бы позвонила, то не позже двенадцати с поправками на все географические осложнения, на все перекладные от ихнего Ленинграда до моего... уже не дозвонилась... И это уже что-то, что уже... Голова моя абсолютно пуста. И тут — солнце.

Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все тем временем продолжалось. Надо было открыть глаза на это.

Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту... Срезанная столом призма света опер-

лась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходя и оседаая, скручиваясь в галактические спирали, и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любуясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело... Непостижимое чудо. Да, будь сейчас семнадцатый век, совет Декарта пришелся бы кстати, и я вылежал бы сейчас, в позе интеграла на своем боку, два-три классических закона, будь я Паскаль, конечно... Что-нибудь о воздушных потоках, или дисперсии частиц, или непрозрачном теле. Интегральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если оно еще не было открыто... Некий победный вихрь — торжество закономерностей — творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости: законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму практические без риска, что я могу проникнуть хоть в какой завиток Творения. И как было ясно, что не стоило его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической, там, механике и математике, но и вообще — все, и то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм, и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался и даже — не лежавшему в моей позе три века назад, по совету Декарта, Паскалю... «Торжествующая закономерность», — повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого я в данный момент, как только мог, неполномочно представлял... торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления: -ующее, -ующая, -ующий — что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законешко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем -ующем

длении обходиться, так как его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние, не соизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли... Вдохновенная радость охватила меня от зрания этого мечущегося перед взглядом праха — вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок проносился я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой... куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках — расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стряхивая пыль с колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно, на самом деле, что ты есть. Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на твоей карусели! Рассеянный свет... куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой... И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый бы ни был — о! Свет — всегда весь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает...

Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем... осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она — всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело: как бы луч наткнулся на луч... интерференция, что ли?.. родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама!..

— Проснулся! Что хочешь на завтрак...

— Я бы выпил бульону.

Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта... Бульон обжег мне небо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету и все с таким трудом належанное одухотворение...

Я так хотел продолжить — и так не мог...

Срок миновал. Выжил... Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой нашей рассеянности... И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то... растет впереди... впереди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет.

Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней время пойдет в своем подлинном направлении — вспять! Только — никаких ретроспекций!.. Просто сначала Дом наш выживет из стен своих то жутковатое учреждение, его поглотившее; затем, первым делом, воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в далекое будущее, восстанет Дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке; помолодеет мать... Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттаает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали... Оживет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором, вдруг я закричу от первого шлепка и — рассказчик еще не родился. Как изменится мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня?.. Как все заплетет и заиграет счастьем!

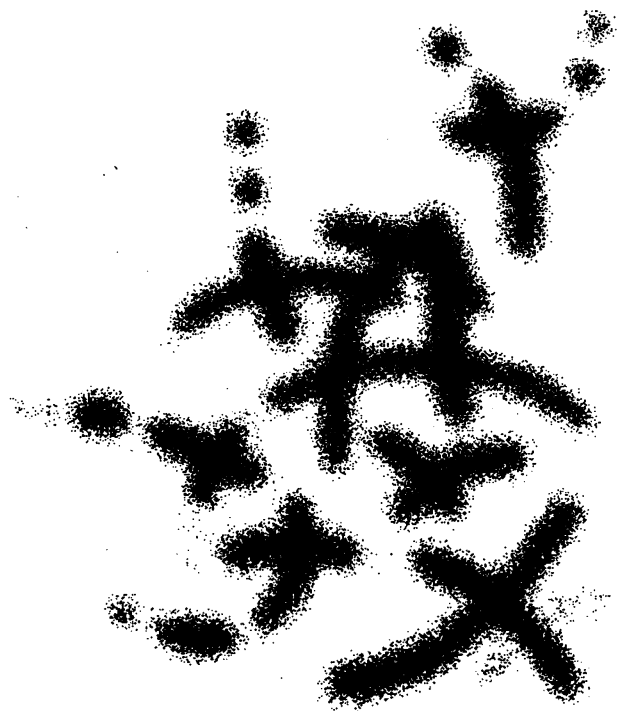
И вот — буквально ничего не произошло. Все — унеслось в будущее.

Цокая по булыжнику, подкатит экипаж; дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживаемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом — догадаюсь... у дамы из-под рюшей чуть подобранной юбки обнажится повыше башмачка... какая хорошенькая ножка! Какая красивая, какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда просыпалась, как горох? Губастый, в белокурых локонах мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной — мой дядя раньше всех ощутил свое призвание... а вот и тетя, узнаю ее по носу, да ей и двух нет — что о ней говорить... и вообще, не так уж и хочется мне их особенно разглядывать — взгляд мой прикован к другой девочке: только она способна так всему удивиться, только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза... Мама! Мамочка... Не бойся, ты меня не знаешь... Как же тебе интересно сейчас... Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи... Какой новый дом!

Какой большой! Неужели это ты будешь в нем жить, девочка моя?..

Какой и впрямь занятный, не похожий на другие дом! Никто еще не знает, что ты — в стиле начала века, что ты — модерн, что ты «либерти»... Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня в неразличимую даль будущего, и почему-то это меня все меньше занимает... Не про то ли я когда-то потом расспрашивал мою мать? Будто был ли я?.. Но вот — и нет меня.

Какая же это когда-нибудь будет книга! Ах, надо торопиться... Может, еще не поздно?.. Может еще не...



ГРАНТУ

Друг мой первый, друг мой черный, за горой...
Наступает час последний, час второй.

За грядой кавказской новая гряда:
Люди, бляди, горы, моды, города.

А за той грядой чужая полоса:
Звезды, слава, граница, голоса.

А за той границей гладь да тишина:
Чей-то холод, голод, смерть, ничья война.

А за этой тишь-гладью череда:
Никого и ничего и никогда.

А за этой чередою наш черед:
Слово, дело, крах, молчание и лед.

...Твоя мама, моя мама — вот друзья!
Если верить им, то мы с тобой князья.

1973
Теплый Стан

Вот еще какой рассказ я не написал... рассказываю тебе я. «Без дерева и без воды» называется. Может быть, он называется «Великая сушь» (было такое обозначение на старых барометрах). Может, он называется просто «Суша». Название ему придумать легче, чем написать, но написать его — тоже не слишком сложно. Маркесу бы его было несложно написать. Ты его мог бы написать, но не станешь. Да и я, скорее всего, не буду. Но рассказ ничего, нормальный мог бы быть рассказ. Может, это наши даже дни... Местность такая, как пустыня. Пустынная местность. Плато. Есть ощущение, что сильно выше уровня моря. Может, и здесь такое геологическое чувство, что море тут когда-нибудь, триллион какой-нибудь лет назад, было. Стало быть, дно древнего моря. Дно поднялось, и стало плато. Плоскогорье. Ничего не растет. Саксаул тем более. Просто ни щепки, ни капли. Воду привозят в цистернах, землю — в самосвалах, воду — на вертолетах, почву — в мешках. Каким-то образом именно там необыкновенно процветает огородничество, сам понимаешь. Эти огородники очень настойчивы, так что у них кочан — это уже прямо дирижабль, а не кочан, самый большой в мире кочан у них как раз и вырос. Его только вертолетом можно вывезти — такой кочан. Помидор тоже никак нельзя съесть, хоть ешь его всем аулом, кишлаком, селом или артелью — национальный колорит мне еще не вполне ясен... — помидор этот везут в специальной цистерне, напоминающей огромную литровую банку, чтобы не помялся. Его надо везти, чтобы всем показать, показать всему миру, какой у нас вырос помидор, у нас, где один камень, и ни капли влаги, и саксаул — дерево влажных тропиков, у нас, где семя везли специальным вертолетом за десять тысяч километров, а воду выбурили самым глубоким в мире артезианским колодезем, так что мы ее получаем от антиподов, у нас, где почву мы привезли в чемоданах, рюкзаках и карманах, возвращаясь из летних отпусков... В общем, такой помидор, как, если помнишь, была идея у Резо:

поставить на центральной площади столицы памятник помидору, — такой помидор. И как ты понимаешь, как ты уже чувствуешь, никакого преувеличения в повествовании нет, никакой гиперболы, все это — на самом деле. И вот в этом знаменитом племени землепашцев, славящемся на всю вселенную своими километровыми бадриджанами, появляется выродок, который в свободное от выращивания помидора время не пьет, не курит, не роет свой подземный дом (а надо сказать, они на своей планете, то есть в ауле, уверены, что на них должны напасть с бомбой жители более плодородных земель за одно то, что те сами не умеют вырастить столь же несъедаемого помидора)... Нет, может быть, не так. Может, это такая секта «выживенцев», которая роет себе бункеры и запасается столетними запасами на случай ядерной войны (самая отвратительная категория, не правда ли?), такая секта, которая, для пушей безопасности, удалилась в самую необитаемую пустыню и там еще и закопалась под землю, не заметив, что и война уже прошла и что сами они давно мутанты... Нет, все-таки не так. Так слишком футурологично. И с твоим заявлением о научно-фантастической литературе я давно согласен... Так вот, этот выродок, этот мутант, или этот недомутант, этот «бывший», стал таскать щепки, спички из поселка в пустыню и на каждую свою свободную минуту там, в пустыне, пропадать. Его пробовали образумить, судили за кражу досок, но, и отсидев, он принимался за свое. Когда же, спустя несколько десятилетий, поняли, что он там, в пустыне, на самом высоком месте, строит лодку, когда стал вырисовываться голый остов, то все так смеялись, что оставили его даже в покое как сумасшедшего. А он тем временем вдруг привел козочку, затем свинью, затем... тут, как ты понимаешь, трудно читателю объяснить, чем он их кормил... но как-то, однако, кормил... может, даже после некоторого возмущения и попытки его линчевать соотечественники немножко привязались к животным (все-таки никогда их не видели, всю жизнь питаюсь толчеными акридами и выращивая на экспорт свой уникальный томат...). В общем, так шли долгие годы, а идиот этот достиг самого почтенного возраста, не прерывая своего активного безумия. Он даже стал как-то значителен в своих лохмотьях, в своей огромной седой бороде... его стали понемногу признавать за уникальность, в чем-то уже готовы были увидеть его выразителем их национально-аульной идеи, один поэт назвал его «великим скульптором, воздвигающим памятник морю», некое его сходство с достославным

помидором готовы были обнаружить... Как вдруг... а надо сказать, раз в год, независимо от все пока что не начинавшейся войны, у них были такие каникулы — учения, когда они забирались в свои бункеры и две недели не высовывали носа, на всем своем, на всем готовом... и вот они вылезают наконец на божий свет, шурясь на свое свирепое солнце, и первое время они ничего не видят, а потом — что же они видят? Они видят, что исчезла их главная достопримечательность — уникальный деревянный столб, возвышавшийся посреди селения; на нем еще висел колокол для созыва на коллективную поливку помидора; так вот: рельса эта валяется на земле, а столба нет. Туда-сюда, старика нет, козы нет, борова и того нет, буйволицы нет, собаки даже мертвой нет, лошадь, думали, отошла, но ее тоже нет, коршун только по-прежнему в небе летает, ищет куру, которой тоже нет.. Не сговариваясь, сразу все поняли и побежали... Прибежали, видят: стоит посреди пустыни оснащенная лодка, а мачта — как раз тот столб и есть; да что там лодка — корабль! — из окошек, с бортов морды животных торчат; дети безумца что-то там, на мачте, последнее подвязывают, вроде белого флага... (Да, про детей я пропустил, но они каким-то образом у него были, сын и дочь, а может, три сына... они ему помогали, когда подросли, — как бы он сам управился?..) Ну, жители все в страшном негодовании по поводу своего столба, то есть теперь уже мачты, и терпению их тут приходит конец, и они велют старику сойти с борта на берег, то есть спрыгнуть на сушу, где они уже с ним расправятся, старик же машет на них руками и кричит, чтобы они отошли поскорее, потому что лодка сейчас уже отплывает... Надо сказать, что даже гнев людей поостыл, так они заново смеялись, но все-таки и безумию должна быть граница, так что пресечь все-таки было надо... и они снова ринулись, уже на штурм; а старик кричит страшно, чтобы они скорее бежали назад и прятались в свои норы... ну, люди, естественно, были оскорблены и не понимали, что он там так безумно тычет перстом в сторону горизонта, где как бы даже небывалое здесь облачко вдруг появилось, вроде морщинки на безумном его лбу... и люди совсем вошли в раж и гнев, идея поджечь корабль овладела ими. И впрямь образ такого пожара был для них, бездревесных, таким же несбыточно страстным, как и ливень... огонь, казалось им, мог бы утолить их столетнюю жажду... легко занялся первым пламенем борт, и буйволица замычала, отпрянув, и они не слышали, что кричал им безумный старец... в свете молодого пожара они не заметили внезапно

сгустившихся сумерек, из которых, как ты сам понимаешь, именно в ту секунду, как готов был корабль окончательно подхватиться огнем, хлынул невиданный ливень, который тут же пожарчик этот загасил, а люди тогда, напоенные и напуганные, наконец услышали, что старец вопил им бежать скорее домой и что перст его указывает на первую волну, что с курьерской скоростью мчалась с горизонта... (Ты сам понимаешь, что я просто забыл сказать, что этого старого хрена, чисто в насмешку, прозвали Ноем, а потом и имя его настоящее забыли...) Люди бежали без оглядки, и волна нагоняла их, и когда подхватила, то увидели они, барахтаясь, как уверенно, и ловко, и стройно покачивается на бескрайней морской глади КОВЧЕГ. Конечно, я затянул с этим словечком, которое и самому недогадливому давно просилось на язык, но в таком случае я забыл сказать и то, что сами односельчане Ноя, именно так же, в насмешку, прозвали его лодку «ковчегом» и очень смеялись своей шутке: «Ноев ковчег». Но, видишь, назвать-то они смогли — узнать не могли. И спастись — тоже. Ной же их и спас. Как? Ну конечно, взять всех на борт он не мог. Он даже, я тебе скажу, я так думаю, никого из воды не подобрал, а дал им всем благополучно утонуть. Что значит — благополучно? Я даже не предполагал, что так удачно слово встанет — *благополучно*. Они благополучно погибли от стихии, как люди, не успев укрыться в свои крысиные бункера, из которых больше бы уже никогда не вышли. Предположим, что у них все там идеально герметично было... Нет, согласись, это смешно: прятаться от бомбы, когда грядет потоп, рыть яму, когда надо строить лодку... И знаешь, что на мой взгляд самое удивительное? Что люди об этом всегда знали. Они всегда знали о грядущем потопе, но боролись только с придуманными, собственноручными, так сказать, обстоятельствами, как раз реальность обволакивая оболочкой мифа... Ну зачем, скажем, выращивать несъедобный помидор, пусть и самый большой, если можно, с меньшими затратами, вырастить горсть маленьких и съедобных? Ну и пусть не самая удачная метафора, или там символ, или знак... я не сторонник сочинения мифов — это не индивидуальное занятие. Ничего нет ни системного, ни экономического в моем помидоре... Но представь себе маленький, еле-еле, а уже помидорчик, разве он не величайший памятник Творцу? А каков он в засолке? под стопочку? Ни над чем я не глумлюсь. И мораль у меня даже есть: не надо *зарываться*.

Вот этого всего я в очередной раз не написал. А Грант уже написал про лошадь, про буйволицу, про — что думает мертвая собака, освещенная лунным светом, про волка и про медведя немножко написал и теперь пишет про борова. Роман «Боров». Вызывает доверие. Тем более что я по инерции оговорился: ведь его задача, как в свое время про лук, коньяк, хлеб... Не ПРО! а их самих написать. Значит, и не про борова, а самого борова он напишет. А там уже и не так много остается до счета СЕМЬ. Семь пар чистых и семь пар нечистых. Может, он их спасет.

1982

ПЕЙЗАЖ

Резо

Закат не ведал, как он красен был,
Морская гладь не для себя серела,
Не видел ветер, как он гладь рябил,
И дерево на это не смотрело.

Они стояли, в ночь заточены,
Не веруя себе, свища, пылая,
Ни световой, ни звуковой волны
Не разгадав, но ими обладая.

Не знало небо, что звезда взошла,
Что солнце скрылось. Темнота густела.
Вокруг незнанию не было числа.
Никто не знал. И в этом было дело.

Что *для себя* на этом берегу?..
Прощальный луч окрасит крылья птицы
Да облако... Кто у кого в долгу?
Простор вокруг густеет и теснится.

Последний свет, испуг теней и трав
Напрягши ветер, вечер чуял кожей...
И умирал. И «смертью смерть поправ»,
Опять вознесся и опять не ожил.

Кого свое творенье веселит?
Кто верует? Кому ключи от рая?
И волосы лишь ветер шевелит
На голове слепца, что зеркалом играет.

Кто строит дом — не тот в дому живет
Кто создал жизнь — не ищет смысла жизни.
Мысль свыше — не сама себя поймет.
Пускайся в путь — и в нем себя настигни...

*Батум,
1982*

Литературно-художественное издание

БИТОВ Андрей Георгиевич
ИМПЕРИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ
III

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕМНИК

Ответственный за выпуск
В. В. Гладнева
Художественный редактор
Ю. А. Модлинский
Технический редактор
Е. В. Триско
Корректор
Н. С. Дорохина

Сдано в набор 24.02.95.
Подписано в печать 15.01.96.
Формат 60x84 1/16.
Бумага тип. №1.
Гарнитура Тип Таймс.
Печать высокая с ФПФ.
Усл.-печ. л. 19,53.
Усл. кр.-отт. 20,34.
Уч.-изд. л. 19,69.
Тираж 10000 экз.
Заказ №223

«Фолио»,
310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34

ТКО АСТ
г. Балашиха Московской обл., ул. Фадеева, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

СИМТЕРИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

III

КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК

